КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ

ПРОБЛЕМА ДУШИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 159.9
ББК 88.1
Ю50

Серия «Эксклюзивная классика»

C. G. Jung
SEELENPROBLEME DER GEGENWART

Серийное оформление *А. Фереза, Е. Ферез*

Компьютерный дизайн *В. Воронина*

Печатается с разрешения Paul & Peter Fritz Agency.

Юнг, Карл Густав.
Ю50 Проблема души нашего времени : [сборник : перевод] / Карл Густав Юнг. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 352 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-139317-5

В эпоху ускорения прогресса на нас обрушилась лавина нервных и личностных расстройств, неведомых нашим предкам еще пару столетий назад. Психика современного человека необратимо изменилась, и с каждым годом угроз для нее становится все больше. Комплексы, синдромы и навязчивые состояния множатся с пугающей скоростью. Но больше всего, по мнению Юнга, пострадала душа человека. Стремительные перемены, к которым быстро и во многом с удовольствием приспособились тело и интеллект, оказались непосильными и разрушительными для глубинной основы нашего бытия — души.

Возможно ли объяснить душу? Как подступиться к этой загадочной эфемерной субстанции и поддается ли она изучению и коррекции? И есть ли способы разрешения конфликта тела и духа, раздирающего современного человека?

УДК 159.9
ББК 88.1

Предисловие к первому изданию (1931)

Публикуемые в этом сборнике доклады и статьи обязаны своим появлением тем вопросам, которые стоят сейчас перед обществом. Уже сама постановка этих вопросов создает довольно ясную картину психологической проблематики нашего времени. Ответы на эти вопросы обусловлены моим личным и профессиональным опытом изучения психической жизни человека в наше странное и необычное время.

Общество полагает, будто существуют конкретные ответы, «решения» или представления, способные пролить свет на стоящие перед ним проблемы, и в этом состоит его главная ошибка. Правда — это прекрасно, но она, как уже тысячу раз показывала история, не принесет никакой пользы, если не является плодом исконного внутреннего опыта индивида. Любой однозначный, так называемый «ясный» ответ застревает в головах и лишь в редчайших случаях находит путь к сердцу. Нам необходимо не просто *знать* истину, нам надо ее *пережить* и прочувствовать. Величайшая проблема заключается не в том, как составить интеллектуальное представление о предмете, а в том, как найти путь к внутреннему, возможно, бессловесному, иррациональному опыту. Нет ничего более бесплодного, чем вести речь о том, как может и должно быть, и нет ничего более важного, чем отыскать ведущий к этой далекой

цели путь. Очень многие знают, как должно быть, но кто укажет путь, которым можно этого достичь?

Как явствует из самого названия книги, речь в ней идет не о решениях, а о проблемах. Усилия проникнуть в психическую жизнь пока сосредоточены на проблемах; мы еще только ищем способы постановки сущностных вопросов, и когда и если они будут найдены, проблемы можно считать наполовину решенными. Представленные здесь статьи посвящены поискам решения исполинской проблемы «души», проблемы, которая терзает современных людей куда сильнее, чем наших ближайших и далеких предков.

Кюснахт-Цюрих, декабрь 1930 года
К. Г. Юнг

Предисловие ко второму изданию (1933)

После выхода в свет первого издания прошло всего полтора года, соответственно у меня не было особых оснований вносить существенные коррективы в свой текст. Поэтому новое издание моих статей выходит без изменений.

Так как мне неизвестны какие-либо принципиальные возражения читателей, каковые потребовали бы от меня развернутого ответа, и я не имею сведений о том, что что-либо в моих статьях вызвало у них недопонимание, я не вижу никаких оснований для длинного предисловия. Как бы то ни было, часто предъявляемый мне упрек в чрезмерном увлечении психологизмом не является поводом для длинных экскурсов, ибо ни один здравомыслящий читатель не может ожидать от меня, чтобы я отступил от главного своего принципа, который заключается в следующем: рассматривать и оценивать все наблюдаемые проявления душевной жизни с точки зрения психологии, не отклоняясь в сторону метафизики и теологии.

То, что в этих вопросах невозможно высказать окончательную и непререкаемую истину, понимает любой разумный человек. Абсолютные утверждения относятся к области веры — или суть проявления нескромности.

Кюснахт-Цюрих, июль 1932 года
К. Г. Юнг

Проблемы современной психотерапии[1]

Психотерапия, а именно лечение души и душевное лечение, в настоящее время — в популярном понимании — считается тождественным психоанализу.

Слово «психоанализ» в такой мере стало всеобщим достоянием, что каждый, кто употребляет это слово, уверен, что понимает его значение. Однако истинное значение этого слова профану в большинстве случаев неизвестно. Я внесу ясность: психоанализом, по воле его создателя доктора Фрейда, называют более или менее удачно разработанный метод сведения душевных симптомокомплексов к известным вытесненным влечениям; в той мере, в какой эта процедура невозможна без соответствующей концепции, понятие психоанализа включает в себя известные теоретические предпосылки, а именно фрейдовскую теорию сексуальности в том виде, в каком она была отчетливо изложена самим автором. В противоположность этому профан, как правило, пользуется понятием психоанализа для обозначения всех современных попыток приблизиться к пониманию психики с научно-методических позиций. Если следовать такому пониманию, то и взгляды школы Ад-

---

[1] Опубликовано в «*Schweizerischen Medizinischen Jahrbuch*» в 1929, и в «*Seelenprobleme der Gegenwart*», 5 Aufl. 1950, p. 1 ff. [Psychologische Abhandlungen III].

лера тоже можно отнести к «психоанализу», несмотря на то что взгляды и метод Адлера находятся в непримиримом противоречии с таковыми у Фрейда. Поэтому Адлер называет свою психологию не «психоанализом», а «индивидуальной психологией», в то время как я для обозначения моей концепции предпочитаю выражение «аналитическая психология», понимая под этим термином некое собирательное понятие, которое вмещает в себя «психоанализ», «индивидуальную психологию» и другие направления в области *комплексной психологии*.

Так как существует всего одна человеческая душа, то, естественно, существует и всего одна психология, как это и представляется профану, по каковой причине он воспринимает различия в «психологиях» либо как результат субъективного умствования, либо как попытки мелких людишек воздвигнуть себе пусть маленький, но трон. Я мог бы при желании легко продолжить список «психологий», упомянув и другие попытки, которые невозможно втиснуть в понятие «аналитической психологии». Фактически существует множество различных методов, точек зрения, взглядов и убеждений, которые борются друг с другом, главным образом потому, что их поборники не понимают друг друга и поэтому не признают друг за другом права на существование. Множественность и разнообразие психологических воззрений нашего времени поистине поразительны, необозримы для профанов и вызывают путаницу в их умах.

Когда в медицинском учебнике обнаруживается, что для лечения какой-либо болезни имеется великое множество лекарств самой разнообразной природы, то неизбежно делается вывод, что ни одно из этих средств не является особенно действенным. Если же указано множество путей проникновения в психику, то каждый может спокойно предположить, что ни один из этих путей с полной гарантией не ведет к заявленной цели; уж

всяко это справедливо для тех путей, авторы которых отстаивают и расхваливают их с невиданным фанатизмом. Фактически само обилие современных «психологий» является выражением того, что мы находимся в затруднительном положении. Доступ к душе, как и сама душа, постепенно все больше выступает в роли главной трудности, как «проблема рогов»[1], если воспользоваться выражением Ницше, и потому нет ничего удивительного в том, что множатся попытки подобраться к неподдающейся решению загадке с разных сторон и самыми разными способами. Следовательно, просто по необходимости возникает противоречивое множество точек зрения и мнений.

Можно с полным правом согласиться со мной в том, что, когда мы ведем речь о «психоанализе», мы не ограничиваем себя узким определением, но имеем в виду общие успехи и неудачи всех попыток, предпринятых к настоящему времени для решения психических проблем, которые мы включаем в понятие аналитической психологии.

Между прочим, почему именно ныне человеческая психика как факт опыта стала настолько интересной? На протяжении тысячелетий она такого интереса не вызывала. Я хочу лишь задать этот, по-видимому, неуместный, вопрос, но не буду на него отвечать. Но вопрос этот все-таки уместен, ибо цели нынешнего интереса к психологии связаны с этим вопросом какой-то неясной глубинной связью.

Все, что сегодня выступает под любительским понятием «психоанализ», коренится во врачебной практике и потому относится по большей части к медицин-

---

[1] Отсылка к работе Ф. Ницше «Об истине и лжи во вненравственном смысле», где утверждается, что ложь является способом самосохранения наиболее хилых и слабых особей, «которые не могут отстаивать себя в борьбе за существование с помощью рогов или зубов». Перевод К. Свасьяна. — *Примеч. ред.*

ской психологии. Кабинет консультирующего врача оставил на этой психологии свой очевидный отпечаток, и это отражается не только в терминологии, но и в формировании теоретических концепций. Повсюду мы сталкиваемся с предположениями из области биологии и других естественных наук и предпочтениями врачей. Отсюда в значительной мере проистекает отчуждение между академическими гуманитарными науками и современной психологией, ибо последняя дает объяснения в понятиях иррациональной природы, а первые основывают свои объяснения на духе. Эта и без того трудно преодолимая пропасть будет только углубляться и расширяться благодаря медицинско-биологической номенклатуре, которая чисто ремесленнически предполагает — и столь же нередко высказывает — слишком упорные притязания на благосклонное понимание.

Я откровенно высказал свое мнение, чтобы не остались без внимания предварительные общие замечания относительно концептуальной путаницы в данной области знаний, а теперь мне хотелось бы обратиться к нашей непосредственной задаче, а именно, поведать подробнее о достижениях аналитической психологии.

При исключительном разнообразии направлений нашей психологии можно лишь с очень большим трудом определить обобщающие точки зрения. Таким образом, если я попытаюсь разделить цели и достижения на категории — или, лучше сказать, на ступени, — то надо оговориться, что это предварительная попытка, которой можно предъявить тот же упрек, что и раскинутой на карте страны координатной сетке. Как бы то ни было, я хочу осмелиться рассмотреть общий результат, исходя из четырех ступеней, а именно: *признания, просвещения, воспитания* и *метаморфозы*. Ниже я разберу эти, возможно, несколько чужеродные обозначения.

Основу всякого аналитического душевного лечения можно уподобить исповедальному признанию. Так как эта основа не имеет причинных связей, но характеризуется лишь иррациональными коренными психическими взаимозависимостями, то далеким от этих проблем людям трудно без дополнительных пояснений понять, как можно увязать начатки психоанализа с религиозным институтом исповеди.

Стоило только человеческому духу изобрести идею греха, как сразу же возникло нечто скрытое психическое, которое на аналитическом языке назвали вытесненным. Скрытое есть нечто тайное. Обладание тайной действует как душевный яд, который отчуждает носителя тайны от общества. В небольших дозах этот яд может стать неоценимым целительным средством и даже непременным предварительным условием всякого индивидуального обособления (дифференциации), причем в такой степени, что человек даже на первобытных ступенях развития испытывает неодолимую потребность изобретать тайны, чтобы путем обладания ими не раствориться в бессознательном сообщества, то есть защитить свою душу от смертельной угрозы. Этому инстинкту обособления, как давно известно, служат широко распространенные древние обряды посвящения с их культовыми таинствами. Собственно, христианские таинства еще в первоначальной церкви имели значение мистерий: например, крещение торжественно отправлялось в отдельном изолированном помещении, а говорили о нем аллегорическим, непонятным для непосвященных языком.

При вознаграждающей природе такой, разделяемой многими, тайны невероятно разрушительно действует личная, персональная тайна. Она воздействует как вина, которая отсекает своего несчастного обладателя от сообщества других людей. Если человек сознает, что́ он скрывает, тайна менее разрушительна для него, чем

в тех случаях, когда он незаметно для себя вытесняет ее из сознания. В этом случае скрытое содержание сохраняется в тайне неосознанно, то есть человек прячет его и от себя самого; это содержание в форме самостоятельного комплекса отщепляется от сознания и в области бессознательной психики ведет собственное бытие, не отягощенное вмешательством сознания и коррекцией с его стороны. Комплекс образует, так сказать, маленькую замкнутую психику, которая, как показывает опыт, осуществляет независимую деятельность по порождению фантазий. Фантазия, вообще говоря, есть самодеятельность души, которая прорывается всякий раз там, где ослабевает или вовсе прекращается тормозящее влияние сознания, как это происходит, например, во сне. Во сне фантазии воспринимаются как сновидения. Но и в состоянии бодрствования мы продолжаем видеть сны, пусть ниже порога сознания; в особенности часто это происходит благодаря вытесненным или по каким-то иным причинам неосознаваемым комплексам. Попутно можно указать, что бессознательное содержание состоит отнюдь не только из некогда осознанного материала, который затем в результате вытеснения переместился в подсознание в виде ставших неосознаваемыми комплексов; оно имеет собственное содержание, которое, поднимаясь из неизведанных глубин, постепенно достигает сознания. Следовательно, никоим образом нельзя считать бессознательную психику всего-навсего простым хранилищем содержаний, вытесненных из сознания.

Все неосознанные содержания, которые либо достигли порога сознания снизу, либо находятся не слишком глубоко от порога сознания, влияют на сознание. Это влияние — ибо содержание не является сознанию в чистом виде, непосредственно — по необходимости является косвенным и опосредованным. Большинство так называемых *ошибок сознания* (*оговорок*) восходит

к таким нарушениям, как и так называемые *невротические симптомы* психогенной природы. (Исключения составляют так называемые шоковые воздействия, например потрясение, вызванное разрывом гранаты.)

Самыми легкими формами невроза являются ошибки сознания — например, оговорка, внезапное забывание имен и дат, неожиданная неловкость, приводящая к травме и тому подобным последствиям; неправильное понимание и так называемые галлюцинаторные воспоминания — человек может быть уверен, что он что-то сказал или сделал, в то время как в действительности он этого не делал и не говорил; неверное понимание услышанного или прочитанного и так далее.

Во всех этих случаях глубокое исследование позволяет обнаружить существование содержания, каковое опосредованно и бессознательно искажает деятельность сознания.

По этой причине нарушения, обусловленные бессознательной тайной, являются более тяжелыми, нежели нарушения, вызываемые тайной осознаваемой. Я видел многих пациентов, у которых в результате тяжелых жизненных ситуаций, способных вызвать у слабых натур неодолимую тягу к самоубийству, действительно развивалась наклонность к самоубийству, но рассудок не допускал ее осознания, и, следовательно, у таких пациентов формировался бессознательный комплекс самоубийства. Бессознательная тяга к самоубийству, со своей стороны, становилась причиной всякого рода опасных случайностей, например: приступов головокружения в опасном месте, замедления ходьбы или остановки перед едущим автомобилем, ошибок, в результате которых путают микстуру от кашля с раствором сулемы, внезапного желания совершить рискованный акробатический трюк и тому подобного. Если в таких случаях удавалось сделать осознанной тягу к самоубийству, то рассудок ее подавлял и действовал

благотворно, поскольку пациент начинал осознавать возможность самоубийства и старался того избегать.

Все личные тайные переживания носят признаки греховности и вины, независимо от того, являются ли они таковыми или нет с точки зрения общепринятой морали.

Другой формой укрывательства является сдерживание. Сдерживаются чаще всего *аффекты*. Здесь следует особо подчеркнуть, что сдерживание является полезной и целительной добродетелью, именно поэтому мы обнаруживаем самодисциплину в качестве самых ранних моральных и нравственных практик уже у первобытных, примитивных народов, где она выступает частью ритуалов посвящения и инициации, преимущественно в форме демонстрации умения стоически переносить боль и страх и соблюдать аскетическую умеренность. Но в данном случае сдерживание практикуется в недрах какого-либо тайного общества, в качестве действа, которое выполняют все другие его участники. Если же сдерживание является сугубо личным — и не связано с каким-либо религиозным мировоззрением, — то оно, как и личная тайна, может стать вредоносным. Отсюда часто наблюдаемые у избыточно добродетельных людей случаи плохого настроения и повышенной раздражительности. В любом случае сдерживаемый аффект — это то, что скрывают, причем человек может скрывать его от самого себя; в этом искусстве особенно преуспевают мужчины, в то время как женщины испытывают природную боязнь исказить аффект за счет сдерживания. Сдерживаемый аффект является таким же вредоносным, как и неосознанная тайна, и тоже вызывает чувство вины. Природа в известной мере обижается на нас, когда мы, обладая тайной, выделяемся среди остальных людей, — и она ставит нам в вину сокрытие наших эмоций от окружающих. В этом отношении

природа испытывает ярко выраженный *horror vacui*[1], и поэтому в долгой перспективе нет ничего более невыносимого, чем малодушная гармония, зиждущаяся на сдерживаемых аффектах. Вытесненные эмоции нередко суть то же самое, что и неосознаваемая тайна. Часто, однако, в душе нет никакой достойной упоминания тайны, а есть всего лишь неосознанно сдерживаемые аффекты, обязанные своим происхождением прекрасно осознаваемым ситуациям.

Соответственно преобладанию тайны или аффекта клинически проявляются различные формы неврозов. В любом случае щедрая на аффекты истерия имеет своей причиной неосознанную тайну, а у ожесточившегося психастеника налицо нарушение переработки аффекта.

Сокрытие тайны и сдерживание — тот урон, на который природа в конечном счете реагирует болезнью; само собой понятно, что это происходит только в тех случаях, когда сокрытие и сдерживание являются сугубо личными. Если же сокрытие тайны и сдерживание практикуют совместно с другими людьми, то природа этим удовлетворяется, и тогда сокрытие и сдерживание расцениваются даже как достоинства и добродетели. Невыносимыми являются сугубо личные тайны. Мы видим это в случаях, когда человеческое общество имеет неуничтожимое право на вмешательство во все темное, несовершенное, глупое и преступное в отдельном человеке, а в результате эти свойства приходится скрывать из простого чувства самосохранения. Вполне естественным прегрешением является стремление прятать свою низкую ценность, а также стремление жить, исключив из своей жизни эту пониженную ценность. Представляется, что существует особый род человеческой совести, которая чувствительно наказывает каж-

[1] Страх пустоты (*лат.*). — *Примеч. ред.*

дого, кто хотя бы единожды гордо выставлял напоказ добродетели сдержанности и самоутверждения, что позволяло отбросить прочь осознание своей ущербной человечности. Без этого вырастает непреодолимая стена, которая отделяет страдающего индивидуума от живого ощущения — быть человеком среди людей.

Отсюда становится ясным грандиозное значение правдивой и безусловной исповеди; эта истина была очевидна и использовалась во всех мистериях и обрядах инициации древности; как говорили во время античных мистерий: «Избавься от всего, что имеешь, и обретешь».

Это изречение мы легко можем взять девизом для первого этапа разрешения психотерапевтической проблематики. Начатки психоанализа по своему содержанию суть не что иное, как повторное научное открытие древней истины; собственно, даже название, данное первой психоаналитической методике, а именно, «катарсис» — очищение, является весьма употребительным понятием, важным для античного обряда посвящения. Исходно метод катарсиса заключался в том, что больного переводили, насколько это возможно, на границу сознания — с использованием гипноза или без такового, то есть в состояние, известное в восточных системах йоги как состояние медитации, или созерцания. Отличие от йоги состоит в наблюдении за спорадическими появлениями смутных следов представлений, будь то образы или ощущения, ускользающие из темных закоулков незримого бессознательного с тем, чтобы эти представления являлись максимально незамутненному внутреннему взору. Таким образом снова становятся явными вытесненное и утраченное. Уже это само по себе является достижением, пусть даже случайным и болезненным, ибо малоценное и, собственно, дурное и безнравственное все же принадлежит мне и придает мне сущность и тело, это моя *темная тень*.

Как я могу быть сущностью, если не отбрасываю тени? Темное тоже принадлежит моей цельности, и тем, что я осознаю свою тень, я получаю доступ к воспоминанию о том, что я такой же человек, как и все остальные. В любом случае, с этим, почти немым повторным открытием собственной цельности связано более раннее состояние, из которого развивается невроз как отщепленный комплекс. Умолчание может продлить изолированное положение комплекса, что ведет лишь к частичному улучшению состояния. Признанием же и принятием я снова раскрываю объятия человечеству, освобождаюсь от груза морального изгнания. Метод катарсиса имеет целью *полное признание*, не только интеллектуальную констатацию умом фактического положения вещей, но и разрешение сдерживаемых аффектов и признание сердцем фактического положения дел.

Как можно догадаться, велико влияние такого признания на наивное, бесхитростное состояние души, и этот целительный результат наблюдают поразительно часто. Но не только в том, что удается излечить некоторых больных, хотелось бы видеть главное достижение нашей психологии на данной стадии; основное достижение, на мой взгляд, состоит в систематическом возвышении роли признания. Это имеет значение для всех нас. Все мы, так или иначе, отделены от остальных за счет сокрытия личных тайн, а пропасти между людьми перекрываются эфемерными мостами мнений и иллюзий, легкодоступной имитацией настоящих мостов признания.

Прошу, не поймите меня так, будто я выдвигаю какие-то требования. Невозможно вообразить, насколько безвкусными были бы всеобщие обоюдные признания. Психология лишь утверждает, что именно в признании заключается волшебная точка первичного «уплотнения» порядка. Эта точка не может непосредственно использоваться в лечении, ибо она выступает проблемой

с весьма, если угодно, острыми шипами, что становится ясно на следующей стадии, называемой *разъяснением*.

Без дальнейших объяснений ясно, что новая психология сохранила бы верность идее признания, если бы катарсис доказал свою полезность в качестве исцеляющего средства. Во-первых, что самое главное, не всегда удается заставить пациента настолько приблизиться к бессознательному, чтобы он смог ощутить свою тень. По большей части — и это касается в первую очередь сложных, обладающих мощной привязанностью к сознанию натур — пациенты настолько сильно погружены в свое сознание, что их невозможно от него оторвать. Такие пациенты могут оказывать сильнейшее сопротивление всем попыткам оттеснить сознание, они хотят с полным пониманием рассказывать о своих трудностях и разбираться в них. Им есть в чем признаваться, и для этого они не должны обращаться к бессознательному. Такие пациенты требуют применения особой, многогранной техники для приближения к бессознательному.

Этот факт с самого начала ограничивает применимость метода катарсиса. Второе ограничение проявляется задним числом, уже на второй стадии — стадии разъяснения. Допустим, что в каком-то случае имело место очищающее признание (катарсис), невроз исчез, то есть его симптомы перестали быть видимыми и явными. Пациента можно считать выздоровевшим и отпустить. Однако он — или она, что бывает чаще, — не может уйти. За счет признания пациент привязывается к врачу. Насильственный разрыв этой связи может привести к злокачественному рецидиву. Более типичными и более примечательными являются известные случаи, когда такая связь не возникает: пациент уходит, по-видимому, здоровым и до такой степени зачарованным содержанием дальних закоулков своей души, что продолжает уже самостоятельно вызывать у себя катарсис

за счет приспособления к жизни. Больной привязывается не к врачу, а к собственному бессознательному. С этими пациентами происходит то, что в незапамятные времена произошло с Тесеем и его спутником Пирифоем, которые спустились в Аид, чтобы вывести оттуда богиню подземного царства; когда они, утомленные спуском, ненадолго присели отдохнуть, их тела приросли к каменным ложам, с которых они уже не смогли встать.

Эти удивительные и неожиданные случаи также требуют разъяснения, как и упомянутые в самом начале случаи, которые при самых добрых намерениях катарсиса оказались недоступными для разрешения. Хотя пациенты этих двух категорий сильно отличаются друг от друга, разъяснение для пациентов обеих категорий работает при одном условии — при условии фиксации, как правильно понял еще Фрейд. Совершенно отчетливо эти факты проявляются у последней категории пациентов, в особенности в тех случаях, когда пациенты после успешного катарсиса привязываются к врачу. Подобное уже наблюдали ранее в виде неблагоприятного следствия гипнотической терапии, но без понимания внутренних механизмов возникновения такой привязанности. Было, правда, выдвинуто объяснение, что обсуждаемая привязанность, по своей сути, является отношением отца и ребенка. Пациент оказывается в этакой детской зависимости, от которой он не в состоянии защититься осознанно. Фиксация может приобретать поистине чрезвычайную силу, тем более поразительную, что за ней можно предполагать самые необычные мотивы. Так как привязанность является процессом, ускользающим от сознания, то сознание пациента ничего не может о нем сказать; отсюда возникает вопрос, как можно обойти это новое затруднение. Очевидно, что речь идет о формировании нового невроза, о новом симптоме, который возник в результате

лечения. Несомненным внешним признаком этого состояния будет то обстоятельство, что чувственно окрашенное воспоминание об отце переносится на врача, в результате чего врач, *nolens volens*[1], предстает в роли отца и как таковой в известной мере превращает пациента в ребенка. Естественно, эта детскость пациента не возникает, как бог из машины, она присутствовала и ранее, но была вытеснена. Теперь она всплывает на поверхность и восстанавливает знакомую по детству ситуацию, в которой пациент вновь обретает давно недостававшего отца. Фрейд очень удачно назвал этот симптом *переносом*. В том, что возникает известная зависимость от оказывающего помощь врача, нет ничего аномального, это вполне объяснимое человеческое проявление. Аномалией и неожиданностью здесь является только невероятное упорство симптома и его недоступность для осознанной коррекции.

В том-то и заключается главное достижение Фрейда; он сумел, по меньшей мере, объяснить биологические аспекты этой привязанности и тем самым сделал возможным значительное развитие психологического знания. Сегодня с несомненностью доказано, что эта привязанность формируется благодаря существованию бессознательных фантазий. Эти фантазии вообще, как правило, носят *инцестуальный* характер. Этим признаком в достаточной степени можно объяснить тот факт, что данные фантазии остаются неосознанными, ибо при самом скрупулезном и добросовестном признании нельзя ожидать, что пациент сможет раскрыть такие фантазии, которые едва ли осознаются. Хотя Фрейд всегда говорит об инцестуальных фантазиях, что они будто бы вытесняются, накопленный многолетний опыт говорит о том, что во многих случаях они либо не имеют осознаваемого содержания, либо в очень

[1] Волей или неволей (*лат.*). — *Примеч. ред.*

малой степени осознаются как самые призрачные намеки, в результате чего не могут быть вытеснены в результате осознанного намерения. На основании проведенных новейших исследований представляется более вероятным, что инцестуальные фантазии в подавляющем большинстве случаев являются и остаются неосознанными до тех пор, пока их не удается вывести на поверхность сознания аналитическими методами. Я вовсе не хочу сказать, что извлечение на поверхность бессознательного является безнравственным вторжением в природу человека. Конечно, это вмешательство можно было бы назвать хирургической операцией на психике, но такая операция безусловно необходима, ибо инцестуальные фантазии являются причиной симптомокомплекса переноса. Перенос, конечно, есть искусственное явление, но, несмотря на это, обладает и патологической стороной.

Метод катарсиса, по существу, возвращает осознаваемому «Я» пациента доступное осознанию содержание, которое в норме и должно быть частью сознания, а вот разъяснение сообщает переносу содержание, которое в таких формах едва ли стало бы доступным сознанию. В этом принципиальное отличие этапа признания от этапа разъяснения.

До сих пор мы говорили о двух категориях случаев; о тех, которые оказываются недоступными для катарсиса, и о тех, когда после успешного катарсиса развивается фиксация. О тех, у кого развивается фиксация и, соответственно, происходит перенос, уже было сказано. Наряду с ними существуют, как упоминалось выше, и те, у кого не возникает привязанности к врачу; они привязываются к своему бессознательному и застревают в этой привязанности. В этих случаях родительский образ переносится не на человека как на объект, а остается фантастическим представлением, которое при этом сохраняет ту же силу отношения и проявляется в такой же

привязанности, как и перенос. Особенность первой категории, которая отнюдь не всегда способствует катарсису, объясняется в свете исследований Фрейда тем фактом, что упомянутые пациенты еще до начала лечения находятся в определенном отношении своей личности к родителям, придающем им (пациентам) авторитет, независимость и право на критику, то есть обнажающем качества, которые позволяют успешно противостоять катарсису. Это, как правило, образованные, многогранные личности, которые, в отличие от многих других, не становятся жертвами бессознательного влияния родительских образов, но так овладевают своей деятельностью, что неосознанно отождествляют себя с родителями, не завися от последних.

В присутствии переноса простой катарсис не работает, и поэтому Фрейд счел обоснованными существенные изменения первоначального метода Брейера[1]. То, что Фрейд предложил делать, он назвал «методом толкования».

Такое развитие совершенно понятно и логично, ибо отношение переноса в особенности требует разъяснения. О том, насколько это важно, ни один дилетант не может дать себе отчет, но в еще большей степени это касается врача, который вдруг оказывается вплетенным в клубок недоступных пониманию фантастических представлений. То, что пациент переносит на врача, должно быть истолковано, то есть разъяснено. Поскольку сам больной не знает, что он переносит, постольку врач вынужден подвергнуть представленные пациентом осколки фантазий истолковывающему анализу. Самыми непосредственными и важнейшими пси-

[1] Й. Брейер — австрийский психиатр, наставник Фрейда и основоположник психоанализа. В соавторстве Брейер и Фрейд выпустили статью «О психологическом механизме истерических феноменов» (1893) и книгу «Очерки об истерии» (1895). — *Примеч. ред.*

хическими продуктами такого рода являются *сновидения*. По этой причине Фрейд исследовал область сновидений почти исключительно на предмет вытесненных несовместимых желаний и в процессе этой работы открыл инцестуальное содержание, о котором я уже говорил выше. Естественно, что в ходе этих исследований всплыл не только инцестуальный материал в узком смысле, но и вся та мыслимая грязь, на которую способна человеческая натура. Список этот, как известно, весьма велик. Придется трудиться всю жизнь, чтобы хоть в какой-то степени его исчерпать.

Результатом метода разъяснения Фрейда явилась скрупулезная разработка теневых сторон человека — с размахом, какого прежде не знала история. Это самое действенное противоядие против всех идеалистических иллюзий о сущности человека. Не приходится поэтому удивляться тому обстоятельству, что против Фрейда и его школы поднялась мощная волна осуждения. Я не буду говорить о принципиальных любителях пребывать в иллюзиях, но хотел бы подчеркнуть, что среди противников метода толкований нашлось немало тех, кто не питал никаких иллюзий относительно теневых свойств человеческой натуры, однако упрекал Фрейда в том, что нельзя объяснить человека, опираясь лишь на теневую сторону. В конце концов существенна не тень, а тело, эту тень отбрасывающее.

Метод толкования Фрейда — это ведущее назад, так называемое *редукционное*, восстанавливающее разъяснение, и оно действительно может оказаться разрушительным, если становится чрезмерным и односторонним. Достижение, каковое стало возможным благодаря работе Фрейда с толкованиями, заключается в том факте, что человеческая природа имеет темную сторону, и влиянию последней подвержен не только сам человек, но и его творения, учреждения и убеждения. Собственно, даже наши сокровенные и священные воззре-

ния зиждутся на глубоком темном основании, так что, в конечном счете, объяснить строение дома можно не только начиная с конька крыши, но и с подвала, причем второе объяснение имеет то преимущество, что генетически оно более верное, ибо дома строятся не с крыши, а с фундамента, а сверх того, все сущее и развивающееся начинается с простого и необработанного сырья. Ни один мыслящий человек не станет отрицать, что данное Саломоном Рейнаком[1] объяснение сути церковного причастия первобытным тотемным мировоззрением имеет глубокий смысл. Потому он ничуть не склонен отвергать приложение гипотезы инцеста к греческим мифам о богах. Понятно, что для наших чувств весьма болезненно толковать «сияющие вершины» на основании теневой стороны и таким образом перемещать их в жалкую грязь первоначал. Но я считаю это слабостью прекрасных и возвышенных натур, слабостью человека: что это за идеалы, если они так легко разрушаются теневыми объяснениями? Страх перед толкованиями Фрейда проистекает исключительно из нашей варварской детской наивности, которая до сих пор не знает, что высокое всегда стоит на глубоком, и что *les extrêmes se touchent*[2]; эти истины являются окончательными и не подлежат сомнению. Мы ошибемся, правда, только в том случае, если станем придерживаться того мнения, что свет исчезнет, если мы будем объяснять его с точки зрения теневой стороны. Это прискорбное заблуждение, жертвой которого пал и сам Фрейд. Тень принадлежит свету, зло принадлежит добру, и наоборот. Поэтому я не могу оплакивать потрясение, причиненное разъяснением нашим западным иллюзиям и ограничениям; наоборот, я приветствую его

[1] Также Рейнах — французский археолог, вел раскопки в Малой Азии, автор популярного сочинения «Орфей. Всеобщая история религии» (1910). — *Примеч. ред.*

[2] Крайности сходятся (*фр.*). — *Примеч. ред.*

как исторически необходимое направление движения невероятного значения; ибо с ним в наш мир входит философский релятивизм, воплощенный Эйнштейном в физико-математической форме; по существу, это дальневосточная истина, от которой не стоит сейчас отказываться, ибо она действует.

Нет ничего менее действенного, чем интеллектуальные идеи. Однако, если идея является *фактом душевной жизни*, который проникает, казалось бы, без всяких очевидных исторических причинных связей, в самые разнообразные области, то к ней стоит присмотреться. Ибо идеи как факты душевной жизни представляют собой неоспоримую и непостижимую силу, каковая сильнее человека и его ума. Хотя человек воображает, будто он сам порождает эти идеи, но в реальности это они его порождают, и он бессознательно становится не чем иным, как их рупором.

Для того чтобы снова вернуться к нашей проблеме фиксации, мне бы хотелось еще раз коснуться вопроса о том, какое влияние оказывает разъяснение. Возвращение фиксации к темным истокам обесценивает позицию пациента; он не может не видеть неуместную детскость своих притязаний, благодаря чему в одном случае опускается с высокой позиции своевольного авторитета на более скромный уровень осознанной и, возможно, целительной неуверенности, а в другом случае распознает неизбежность того, что притязание на принятие формы другого есть не что иное, как инфантильное удобство, которое должно смениться осознанием собственной ответственности.

Тот, кому что-то говорит интуиция, сделает из нее моральные выводы, и, вооруженный убеждением в своей ущербности, окунется в бытие, чтобы растратить в трудах и испытаниях те силы и страстные устремления, которые до тех пор побуждали его крепко держаться за свой детский рай или, по меньшей мере, смотреть

в ту сторону. Нормальная адаптация и терпеливость в отношении к собственной ущербности станут ведущей моральной идеей с весьма вероятным крушением сентиментов и иллюзий. Неизбежным следствием становится отвращение от бессознательного как от средоточия слабости и соблазна, как от поля морального и социального поражения.

Проблема, которая после этого возникает перед пациентом, есть проблема *воспитания в себе социального человека*. Тут мы переходим на третью ступень. Простое понимание, которое для многих морально восприимчивых натур является достаточной мотивирующей силой, отказывает, однако, у людей с более скудными моральными фантазиями. Если над ними не занесен кнут неминуемо надвигающегося извне бедственного положения, то понимания недостаточно, даже если пациент глубоко убежден в его истинности, не говоря уже обо всех остальных, кто понял просветляющее толкование, но все равно в глубине души сомневается. Опять-таки, существуют морально дифференцированные люди, которые, постигая истинность редукционного разъяснения, не могут при этом смириться с обесцениванием своих надежд и идеалов. Понимание отказывает и становится бесполезным. Метод разъяснения как раз и способствует выявлению именно восприимчивых натур, которые могут самостоятельно сделать из понимания моральные выводы. Разумеется, разъяснением удается достичь большего, нежели простым неистолкованным признанием, ибо разъяснение, по меньшей мере, формирует дух, тем самым пробуждая, возможно, дремавшие до того силы, которые могут воздействовать в нужный миг с немалой пользой. Фактом остается, однако, то, что во многих случаях даже понятое и осознанное разъяснение все равно оставляет по себе негодный плод. К тому же основной разработанный Фрейдом принцип разъяснения — *удовольствие* и его удовлетво-

рение — сам по себе, как показало дальнейшее развитие, односторонен и поэтому недостаточен. Не всех людей можно объяснить, оценивая их по этому уголку психики. Несомненно, что такой уголок есть у каждого человека, но не всегда он главный. Можно подарить голодному великолепное живописное полотно, но ему нужно не оно, а хлеб. Предложите влюбленному пост президента Соединенных Штатов Америки, но он предпочтет этой должности объятия любимой. В целом всех тех людей, кто не испытывает трудностей с социальной адаптацией и с общественным положением, можно разъяснить с позиции удовольствия в большей степени, нежели тех, кто не смог адаптироваться, то есть, иными словами, тех, у кого вследствие какой-либо ущербности имеет место потребность в чувстве собственной значимости и во власти. Старший брат, идущий по стопам своего отца и добивающийся высокого социального положения, будет пресыщен удовольствиями, а младший брат, которого подавляют и обделяют и отец, и старший брат, будет мучиться от неудовлетворенного честолюбия и ощущения собственной незначительности, станет все остальное подчинять этой страсти, и потому удовольствия не будут для него проблемой — во всяком случае, жизненно важной.

Здесь в системе разъяснения существует ощутимый пробел, который решил заполнить бывший ученик Фрейда Адлер. Он убедительно доказал, что многочисленные случаи неврозов можно лучше объяснить, исходя из *жажды власти*, а не из потребности в удовольствии. Цель его толкований состоит в том, чтобы показать пациенту, как он, ради достижения фиктивной значимости, «располагает» свои симптомы и пользуется своим неврозом. Показать, как, собственно, перенос и прочие фиксации служат стремлению к власти и в какой мере они выражают «живой протест» против воображаемого подавления. Адлер, очевидно, имеет

в виду психологию угнетенных или социально неуспешных, чьей единственной страстью является потребность в собственной значимости. Невротическими эти случаи являются потому, что указанные пациенты воображают себя в угнетенном положении и, возомнив фикцию, воюют с нею, как с ветряными мельницами, вследствие чего успешно делают недостижимой ту самую цель, какой они изо всех сил добиваются.

Адлер, по сути, останавливается на стадии разъяснения, а именно на разъяснении в только что упомянутом смысле, и тем самым взывает, опять-таки, к пониманию. Отличительная черта Адлера заключается в том, что он немногого ждет от простого понимания, а отсюда отчетливо проступает необходимость социального воспитания. В то время как Фрейд главным образом выступает как исследователь и толкователь, Адлера можно назвать воспитателем. Он приступает к работе с негативным наследием Фрейда и в ходе лечения не покидает прячущегося в пациенте беспомощного ребенка с его пониманием ценностей, но старается всеми средствами воспитать из него нормального адаптированного человека. Это происходит, очевидно, на основе убеждения в том, что социальная адаптация и нормализация достойной достижения цели представляют собой безусловно необходимое и желательное побуждение для человеческого существа. С этих исходных позиций школа Адлера распространяет свое обширное социальное влияние и отворачивается от бессознательного, доводя временами эту недооценку до полного отрицания. Разворот от фрейдовского преувеличения роли бессознательного является неизбежной реакцией, которая, как я уже упоминал, соответствует неприятию каждого стремящегося к излечению и адаптации больного. Ибо если бессознательное и вправду есть не что иное как остатки дурных, теневых сторон человеческой натуры, включая доисторические «грязевые» отложения, то не-

возможно понять, почему человек должен дольше, чем следует, сидеть в этом болоте, куда он когда-то упал. Для ученого лужа может представлять собой мир, полный чудес, но для обычного человека это препятствие, которое лучше обойти, чтобы не замочить ног. Так же, как первоначальный буддизм не знает богов, ибо его задачей было освобождение от пантеона численностью приблизительно в два миллиона божеств, и психология должна была в процессе своего развития по необходимости отдалиться от такого, в сущности, негативного понятия, как фрейдовское бессознательное. Воспитательное намерение школы Адлера начинается там, где кончаются намерения Фрейда, и отвечает на вполне понятную потребность больного — после обретения понимания отыскать путь к нормальной жизни. Больному, конечно же, недостаточно знать, как и откуда пришла его болезнь, ибо редко понимание причин идет рука об руку с устранением неприятной болезни. Нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что ложные невротические привычки и пути становятся упорными неискоренимыми привычками, которые, несмотря на прозрение и понимание, не исчезают, так как не заменяются другими привычками, которые можно внушить только научением. Такая работа может быть выполнена лишь за счет настоящего воспитания. Исполненным смысла словом пациент должен быть «увлечен» на другие пути, что возможно только под влиянием мощной воспитывающей воли. Поэтому понятно, почему направление Адлера находит наибольший отклик среди учителей и священников, а направление Фрейда — среди врачей и интеллектуалов, которые, все вместе и по отдельности, бывают отменно плохими санитарами и воспитателями.

Каждая ступень развития нашей психологии имеет в себе что-то по-настоящему окончательное. *Катарсис* с полным выворачиванием наизнанку души заставляет

верить: теперь-то все уже здесь, все снаружи, все известно, всякий страх изжит, все слезы пролиты, и отныне все пойдет как надо. *Разъяснение* вещает столь же убедительно: теперь мы знаем, откуда взялся невроз, самые ранние воспоминания извлечены на свет божий, последние корни вырваны, а перенос был не чем иным, как желаемой фантазией из детского рая или возвращением к семейному роману; путь к жизни без иллюзий, то есть к нормальности, свободен. *Воспитание* идет последним, указывает на то, что криво растущее дерево нельзя выпрямить ни признанием, ни разъяснением — для этого нужно искусство садовника, который и приведет дерево в норму. Только так достигаются нормальная адаптация и приспособление.

Эта поразительная окончательность, эмоционально присущая каждой ступени, привела к тому, что сегодня существуют приверженцы катарсиса, которые, очевидно, не слышали о толковании сновидений; последователи Фрейда, не понимающие ни единого слова у Адлера; и почитатели Адлера, не желающие ничего знать о бессознательном. Каждый из них находится в плену истинной завершенности своей ступени, и отсюда проистекает путаница мнений и понятий, которая столь сильно затрудняет ориентацию в этой области.

Но откуда взялось чувство окончательности, порождающее столько авторитарного упрямства со всех сторон?

Я не могу объяснить это иначе, как тем, что каждая ступень покоится на одной окончательной истине, и поэтому снова и снова возникают случаи, которые с наибольшей убедительностью доказывают ту или иную истину. Истина является такой высокой ценностью в нашем переполненном ложью мире, что никто не желает с нею расставаться ради одного-двух так называемых исключений, которые не согласуются с данной теорией. Тот же, кто посмеет усомниться в истине,

неизбежно воспринимается как вероломный вредитель, отчего ко всем дискуссиям примешивается нотка фанатизма и нетерпимости.

Но каждый несет свет знания лишь до тех пор, пока его не отнимет кто-то другой. Если бы мы могли воспринимать этот процесс не как нечто личностное, если бы смогли, например, принять, что мы не являемся самостоятельными творцами наших истин, но выступаем лишь их носителями, простыми выразителями современных психических потребностей, то насколько меньше стало бы яда и горечи; наш взор сделался бы незамутненным, и мы смогли бы разглядеть в душе человечества глубокие надличностные связи.

Вообще люди не отдают себе отчет в том, что катарсис не является некой абстрактной идеей, которая автоматически не производит ничего кроме катарсиса. Но последователь метода катарсиса — это человек, который мыслит достаточно ограниченно, а в своих поступках действует все же как цельный человек. Не называя вещи своими именами, не сознавая даже того, что он делает, такой человек непроизвольно выполняет и разъяснение, и воспитание, так же как другие прибегают к катарсису, принципиально этого не подчеркивая.

Все живое имеет живую историю, даже внутри нас неприметно живет древнее холоднокровное существо. Так и три рассмотренные нами ступени аналитической психологии ни в коей мере не являются истинами, из которых последняя непременно должна пожрать и заменить обе предыдущие; это всего лишь важнейшие проявления одной и той же проблемы, которые противоречат друг другу столь же мало, как отпущение грехов противоречит исповеди.

То же самое относится и к четвертой ступени, к *метаморфозе*. Но и ей не следует предъявлять притязания на то, что она якобы открыла единственную подлинную истину. Понятно, что метаморфоза проникает в пробел,

оставленный тремя предыдущими ступенями: она просто удовлетворяет еще одну потребность, превосходящую возможности более ранних ступеней.

Чтобы уяснить, какие цели преследует ступень *метаморфозы* и что вообще означает довольно странный термин «метаморфоза», нам придется признаться себе в том, какая потребность человеческой души не была уловлена предыдущими ступенями, или, иными словами, какие еще притязания могут быть шире и выше, чем притязания нормального социально адаптированного человеческого существа. Нормальность человека — это самое полезное и целесообразное, о чем мы вообще можем подумать. Но уже в самом понятии «нормальный человек», как и в понятии «приспособление», содержится ограничение средним уровнем, которое представляется желательным улучшением только тому, кто и без того испытывает трудности в налаживании отношений с обычным миром, кто вследствие своего невроза просто неспособен вести нормальное существование. Стать «нормальным человеком» — идеальная цель для неудачников, для всех тех, кто не достиг среднего уровня адаптации. Однако, для людей, способных на нечто выше среднего уровня, для кого не составляет большого труда достигать успехов и добиваться отличных, а не удовлетворительных результатов, такая идея или моральное принуждение быть всего лишь нормальным, и не более того, становится воплощением прокрустова ложа, невыносимой смертельной скуки, стерильного и безнадежного ада. Также имеется немалое число невротиков, которые заболевают только оттого, что они нормальны, как есть и те, кто болен, потому что не смог стать нормальным. Мысль о том, что кому-то может прийти в голову идея о воспитании нормальности, означает для таких людей страшный сон, ибо их самая глубокая необходимость фактически состоит в том, чтобы вести аномальную жизнь.

Человек всегда может найти удовлетворение в том, чего у него еще нет; нельзя насытиться тем, что и так присутствует в избытке. Бытие в качестве социального и приспособленного существа не привлекает того, кто может добиться его играючи. Праведнику скучно долго быть праведным, в то время как вечно неправый тайно и страстно стремится к праведности как к далекой цели.

Людям свойственны разные потребности и необходимости. То, что для одного освобождение, для другого тюрьма. Так же обстоит дело с нормальностью и адаптацией. Если один из биологических постулатов гласит: человек — стадное животное и достигает полного здоровья лишь как социальное существо, — то уже следующий пациент ставит этот постулат с ног на голову, так как он полностью здоров только в том случае, если ведет аномальную и асоциальную жизнь. Можно прийти в отчаяние от того, что в реальной психологии не существует общепринятых рецептов и норм. Есть только индивидуальные пациенты с самыми разнообразными потребностями и притязаниями, разнообразными настолько, что вообще нельзя знать заранее, каким путем будут развиваться события, поэтому врач поступит наилучшим образом, если отвлечется от всех готовых мнений. Это не означает, что их надо вообще отбросить — нет, их нужно принимать как гипотезы, как возможные объяснения особенностей конкретного случая. Причем поступать так следует не для того, чтобы поучать или убеждать, а для того, чтобы в большей степени показать пациенту, как врач реагирует на его особый случай. Ибо, как ни поверни, отношения между врачом и пациентом суть личные отношения, включенные в рамки безличного врачебного подхода. Никаким искусным приемом не избежать того, что лечение является производным обоюдного влияния, в котором целиком, всем своим существом, участвуют как пациент, так и врач. В лечении имеет место встреча двух иррациональных

сущностей, а именно, двух людей, каковые не являются ограниченными и определимыми величинами, но у которых, помимо их, возможно, определенного сознания, присутствует обширная и неопределяемая область бессознательного. Поэтому для результата лечения личность врача (как и пациента) часто бесконечно важнее, чем то, что врач говорит или имеет в виду, хотя не следует недооценивать ту пользу или вред, какие могут причинить слова. Встреча двух личностей напоминает смешение двух различных химических веществ: если соединение происходит, то изменяются оба вещества. В каждом случае психологического лечения врач неизбежно оказывает влияние на пациента. Это влияние, однако, может иметь место только тогда, когда пациент чем-то поражает врача. Влияние есть синоним удивления. Врачу не будет пользы оттого, что он станет скрывать влияние пациента на себя и окружать себя ореолом отечески-профессионального авторитета. Этим он только откажет себе в использовании наиболее существенного органа познания. Пациент воздействует бессознательно, чем вызывает изменения в подсознании врача; хорошо известные многим психотерапевтам, подлинные профессиональные душевные нарушения или настоящие заболевания превосходно объясняются так называемым химическим влиянием пациента. Одним из самых известных проявлений такого рода является возникающий под действием переноса *контрперенос*. Но зачастую влияние носит куда более тонкий и незаметный характер, и объяснить это влияние нельзя иначе, чем посредством старой идеи переноса болезни на здорового человека, который за счет своего здоровья должен победить демона болезни, что неизбежно вызывает негативные последствия для его самочувствия.

Между врачом и пациентом действуют иррациональные факторы отношений, каковые вызывают *изменение* в обоих участниках контакта. При этом оконча-

тельный вид отношениям придает более устойчивая, более сильная личность. Мне приходилось наблюдать множество случаев, когда пациент уподоблял себе врача вопреки всем теориям и профессиональным взглядам, причем, как правило, в ущерб врачу.

Ступень метаморфозы зиждется на фактах, для ясного понимания которых требуется нечто большее, нежели четверть века предшествующего всеобъемлющего практического опыта. Признав эти факты, сам Фрейд принял мое требование, что анализировать надо и врача.

Что означает это требование? Оно означает лишь то, что врач находится внутри анализа точно так же, как пациент. Подобно этому последнему, он предстает такой же составной частью психологического процесса лечения и, значит, в такой же степени подвержен преобразующим влияниям. В той мере, в какой врач остается недоступным для этих влияний, он лишает себя возможности воздействовать на пациента, а так как влияние пациента бессознательно, то в сознании врача возникает пробел, который делает невозможным правильное лечение. В обоих случаях качество лечения страдает.

Врач нагружен той же задачей, какой он хочет нагрузить пациента, например, задачей быть социально адаптированным существом или, в других случаях, наоборот, избегать приспособления. Вполне естественно, что психотерапевтические требования могут рядиться в тысячу различных формул в зависимости от метода. Один верит в преодоление инфантилизма и потому должен сначала преодолеть собственный инфантилизм. Другой верит в выплескивание аффектов, а значит, должен выплеснуть все свои аффекты. Третий верит в полную осознанность и должен добиваться полной осознанности собственного «Я», или, по крайней мере, упорно стремиться к выполнению своих психотерапевтических требований, если хочет оказывать правильное влияние на

пациента. Все эти ведущие психотерапевтические идеи подразумевают важные этические требования, которые в совокупности находят наивысшее выражение в простой истине: *ты должен стать таким, каким ты хочешь казаться*. Красноречие само по себе всегда считалось пустым занятием, и, безусловно, не существует никакого искусного приема, который позволил бы долго обходить эту простую истину. Убеждать надо не *в чем*, а *чтобы*, и это правило верно во все времена.

Четвертая ступень аналитической психологии требует встречного применения общепризнанной системы к самому врачу, причем с той же беспощадностью, теми же последствиями и тем же упорством, какие сам врач проявляет в отношении пациента.

Если оценить, с каким вниманием и критикой должен психолог следовать за своим пациентом, чтобы раскрыть все его заблуждения, неверные выводы и инфантильные тайны, то для врача будет немалым достижением приложить эту методику к самому себе. Люди обычно мало интересуются собой; нам, как говорится, не платят за интроспективные усилия. Сверх того, неуважение и пренебрежение истинами человеческой души до сих пор столь велико, что самонаблюдение и внимание к себе считают едва ли не болезнью. Очевидно, что люди не чувствуют здоровья в собственной душе, поэтому занятие ею пахнет для человека больничной палатой. Это сопротивление врач должен преодолеть в себе, ибо как может воспитывать тот, кто сам не воспитан, как может просвещать тот, кто сам бродит в темноте, как может контролировать других тот, кто сам необуздан?

Шаг от воспитания к *самовоспитанию* является логическим продолжением, которое дополняет и завершает все предыдущие ступени. Требование ступени метаморфозы, которая заключается в преображении врача ради обретения способности менять пациента, не явля-

ется, как можно легко догадаться, популярным требованием: во-первых, потому, что оно кажется непрактичным и бесполезным; во-вторых, занятие собой подвержено неприятному предубеждению; и в-третьих, временами становится очень болезненно оправдывать самому все те ожидания, которые врач с такой легкостью возлагает на пациента. Последний пункт в особенности служит непопулярности этого требования, ибо тот, кто воспитывает себя и работает над собой, быстро обнаруживает, что в нем присутствует то, что противится нормализации, что, несмотря на длительное разъяснение и разрядку, подобно призраку продолжает оказывать свое вредоносное воздействие. Как тут быть? Верно, что врач всегда знает — к этому обязывает профессиональный долг, — что должен делать пациент. Но как поступать самому, да еще исходя из глубочайшего убеждения, когда речь идет о нем самом? Или, может быть, о его ближайших родственниках? В этих изысканиях он откроет в себе неполноценность, которая подозрительно тесно сблизит его с пациентами и, возможно, станет подрывать его авторитет. Как обойдется он с этим болезненным открытием? Эти, в известной мере «невротические», вопросы затрагивают глубины его существа, невзирая на то, каким нормальным он может казаться самому себе. Еще он обнаружит, что последние вопросы, которые угнетают его ничуть не меньше больных, не могут получить ответ никаким лечением, что другие решения всегда будут детскими и останутся таковыми, что без решения вопросы по необходимости снова окажутся вытесненными.

Я не стану дальше перечислять проблемы, возникающие при исследовании самого себя, ибо сегодня, при почти полном незнании души, они представляют очень небольшой интерес.

Напротив, мне хотелось бы подчеркнуть, что новейшие достижения аналитической психологии застав-

ляют задаться общим вопросом об иррациональных факторах человеческой личности и выводят на первое место личность самого врача — как исцеляющий фактор или его противоположность, в результате чего главным требованием становится собственная метаморфоза врача, то есть *самовоспитание воспитателя*. Тем поднимается на субъектную ступень все, что было объективно присуще нашей психологии в ходе ее истории, признание, разъяснение и воспитание; иными словами, все то, что произошло с пациентом, должно произойти и с врачом, чтобы его личность не могла неблагоприятно повлиять на пациента. Врач не имеет права уклоняться от собственных трудностей за счет того, что он лечит трудности других так, как будто у него самого нет никаких душевных затруднений.

Как раньше школа Фрейда, благодаря далеко идущему открытию теневой бессознательной стороны, внезапно оказалась в том положении, в котором ей пришлось разбираться даже с религиозно-психологическими вопросами, так новый поворот привел к тому, что этическая позиция врача неизбежно стала весьма проблематичной. Неразрывно связанные с этим вопросом самокритика и самопознание сделают необходимым совершенно иное, по сравнению с прежним, чисто биологическим, понимание души, ибо человеческая душа, безусловно, не является предметом естественнонаучно ориентированной медицины: здесь важен не только больной, но также и врач, не только объект, но и субъект, не только функция мозга, но и абсолютное условие нашего сознания.

Как случилось ранее с методами медицинского лечения, методы самовоспитания выступают на передний план, и горизонт нашей психологии раздвинулся до безграничных пределов. Авторитет определяется не врачебным дипломом, а человеческими качествами. Этот поворот крайне значим, ибо он ставит весь арсе-

нал психиатрического искусства, каковое развивается в непрестанной работе с больными и становится более тонким и систематическим, на службу самовоспитанию, самосовершенствованию; тем самым аналитическая психология разрывает цепи, которыми она до сих пор была прикована к кабинету психотерапевта. Она воспаряет над собой и начинает заполнять тот огромный пробел, который до сих пор определял душевный недостаток Запада в сравнении с восточными культурами. Мы знали лишь подавление психики и смирительные рубашки, но не занимались методичным развитием души и ее функций. Наша культура еще молода, а юные культуры нуждаются в искусстве укротителей, чтобы привести в хотя бы относительную форму все отвратительное, варварское и дикое. Однако на высших ступенях культуры развитие должно заменить — и наверняка заменит — принуждение. Для этого нам нужны способы и методы, которых у нас до сих пор не было. Мне представляется, что знания и опыт аналитической психологии могут предоставить для этого, по меньшей мере, основу, ибо в тот миг, когда исходно медицинская психология превращает самого врача в обезличенный предмет, она перестает быть просто методом лечения больного. Сейчас она имеет дело со здоровыми — по крайней мере, с теми, кто предъявляет моральные притязания на душевное здоровье, с теми, болезнь которых, в самом предельном случае, может быть страданием, причиняющим муки всем. Поэтому наша психология притязает на то, чтобы стать всеобщим достоянием, причем в большей мере, чем предшествующие ступени, каждая из которых уже являлась носительницей всеобщей истины. Однако между этим притязанием и сегодняшней действительностью лежит пропасть, через которую нет моста. Строить его предстоит постепенно, камень за камнем.

Об отношении аналитической психологии к поэтическому творчеству[1]

Разговор об отношении аналитической психологии к поэтическому творчеству, несмотря на всю сложность задачи, предоставляет удобную возможность изложить мою точку зрения на этот в высшей степени спорный вопрос. Несомненно, эти две области, невзирая на их несоизмеримость, имеют друг к другу очень тесное отношение, требующее обстоятельного разбора. Это отношение зиждется на том факте, что искусство в своем осуществлении представляет собой психическую деятельность, и как таковое должно быть подвергнуто психологическому рассмотрению; ибо под таким углом зрения оно, как и любая проистекающая из психологических мотивов деятельность, является предметом психологии. Этим утверждением задается, однако, и отчетливое ограничение применимости психологического подхода: *лишь часть искусства, заключающаяся в процессе создания художественного образа, может стать предметом психологии, — но не та, которая, собственно, составляет сущность искусства. Эта вторая часть, как и вопрос о том, что представляет собой само искусство, должна быть предметом не психологического, а эстетически-художественного рассмотрения.*

---

[1] Доклад, прочитанный на заседании Общества немецкого языка и литературы в Цюрихе в мае 1922 года. Опубликовано в: «*Wissen und Leben*» (Zürich, September 1922). — *Примеч. ред.*

Подобное различение мы должны также провести в области религии: здесь психологическое рассмотрение может иметь место только в отношении эмоциональных и символических *феноменов*, оно не затрагивает и не может затрагивать сущность религии. Будь последнее возможным, то не только религия, но и искусство можно было бы рассматривать как разделы психологии. При этом ни в коем случае нельзя отрицать, что такое понимание фактически имеет место. Однако тот, кто его придерживается, забывает, что такой же подход можно легко приложить и к психологии, уничтожив тем самым специфическую ценность и собственную сущность психологии, ибо при таком понимании психология оказывается функцией мозга в ряду функций других желез организма, еще одним разделом физиологии (что с нею, собственно, и произошло).

По своей сути искусство не является наукой, а наука по своей сути не является искусством; по указанной причине каждая из этих областей человеческого духа имеет собственный ареал существования, объяснить который можно только исходя из него самого. Таким образом, когда мы говорим об отношении психологии к искусству, то имеем в виду ту часть искусства, которая вообще подлежит психологическому рассмотрению, без вторжения в область собственно искусства. То, что психология может обнаружить в искусстве, ограничивается психическими процессами творческой деятельности и никогда не должно касаться сокровенной сущности искусства. Это столь же недопустимо, как воображать рассудок сутью чувства или вообще мыслить его в таком качестве. Да, две эти области никогда бы не воспринимались нами как два принципиально различных круга явлений, если бы нашему пониманию издавна не навязывалось представление об их принципиальном различии. Очевидно, что у маленького ребенка нет «борьбы направленностей» и в нем мир-

но дремлют в полном согласии возможности художественного, научного и религиозного развития; также другие факты говорят нам, что у первобытных людей начатки искусства, науки и религии нераздельно уживаются в хаосе магической ментальности; наконец, у животных вообще незаметен какой-либо «дух», они обладают всего-навсего «природным инстинктом». Все эти факты ничего не говорят о принципиальном единстве сути искусства и сути науки — которое одно могло бы оправдать их взаимопоглощение, точнее, редукцию друг к другу. Ибо, если мы достаточно далеко проследим состояние духовного развития — вплоть до того момента, когда были незаметны принципиальные различия, — то тем самым не добьемся понимания какого-то глубокого единства, но лишь отметим раннее состояние исторического развития, состояние недифференцированности, внутри которой не существует ни то, ни другое (ни наука, ни искусство). Это элементарное состояние нельзя считать принципом, на основании которого мы могли бы делать выводы о сущности более поздних и более развитых состояний, даже при том, что они непосредственно из него проистекают. Научный подход, естественно, отличает стремление рассматривать сущность дифференциации как следствия каузального вывода, поэтому он норовит свести ее к общепринятым элементарным понятиям.

Эти рассуждения представляются мне сегодня весьма уместными, поскольку в новейшее время мы неоднократно сталкивались с попытками трактовать искусство, в особенности поэтическое, в том духе, что оно будто бы соответствует этому сведению к более элементарным состояниям. Можно свести условия художественного творчества, содержание и индивидуальную обработку, например, к отношениям поэта и его родителей, но это ничего не добавит к нашему пониманию искусства. К такому же ретроградному прослеживанию

можно прибегнуть и во всевозможных других случаях, не в последнюю очередь в случаях болезненных нарушений. К отношениям ребенка и родителей сводят возникновение неврозов и психозов, а также хорошие и дурные привычки, убеждения, особенности характера, увлечения, особые интересы и т.д. Но невозможно в самом деле признавать, что все эти различные факторы имеют, так сказать, одно и то же объяснение, ибо в таком случае можно прийти к абсурдному выводу — что они суть одно и то же явление. Значит, если объяснять художественное творчество именно так, надо будет признать, что либо художественное творчество само по себе невроз, либо что невроз есть художественное творчество. Можно допустить такую *façon de parler*[1] как парадоксальную игру слов, но здравый смысл нормального человека восстает против того, чтобы ставить на одну доску художественное творчество и невроз. Можно в самом крайнем случае допустить, что врач, анализирующий состояние пациента, исходящий в наблюдении из профессиональных предрассудков, вполне может посчитать невроз плодом художественного творчества, но мыслящему профану никогда не придет в голову сама возможность уравнять болезненный феномен с искусством, хотя этот профан не сможет отрицать, что творение художественного произведения происходит под воздействием тех же психических предпосылок, что и невроз. Это на самом деле так, ибо известные психические предпосылки присутствуют везде и у всех, но при всей их схожести, в силу относительного тождества условий жизни, мы тем не менее видим совершенно разных людей — нервного ученого, экзальтированного поэта или просто нормального человека. У всех, конечно же, есть родители, есть так называемые отцовские и материнские комплексы, все обладают сексуальностью, следо-

[1] Здесь: манеру изъясняться (*фр.*). — *Примеч. ред.*

вательно, сталкиваются с известными, типическими, общими для всех людей затруднениями. То, что вот на этого поэта больше повлияло отношение к отцу, а на того — связь с матерью, что в сочинениях третьего безошибочно угадываются следы сексуального вытеснения, можно сказать о любом невротике, как, впрочем, и обо всех нормальных людях. Таким путем нам не удастся узнать ничего специфического для суждения о художественном творчестве. В лучшем случае получится разве что расширить и углубить наши знания об исторических предпосылках творчества.

Фактически заданное Фрейдом направление медицинской психологии в определенной степени побудило историков литературы поставить индивидуальное своеобразие художественного творчества в связь с личностными, внутренними переживаниями поэта. Излишне при этом говорить, что научные исследования художественного творчества не так давно обнаружили нити, вплетающие — преднамеренно или ненамеренно — личные, внутренние ощущения поэта в его сочинения. Однако работы Фрейда сделали возможным, с учетом обстоятельств, более глубокое и исчерпывающее указание на восходящие к раннему детству влияния на художественные творения. При соблюдении меры и вкуса можно получить поистине поразительную общую картину того, как художественное творение, с одной стороны, вплетается в личную жизнь художника, а с другой стороны, снова выделяется из этого переплетения. В данном отношении так называемый *психоанализ* художественного творчества ничем не отличается от глубокого и подробного, изобилующего нюансами литературно-психологического анализа. Отличие между ними состоит лишь в степени, а в некоторых случаях оно неожиданно проявляется в грубых выводах и бестактных определениях, которых легко избежать при более деликатном подходе и проявлении простого чувства такта.

Недостаток робости (стыдливости?) перед «слишком человеческим» является профессиональной особенностью медицинской психологии, которая, как верно заметил Мефистофель, «лечит все одним, все тем же самым» и берется за «всяческие штучки, которых ждут иные по годам»[1], причем без всякой пользы для себя. Возможность выносить смелые суждения легко соблазняет к чрезмерностям. Маленький эпизод скандальной хроники часто придает изюминку биографии, но нечто большее уже будет грязным вынюхиванием, полным отсутствием хорошего вкуса, рядящимся в тогу науки. При этом как бы нечаянно отвлекаются от интереса к художественному творчеству, и последний теряется в невообразимой путанице психических предпосылок, сам поэт превращается в клинический случай и в конечном счете становится очередным образчиком *psychopathia sexualis*[2]. Точно так же психоанализ художественного творчества отделяется от предмета своего изучения и переносит дискуссию в область обыденного человеческого, никоим образом не специфическую для художника и совершенно несущественную для его искусства.

Такой анализ ведет к *предвосхищению* художественного творчества, переносит в область общечеловеческой психологии, из которой, помимо художественного творчества, может возникать вообще все что угодно. Притянутое к художественному творчеству объяснение является, соответственно, обычной пошлостью, вроде утверждения, что каждый художник — нарцисс. Всякий человек, неуклонно, насколько это возможно, придерживающийся своего мировоззрения и поведения, является нарциссом, если прибегать к этому специфическому понятию патологии неврозов в столь широком смысле; по этой причине данное утверждение не гово-

[1] *И.В. Гете*. Фауст / Перевод Н. Холодковского. — *Примеч. ред.*
[2] Сексуальной психопатии (*лат.*). — *Примеч. ред.*

рит ни о чем, выступает всего-навсего острым словцом. Поскольку этот вид анализа не занимается собственно искусством, но, как крот, старательно роется в подоплеках и глубинных пластах, то его итогом оказывается та же основа, какая свойственна всем людям, и потому объяснения таких аналитиков отличаются потрясающим однообразием, в духе, привычном по врачебным приемам.

Редукционистские методы Фрейда суть именно медицинский подход, который имеет своим предметом болезненную и иллюзорную связь. Эта патологическая связь подменяет собой связь нормальную и потому подлежит устранению, чтобы освободить место здоровой адаптации. В этом случае возврат к общему человеческому базису представляется вполне уместным. Примененный к художественному творчеству, этот метод приводит к описанному выше результату: из блестящих одежд художественного творчества он извлекает голую обыденность элементарного Homo sapiens, к виду которого принадлежит сам поэт. Золотое сияние наивысшего творения, о котором намеревались говорить, тускнеет, ибо подвергается такому же вытравливанию, что и обманчивые фантазии истерии. Такое препарирование представляет определенный интерес и, возможно, имеет научную ценность, аналогичную ценности вскрытия мозга Ницше — последнее может лишь показать, от какой из атипичных форм паралича умер философ. Но имеет ли это вскрытие хоть малейшее отношение к «Заратустре»? Каковы бы ни были предпосылки и основания, творец является цельным, единым миром, находящимся по ту сторону от «человеческой, слишком человеческой» порочности, по ту сторону мигрени и атрофии мозговых клеток.

До сих пор я говорил о редукционизме Фрейда, не вдаваясь в подробности того, что этот метод из себя представляет. Речь идет о медико-психологической тех-

нике исследования психических болезней, увлеченной исключительно путями и средствами обхода осознаваемого первого плана или возможности посмотреть сквозь это осознаваемое, чтобы проникнуть в психический фон, в так называемое бессознательное. Эта техника зиждется на том предположении, что больной неврозом вытесняет из сознания известное психическое содержание вследствие его несовместимости с сознанием. Данная несовместимость мыслится в моральных категориях; соответственно, вытесненное содержание должно иметь негативный характер, а именно, инфантильно-сексуальный, обсценный, вплоть до криминального, и такое содержание сознание воспринимает как неприемлемое. Поскольку каждый человек несовершенен, постольку у каждого имеется такой негативный фон, независимо от того, способен ли человек признать это или нет. Посему этот фон можно всегда раскрыть, если применить разработанную Фрейдом технику толкования.

В ограниченном временными рамками докладе невозможно, естественно, осветить все подробности техники истолкования. Мне придется удовлетвориться лишь некоторыми намеками. Неосознаваемый фон не остается пассивным, он выдает себя за счет характерного влияния на осознаваемое содержание. Например, этот фон может производить фантазии своеобразного свойства, которые иногда можно легко свести к прячущимся на заднем плане сексуальным представлениям. В иных случаях эти фоновые содержания вызывают характерные нарушения хода осознаваемых процессов, и эти нарушения можно свести (редуцировать) именно к вытесненным содержаниям. Важным источником распознавания и выявления неосознаваемых содержаний являются сновидения, производные деятельности бессознательного. Сущность редукционизма Фрейда заключается в том, что он позволяет собрать все указа-

ния на неосознаваемый содержательный фон и с помощью анализа и толкования реконструировать элементарные бессознательные влечения. То содержание сознания, которое позволяет угадать неосознаваемый фон, Фрейд неправильно называет *символами*, поскольку в его учении они играют роль *знаков* или *симптомов* неосознаваемых фоновых процессов, но никоим образом не являются символами в собственном смысле слова, то есть выражениями понятий, которые пока не могут быть описаны по-другому или яснее. Когда, например, Платон выражает теоретическую проблему познания в притче о пещере, или когда Христос изъясняет в притчах понятие Божьего царства, здесь мы имеем дело с истинными и правомочными символами, а именно, с попытками выразить представление о чем-либо таком, для чего еще не существует словесно оформленного понятия. При попытке истолковать платоновскую притчу по Фрейду, мы, разумеется, пришли бы к рассуждениям о материнском лоне и смогли бы доказать, что дух Платона задержался в исконном первоначале, то есть в области инфантильно-сексуальной. При этом мы полностью упустили бы из вида тот факт, что Платон, исходя из примитивных предпосылок, творчески формирует свое философское воззрение; мы беспечно прошли бы мимо наиболее важного в философии Платона, просто установили бы, что у него наличествовали инфантильные сексуальные фантазии, как у всех обычных смертных. Такое утверждение имело бы ценность только для того, кто считал Платона сверхчеловеком, а теперь может с полным правом утверждать, что философ был всего лишь человеком. Но кто, собственно, считает Платона божеством? Видимо, только тот, кто подвержен господству инфантильных фантазий, то есть обладает невротической ментальностью. Такая редукция к обыденным человеческим истинам полезна лишь по медицинским соображениям. Но та-

кой подход никак не отражает сущность платоновских притч.

Я умышленно уделил так много времени отношению врачебного психоанализа к художественному творчеству, поскольку этот вид психоанализа является также и доктриной Фрейда. Своим упрямым догматизмом Фрейд сам позаботился о том, чтобы оба этих, сущностно различных направления стали восприниматься обществом как тождественные. Эту технику можно с пользой применять в определенных медицинских случаях, не возвышая ее как доктрину; но самостоятельно, как доктрина, эта техника абсолютно неприемлема, поскольку опирается на произвольные допущения: скажем, неврозы никоим образом не являются исключительно следствием сексуального вытеснения, и то же самое верно для психозов. Сновидения ни в коем случае нельзя считать отражением разрозненных вытесненных желаний, которые скрываются от сознания гипотетической внутренней цензурой. Фрейдистская техника толкования, поскольку она находится под влиянием односторонних и потому порочных гипотез, отличается очевидной произвольностью.

Для того чтобы стать справедливой к художественному творчеству, аналитическая психология должна полностью освободиться от медицинских предубеждений, ибо художественное творчество — не болезнь, оно требует совершенно иных ориентиров, отличных от врачебных. Если врач — что вполне естественно — должен исследовать причину заболевания с тем, чтобы по возможности вырвать ее с корнем, то психолог — столь же естественно — должен по отношению к художественному творчеству занять противоположную позицию. Он не станет поднимать ненужные и избыточные для художественного творчества вопросы о предшествовавших, несомненно, общечеловеческих предпосылках; психолог должен спрашивать о смысле произ-

ведения, и предпосылки должны интересовать психолога постольку, поскольку они помогают понять этот смысл. Личностная причинная связь имеет столько же общего с художественным творчеством, сколько почва с растением, которое на ней произрастает. Безусловно, мы сможем понять некоторые особенности растения, если будем знать особенности того места, где оно растет. Для ботаника это очень важная составляющая его знаний. Но никто в здравом уме не станет утверждать, что знание особенностей почвы — то единственное, что необходимо знать для понимания сущности растения. Установка на личность, которая опирается на вопросы о личностных причинных связях, не годится, когда речь заходит о художественном творчестве, ибо последнее носит надличностный характер. Творчество — нечто вне личности, оно не может служить критерием для оценки личности. Истинное художественное произведение имеет особый смысл в том, что ему удается вырваться из тесноты и тупиков личностного, воспарить ввысь и оставить далеко внизу преходящее и мимолетное личного.

Исходя из собственного опыта, я вынужден признать, что врачу очень нелегко отказаться от профессиональных шор при столкновении с художественным творчеством и одновременно отвергнуть общепринятую биологическую каузальность. Однако я все-таки усвоил, что биологически ориентированная психология может в известной мере обоснованно применяться к человеку как таковому, но совершенно неприменима к человеку-творцу. Сугубо каузальная психология способна лишь редуцировать всякого индивидуума до представителя вида Homo sapiens, ибо для нее существуют только явление и происхождение. Художественное же произведение не только явлено и выведено, это новое творческое оформление, переработка именно тех условий, из которых каузальная психология хочет вы-

вести творчество. Растение — не просто продукт почвы, это покоящийся в самом себе живой творческий процесс, сущность которого не имеет ничего общего со свойствами почвы. Художественное произведение желательно рассматривать как творческое оформление, свободно охватывающее все предпосылки. Его смысл, свойственный ему одному вид покоятся в нем самом, а не во внешних по отношению к нему предпосылках; вряд ли будет преувеличением заявить, что это сущность, которая использует человека и его склонности как питательную почву, использует ее силы по своим законам и формирует себя так, как она этого пожелает.

Впрочем, я забежал вперед, упомянув особый род художественного творчества, который следует теперь ввести в обсуждение, ибо далеко не все художественные произведения создаются упомянутым образом. Ряд произведений, поэтических и прозаических, призван по замыслу и осознанному решению автора оказать то или иное воздействие. В этом случае автор подвергает свой материал определенно оправданной обработке, в ходе которой тут прибавляет, а там укорачивает, один аффект подчеркивает, а другой ослабляет, привнося оттенки и новые цвета; все это делается взвешенно, с учетом возможного воздействия и при неукоснительном соблюдении законов изящной формы и стиля. В ходе этой работы автор прибегает к самым проницательным суждениям, а в выборе средств выражения пользуется полной свободой. Материал является для него не более чем материалом, подчиненным художественному замыслу; автор хочет представить именно это и ничто другое. Здесь поэт становится тождественным творческому процессу, причем не важно, оказался ли он на острие творческого движения по собственной воле или сам процесс использует его как орудие (это обстоятельство, этот факт, ускользает от его сознания). Он сам является творческим образом, находится с ним в нераз-

рывной связи, неотделим от него со всеми своими намерениями и всеми своими возможностями. Мне нет нужды приводить примеры из истории литературы или из признаний самих поэтов.

Несомненно, я не скажу ничего нового, когда коснусь художественных произведений иного рода, которые обретают плоть под пером автора как нечто цельное и готовое, которые рождаются в полном вооружении, как Афина Паллада из головы Зевса. Эти творения словно навязываются автору, овладевают его рукой, его перо пишет строки, которые дух автора созерцает с изумлением. Произведение несет с собой свою форму; что автор хочет добавить, отвергается, а то, что он не желает принимать, ему навязывается. Его сознание беспомощно и опустошенно замирает перед этим явлением, а сам он оказывается потрясенным потоком мыслей и образов, каковые никогда бы не произвел никакой его вымысел и каковые он никогда бы не породил по своей воле. Собственно, против воли он вдруг обнаруживает, что пером управляет его самость, что в этом открывается его сокровенная природа, которая громко заявляет то, что он никогда бы не доверил своему языку. Он может лишь повиноваться и следовать явно чуждым побуждениям, чувствовать, что его произведение превосходит автора и обладает поэтому безраздельной властью над ним, властью, которой он не может ничего предписывать и которой нечего противопоставить. Автор здесь отнюдь не тождественен процессу творческого оформления; он сознает, что стоит ниже своего произведения или, в лучшем случае, рядом с ним, точно как человек, очутившийся под пятой чужой воли.

Говоря о психологии художественного творчества, мы должны прежде всего иметь в виду эти две совершенно различные возможности возникновения произведения, ибо многое из того, что имеет наибольшее значение для психологической оценки, зависит от дан-

ного различия. Это противопоставление ощутил еще Шиллер; он пытался, как известно, выразить себя эпитетами *сентиментальный* и *наивный*. Выбор выражения проистекал из того факта, что Шиллер имел главным образом в виду поэтическое творчество. С точки зрения психологии первый вид творчества можно назвать *интровертным*, а второй — *экстравертным*. Интровертная установка характеризуется утверждением субъекта и его осознанных намерений и целей в противовес требованиям объекта; экстравертная установка, напротив, характеризуется подчинением субъекта требованиям объекта. По моему мнению, драмы Шиллера дают хорошее представление об интровертной установке в отношении к материалу, как и большинство его стихов. Материал видоизменяется по замыслу поэта. Хорошей иллюстрацией противоположной установки служит вторая часть «Фауста». Здесь материал отличается неповиновением автору. Еще более разительный пример такого неповиновения — «Заратустра» Ницше, где автор сам признает, что «одиночествовал вдвоем»[1].

Вероятно, уже по моему стилю изложения можно понять, какое смещение психологической точки зрения имеет место, ибо я сознательно говорю уже не о поэте как личности, а о творческом процессе. Рассмотрение смещается в сторону процесса, тогда как личность отходит на второй план и трактуется лишь как реагирующий объект. Там, где сознание автора перестает быть тождественным творческому процессу, это явление не требует особого разъяснения; однако в случае, который был рассмотрен в самом начале, налицо, казалось бы, нечто противоположное: автор, по всей видимости, сам является творцом, создавая произведение из свободных фрагментов и без всякого принуждения. Должно быть, поэт убежден в своей свободе и не желает признавать,

[1] Перевод Ю. Антоновского. — *Примеч. ред.*

что творение не тождественно его воле, но лишь возникает из нее и его умения.

Здесь мы сталкиваемся с вопросом, на который не сможем ответить, опираясь на то, что говорит нам сам поэт о своем сочинении; ибо это научная задача, разрешить которую способна только психология. Возьмем случай, о котором я уже мимоходом упоминал, — когда поэт, по-видимому, осознанно и свободно творит и создает, исходя из самого себя, то, что хочет; так вот, этот поэт, несмотря на все свое осознание, охвачен творческим порывом в такой степени, что он не в состоянии вспомнить иные желания. Сколь слабо другой тип его собственной воли может непосредственно ощущаться в чуждом внешнем вдохновении, хотя собственное «Я» говорит с поэтом вполне отчетливо! Значит, справедливо посчитать убеждение в безусловной свободе творчества иллюзией сознания; поэт уверен, что плывет самостоятельно, но в действительности его увлекает бурный поток.

Это сомнение ни в коем случае не высосано из пальца, оно проистекает из опыта аналитической психологии, исследования которой в области бессознательного позволили вскрыть множество возможностей — например, возможность того, что бессознательное способно не только влиять на сознание, но и им управлять. То есть сомнение видится вполне оправданным. Но откуда мы берем доказательства того допущения, что находящийся в ясном сознании поэт может быть сильно захвачен своим произведением? Доказательства тут могут быть прямыми и косвенными. Прямое доказательство мы получаем в том случае, когда поэт тем, что намеревался сказать, более или менее явно говорит больше, чем сам замечает. Такие случаи встречаются довольно часто. Косвенные доказательства можно получить в тех случаях, когда за видимой «самостоятельностью» произведения стоит высшее «должен-

ствование», которое тотчас заявляет свои права, когда случается произвольный отказ от творческой деятельности, или когда возникают тяжелые психические осложнения, когда происходит непроизвольное прерывание творческого процесса.

Практический анализ жизни деятелей искусства неизменно позволяет снова и снова показывать, насколько могучим является проистекающее из бессознательного влечение художественного творчества и насколько оно своенравно и своевольно. Как следует из биографий многих великих художников, их стремление к творчеству было настолько сильным, что поэт или художник отказывался от всего человеческого в себе и ставил жизнь на служение искусству, даже за счет собственного здоровья и простого человеческого счастья. Нерожденное произведение в душе художника представляет собой природную энергию, которая силой либо хитростью добивается естественной цели, нисколько не заботясь о благополучии или страданиях человека, ощутившего творческий порыв. Творческое начало живет и произрастает в человеке, как дерево в почве, откуда оно черпает питательные соки. Значит, мы поступим правильно, если станем рассматривать процесс создания творческих образов как живой организм, посаженный на почву человеческой души. Аналитическая психология называет эти состояния *автономными комплексами*, которые как отдельные части души ведут самостоятельную, как бы выдернутую из иерархии сознания психическую жизнь и, соответственно своей энергетической ценности, своей силе, либо проявляются в виде нарушения произвольно направляемых осознаваемых процессов, либо выступают упорядочивающей инстанцией, каковую «Я» может даже взять себе на службу. Соответственно, того поэта, который отождествляет себя с творческим процессом, можно считать тем человеком, кто немедленно отвечает утвердитель-

но, когда ему начинает грозить неосознаваемое долженствование. Другого же поэта, кому творчество представляется почти чуждой внешней силой, можно считать человеком, который по тем или иным причинам не может сказать «да», и потому долженствование сильно его поражает.

Следует ожидать, что разнообразие установок должно сказываться на произведениях. В одном случае речь идет о намеренном, сопровождаемом деятельностью сознания творении, которое в результате умственного усилия приобретает задуманную форму и силу воздействия. В другом же случае налицо событие неосознаваемой природы, произведение создается без всякого участия человеческого сознания, подчас и вопреки ему, можно сказать, по собственной воле, приобретая форму и силу воздействия. В первом случае надо ожидать, что само творение никогда не переступит границы осознанного понимания, что оно в известной мере останется в рамках авторского замысла и никоим образом не сможет сказать больше, чем было заложено в него автором. Во втором случае можно говорить о чем-то надличностном, выходящем за пределы осознанного понимания в той мере, в какой сознание автора отчуждено от процесса развития произведения. Здесь следует ожидать странных и необычных образов и форм, мыслей, постичь которые возможно лишь интуитивно, посредством многозначного языка, обороты которого обретают значения истинных символов, ибо они, насколько это вообще осуществимо, выражают неведомое и являются мостами к невидимому берегу.

Эти критерии выглядят в целом обоснованными. В тех случаях, когда речь идет о признанно целенаправленном произведении на тему произвольно и осознанно выбранного материала, должны иметь силу названные выше свойства, как и в последнем случае. Сказанное можно проиллюстрировать уже упомянутыми удачными

примерами драм Шиллера, с одной стороны, и второй части «Фауста» или, еще лучше, «Заратустры», с другой стороны. Правда, я не стал бы браться за непосредственное соотнесение какого-либо неизвестного мне поэта с той или иной категорией, не исследовав предварительно и основательно свойства и отношения его личности. Здесь мало знать, принадлежит ли поэт к интровертам или экстравертам, ибо люди обоих типов способны проявлять как экстравертные, так и интровертные установки. У Шиллера мы наблюдаем это на примере различия его поэтических и философских произведений, у Гете — в различии между совершенными по форме стихотворениями и душевной борьбой при оформлении содержания второй части «Фауста», а у Ницше — в различии между афоризмами и неразрывным потоком «Заратустры». Один и тот же поэт может выражать разные установки в отношении своих произведений, и нам следовало бы решать, какой мерой мерить эти произведения, в зависимости от соответствующего отношения.

Нетрудно понять, что этот вопрос бесконечно сложен. И он становится еще сложнее, если мы включаем в круг нашего рассмотрения приведенные выше рассуждения о случае поэта, тождественного творчеству. Если принять, что осознанный и целенаправленный способ сочинения, при всей его осознанности и целенаправленности, является лишь субъективной иллюзией, то поэтическое произведение должно обладать символическими, проникающими в царство неопределенности и выступающими за пределы современного сознания свойствами. Они могут быть надежно спрятаны, ибо и читатель не переступает определенные духом времени границы сознания автора, так как сам существует и живет в границах современного сознания и не способен найти точку Архимеда за пределами своего мира, не может перевернуть современное сознание — иными

словами, распознать в произведении символ такого рода. Однако символ должен быть назван: это возможность и намек на существование некоего более широкого и высокого смысла по ту сторону от наших нынешних способностей к пониманию.

Вопрос этот, как уже было сказано, весьма деликатный. Я, собственно, поднимаю его просто для того, чтобы за счет типизации возможных смысловых вариантов художественного произведения не строить тесных шаблонов, когда текст, по всей видимости, сообщает ровно то, что он со всей очевидностью говорит. Все мы часто становимся свидетелями того, как вдруг заново открывают того или иного поэта. Это происходит тогда, когда развитие нашего сознания достигает более высокой ступени; стоя на ней, мы мы вдруг улавливаем в давно знакомых строках нечто новое. Это нечто уже содержалось в произведениях поэта, но таилось от нас, и скрытый символ мы осознали только после обновления духа времени. Потребовался свежий взгляд, ибо прежний усматривал в произведениях лишь то, что привык видеть. Эти опыты должны настраивать нас на известную осторожность, поскольку они подтверждают правоту ранее высказанного взгляда. Общепризнанно, что символическое произведение не нуждается в таких тонкостях, оно обращается к нам своим полным интуитивных прозрений языком: я намерен сказать больше, чем фактически говорю; я имею в виду нечто большее, чем я сам. Здесь мы можем ощутить присутствие символа, даже если нам не удается удовлетворительно его разгадать. Этот символ становится постоянной темой наших размышлений и чувств. Сюда примешивается и тот факт, что символическое произведение возбуждает сильнее, так сказать, глубоко вгрызается в нас и потому редко доставляет нам чисто эстетическое удовольствие, в то время как очевидно несимволическое произведение намного больше говорит эстетическому

восприятию, потому что позволяет гармонично взглянуть на совершенство.

Можно с полным правом спросить, что же такого сделала аналитическая психология для решения главной проблемы художественного творчества, для разгадки тайны творчества? Все, о чем мы до сих пор говорили, не относится к области психической феноменологии. Так как она не проникнет «в святая святых природы, созидающей дух», не стоит ожидать невозможного от нашей психологии, не нужно думать, что она даст удовлетворительное объяснение великой тайны жизни, которую мы непосредственно ощущаем в творчестве. Подобно любой науке, психология вносит крайне скромный вклад в лучшее и более глубокое понимание жизненных явлений, она так же далека от абсолютного знания, как и другие ее сестры.

Мы столько рассуждали о *смысле и значении произведений искусства*, что едва ли теперь удастся подавить принципиальное сомнение в том, что искусство на самом деле что-то «означает». Может быть, искусство вообще ничего не «означает» и не имеет никакого «смысла» в том значении, в каком здесь понимается это слово. Может быть, творчество подобно природе, которая просто «есть», а не «означает». Является ли «значение» по необходимости чем-то большим, нежели просто *истолкованием*, которому надо придать ореол таинственности в соответствии с потребностью рассудка, жаждущего смысла? Можно сказать, что искусство — это красота, этим оно исполняется и является достаточным само по себе. Оно не нуждается в смысле. Вопрос о смысле не имеет никакого отношения к искусству. Если я ставлю себя в область искусства, то должен подчиниться правде этого положения. Но, обсуждая отношение психологии к художественному произведению, мы тем самым выходим за пределы искусства, и тогда нам не остается иного выхода: мы должны рассуждать

и толковать, чтобы явления обрели значение, ибо в противном случае мы вообще не сможем помыслить об этом предмете. Мы должны раскрыть жизнь, что развертывается и исполняется в самой себе, раскрыть наряду с ее событиями в образах, смыслах и понятиях, сознательно при этом отстраняясь от живого таинства. Пребывая во власти творчества, мы не видим и не познаем ничего, да и не можем познавать, ибо нет ничего более вредоносного и опасного для непосредственного переживания, чем познание. Для познания мы должны выйти за пределы творческого процесса и рассматривать его извне, только тогда возникнет картина, значение которой может быть высказано. Только тогда мы можем, даже должны, говорить о смысле. Только таким путем сугубая умопостигаемость превращается в нечто, обозначающееся в связи с другими феноменами, в то, что играет определенную роль, служит известной цели и оказывает осмысленное воздействие. Если мы сможем все это увидеть, у нас появится ощущение, что мы что-то поняли и объяснили. Так и надо понимать потребности науки.

С таким же основанием, с каким мы прежде говорили о произведении искусства как о дереве, растущем на питательной почве, можно прибегнуть к сравнению с ребенком в материнском чреве. Но, поскольку все сравнения хромают, лучше использовать вместо метафор точную научную терминологию. Напомню, что выше я определил находящееся в стадии рождения произведение как автономный комплекс. Этим понятием обозначают все психические образования, которые вначале развиваются совершенно бессознательно и только с того момента, когда достигают порога сознания, в него прорываются. Связь с сознанием, в которую они вступают, не носит характера ассимиляции; скорее, это восприятие (перцепция): мы утверждаем, что автономный комплекс воспринимается (ощущается), он не

поддается сознательному управлению — ни подавлению, ни произвольному воспроизведению. Автономность такого комплекса проявляется именно в том, что он тогда и в том виде появляется или исчезает, когда для этого имеют место соответствующие условия, независимо от произвола сознания. Эту характерную особенность творческий комплекс разделяет со всеми другими автономными комплексами. Именно здесь возможно провести аналогию с болезненными душевными процессами, ибо эти последние суть развитие автономных комплексов, в первую очередь при психических расстройствах. Божественное безумие художника имеет пугающе реальное сходство с заболеванием, но не тождественно ему. Аналогия опирается на присутствие автономного комплекса. Сам факт такого присутствия не указывает на патологию, ибо и здоровые люди порой, иногда продолжительное время, находятся под влиянием автономных комплексов. Этот факт относится к нормальным свойствам психики, причем в значительной мере он касается бессознательного, ибо существование автономного комплекса осознается отнюдь не всегда. Так, например, каждая дифференцированная в той или иной степени типичная установка склонна превращаться в автономный комплекс, а в большинстве случаев комплекс становится установкой. Также и каждое влечение, в большей или меньшей мере, обладает свойствами автономного комплекса. Следовательно, сам по себе автономный комплекс не является заболеванием, и лишь частое и разрушительное его появление свидетельствует о страдании и болезни.

Как же возникает автономный комплекс? По какой-либо причине — подробное исследование таких причин завело бы нас сейчас слишком далеко — активируется некий, до того неосознаваемый участок психики; оживляясь, он расширяется за счет вовлечения

родственных ассоциаций. Энергия, которая при этом используется, заимствуется, естественно, у сознания, если последнее не предпочитает отождествлять себя с комплексом. Если этого не происходит, то возникает то, что Жане называет «ослаблением сознательности» (*abaissement du niveau mental*)[1]. Насыщенность осознанного интереса и деятельности постепенно исчезает, в результате чего возникает либо апатичная бездеятельность — очень частое состояние творческих личностей, — либо регрессивное развитие осознаваемых функций; собственно, в этом и состоит понижение — в возврате к инфантильным, архаичным ступеням развития, когда наблюдается нечто вроде вырождения. *Parties inférieures des fonctions*[2] выступают на первый план: влечения против морали, наивно-инфантильное против рассудочного, зрелого, неспособность к адаптации против приспособляемости. Такие примеры мы встречаем в жизни многих художников. В итоге из энергии, отнятой у сознания, руководящего личностью, формируется автономный комплекс.

Но откуда берется автономный творческий комплекс? Это невозможно узнать до тех пор, пока законченное произведение не откроет нашему взгляду свои основы. Произведение предлагает нам разработанный *образ* в самом широком смысле этого слова. Этот образ доступен анализу в той степени, в какой мы распознаем его как *символ*. Если мы не можем раскрыть в нем символическое значение, то тем самым констатируем, что для нас этот образ означает не больше того, что он явно выражает, или, иными словами, что он есть то, чем он

---

[1] Французский психиатр П. Жане, создатель общей теории неврозов, считал, что в человеческой психике имеются как «низшие» (рудименты примитивного, инстинктивного сознания), так и высшие элементы (собственно сознание современного человека, прежде всего индивидуальное). — *Примеч. ред.*

[2] Низшие части функций (*фр.*).

кажется. Я говорю «кажется», ибо наша пристрастность, возможно, не позволяет делать более глубокие догадки. Как бы то ни было, в этом последнем случае мы не находим ни повода, ни исходной точки для анализа. Для первого случая мы можем напомнить себе слова Герхарда Гауптмана[1]: «Поэзией называют умение заставить звучать глубинные слова за словами обыденными». В переводе на психологический язык наш первый вопрос должен звучать так: «На какой первозданный образ коллективного бессознательного можно спроецировать образ, созданный и явленный в произведении?»

Этот вопрос во многих отношениях требует разъяснения. Я упомянул выше случай символического произведения искусства, причем такой, что его источник следует искать не в *личном бессознательном автора*, а в той области бессознательной мифологии, исконные образы которой являются общим достоянием человечества. Поэтому я обозначил эту область термином *коллективное бессознательное* и тем самым провел различение с личным бессознательным; я обозначаю его как совокупность тех психических процессов и содержаний, которые сами по себе могут быть объектами сознания, каковыми они часто бывали, но вследствие своей несовместимости с реальностью были вытеснены и искусственно удерживаются ниже порога сознания. Также эта область порождает источники искусства, но они мутны и, начиная преобладать, делают произведение искусства не символическим, а, скорее, *симптоматическим*. Такой вид искусства мы можем, вероятно, без всякого вреда и угрызений совести оставить фрейдистскому методу катарсиса.

В противоположность личному бессознательному, которое в известной мере занимает относительно по-

[1] Немецкий драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1912). — *Примеч. ред.*

верхностный слой сразу за порогом сознания, коллективное бессознательное в норме не способно проявляться в сознании, не может быть привнесено в сознание любыми аналитическими техниками, ибо оно не было ни вытеснено, ни забыто. Само по себе и для себя коллективное бессознательное вообще не существует, оно является не чем иным, как возможностью, именно той возможностью, которая с незапамятных времен наследуется нами в определенной форме памяти или, выражаясь анатомическим языком, в форме мозговой структуры. Не существует врожденных представлений, но существуют врожденные возможности представлений, которые устанавливают определенные границы самых смелых фантазий, так сказать, категории деятельности по порождению фантазий, в известной мере априорных идей, существование коих невозможно без опыта. *Они проявляются только в оформленном материале как регуляторные принципы его оформления*, то есть только за счет выводов, сделанных на основе законченного произведения, можно реконструировать исходный оригинал первобытного образа.

Первобытный образ, или архетип, — это фигура, будь то демон, человек или процесс, которая повторяется по ходу истории там, где дается простор творческой фантазии. В первую очередь это мифологическая культура. Если мы тщательно исследуем эту фигуру, то обнаружим, что она является во многом оформленным результатом бесчисленных типических опытов длинного ряда предков. Опять-таки, это психические остатки бесчисленных переживаний одного и того же типа. Они усредняют и описывают миллионы индивидуальных переживаний и создают образ психической жизни, разделяемый и проецируемый на многочисленные образы мифологического пандемониума. Но и мифологические образы как таковые суть порождения творческой фантазии, они ждут своего перевода на понятийный

язык, однако этот перевод пока выполняется в муках. Только понятия, которые еще предстоит ввести, могут помочь нам опосредовать и сделать доступным абстрактное, научное познание бессознательных процессов, каковые суть корни возникновения первобытных образов. В каждом таком образе содержится мельчайший фрагмент человеческой психологии и человеческой судьбы, фрагмент страдания и радости, которые бесчисленное множество раз проявлялись в череде поколений, причем всегда эти переживания принимали одно и то же течение, одну и ту же форму. Это можно сравнить с расположенным глубоко в душе руслом потока, где жизнь, которая до этого как бы ощупью, широко, но мелко катилась по поверхности, внезапно превращается в бурный поток, когда достигает того особого стечения обстоятельств, каковое с незапамятных времен приводило к возникновению определенного прообраза.

Миг, когда проявляется мифологическая ситуация, всегда знаменуется особым эмоциональным напряжением; как будто в нас начинают вибрировать никогда прежде не звучавшие струны или высвобождаются силы, о которых мы никогда не догадывались. Процесс приспособления мучителен, ибо нам постоянно приходится справляться с индивидуальными, то есть атипичными, условиями. Нет, однако, никакого чуда в том, что мы в тех случаях, когда попадаем в типичную ситуацию, внезапно либо ощущаем чувство небывалого освобождения, которое подхватывает нас волной, либо чувствуем, как нас увлекает куда-то неодолимая сила. В такие мгновения мы перестаем быть отдельными индивидуумами, превращаемся в род, внутри вас возвышается голос всего человечества. Отсюда следует, что когда индивидуум лишь отчасти способен в полной мере пользоваться своими силами, ему на помощь приходят коллективные представления, каковые име-

нуются идеалами и каковые высвобождают все те инстинктивные силы, доступ к которым не в состоянии получить никакая заурядная осознанная воля. Самые действенные из идеалов всегда представляют собой более или менее прозрачные варианты архетипа, распознать которые достаточно просто, ибо такие идеалы нетрудно соотнести с аллегориями: например, родину можно воображать как мать, причем, разумеется, аллегория ни в коей мере не обладает мотивирующей силой, проистекающей из символического значения идеи родины. Архетип выступает формой «мистической сопричастности»[1] некоему первобытному началу той почвы, на которой он обитает, — почвы, пропитанной духом предков. Горе чужакам!

Каждая связь с архетипом, переживается ли она или только упоминается, «трогает» за живое, то есть действует; ибо она слышит или исторгает голоса, каковые мы воспринимаем как наши собственные. Тот, кто изъясняется прообразами, будто говорит тысячами голосов, захватывает и овладевает, при этом возвышает то, о чем говорит, делает из сиюминутного и преходящего нечто вечно сущее, возносит личную участь до судеб человечества и тем самым высвобождает в нас все те полезные силы, какие всегда и везде помогали человеку спасаться от бедствий и переживать самую долгую ночь.

Такова тайна воздействия искусства. Процесс творчества, насколько мы вообще в состоянии его проследить, состоит в неосознанном оживлении архетипа, в его разработке и представлении в виде законченного произведения. Представление в определенной форме первозданного образа есть, в известной мере, перевод на современный язык, за счет чего оно дает каждому возможность доступа к глубочайшим источникам жиз-

---

[1] Термин французского этнолога Л. Леви-Брюля. — *Примеч. ред.*

ни, которые иначе остались бы недоступными. Здесь заключается социальная значимость искусства: оно всегда трудится над воспитанием духа времени, выводит на поверхность те образы, которых в наибольшей степени недостает духу времени. Из неудовлетворенности современностью возникает томление художника, которое разрешается только достигнув прообраза бессознательного, каковой в наибольшей степени способен восполнить недостаточность и односторонность духа времени. Этот образ охватывает недостающее, позволяет извлечь его из сокровенных глубин бессознательного и приблизить к сознанию в доступной современному человеку форме в меру способности последнего к пониманию. Вид художественного произведения позволяет нам делать заключения о характере эпохи, в которой оно возникло. Что означают реализм и натурализм для своих эпох? Что такое романтизм? Эллинизм? В искусстве существуют направления, которые выносят на поверхность то, что в наибольшей степени требуется современной духовной атмосфере. Художников считают воспитателями эпох — об этом можно было бы много говорить и сегодня.

Подобно отдельным людям, народы и времена имеют свои оригинальные духовные направления или представления (установки). Уже само слово *установка*, в смысле единственной точки зрения, отражает необходимую односторонность, каковая задается определенным направлением. Где есть направление, есть и исключение. Исключение же означает, что многим психическим явлениям, которые могли бы переживаться, не позволено проявляться, так как они не соответствуют общей установке. Заурядный человек может без вреда для себя переносить общую направленность; человек, склонный к блужданию по извилистым тропинкам и обходным путям, который, в отличие от заурядного, не способен идти по широкой столбовой дороге, как

и должно быть, раньше других открывает то, что находится в стороне от большой дороги, — и ждет, когда к нему присоединятся другие. Относительная неспособность художника к приспособлению является истинным преимуществом; она позволяет оставаться в стороне от главной дороги, следовать своему томлению и обнаруживать то, чего лишены прочие, пусть они этого и не осознают. В отдельном индивидууме односторонность сознательной установки может быть подправлена бессознательными реакциями на пути саморегуляции, а искусство представляет собой процесс саморегуляции в жизни народов и времен.

Я вполне отдаю себе отчет в том, что в рамках короткого доклада возможно изложить лишь общий взгляд, и то в сжатом виде. Но я все же смею надеяться, что все, о чем не было сказано, все, что существует пока лишь в моей голове, а именно подробное рассмотрение этих идей применительно к конкретным поэтическим произведениям, когда-нибудь обретет плоть и кровь.

Фрейд и Юнг: различия во взглядах[1]

О различиях между взглядами Фрейда и моими собственными лучше всего сможет судить тот, кто находится вне орбиты тех идей, которые ассоциируются с нашими именами. Смогу ли я быть достаточно беспристрастным, чтобы подняться над собственными воззрениями? Под силу ли это вообще кому-нибудь? Сомневаюсь. Если бы мне сказали, что некто обскакал барона Мюнхгаузена и действительно совершил подобный подвиг, я бы ни на мгновение не усомнился в том, что его идеи заимствованы.

Впрочем, общепринятые идеи никогда не являются личной собственностью автора; напротив, он сам становится их рабом. Впечатляющие идеи, которые полагают истинными, содержат в себе нечто особенное. Хотя они возникают в определенный момент, они существуют и всегда существовали вне времени; они проистекают из той сферы созидательной психической жизни, из которой эфемерный разум отдельного человека вырастает подобно растению. Это растение цветет, приносит плоды и семена, а затем увядает и умирает. Идеи обязаны своим возникновением отнюдь не

---

[1] Впервые очерк опубликован под названием «Der Gegensatz Freud und Jung» («Противоречия Фрейда и Юнга» в газете *Kolnische Zeitung* (Кельн) 7 мая 1929 года (стр. 4); позже включен в сборник «Seelenprobleme der Gegenwart» (Цюрих, 1931).

отдельному человеку; их порождает нечто несравнимо большее. Человек не создает идеи; скорее, это идеи создают человека.

Всякая идея несет в себе неизбежное признание, ибо обнаруживает не только наши достоинства, но и наши худшие слабости и личные недостатки. Особенно это касается представлений о психологии. Откуда же им взяться, как не из нашего субъективизма? Могут ли наши переживания объективного мира спасти нас от субъективной предвзятости? Разве каждое переживание, даже при самых благоприятных обстоятельствах, не является по меньшей мере на пятьдесят процентов субъективной интерпретацией? С другой стороны, любой субъект есть объективный факт, частица мира; то, что исходит от него, исходит в конечном счете от самого мира; точно так же любой организм — даже самый редкий и странный — носит и питает общая для всех земля. Именно наиболее субъективные идеи, будучи ближе всего к природе и нашей собственной сущности, заслуживают того, чтобы считаться самыми истинными. Но «что есть истина»?

В психологии, я полагаю, лучше всего отказаться от мысли, что сегодня мы в состоянии утверждать что-либо «истинное» или «правильное» о природе психического. Самое большее, на что мы способны, — это правдивое выражение. Под ним я подразумеваю открытое признание и подробное изложение всего того, что мы наблюдаем субъективно. Один будет подчеркивать *формы*, в которые он может втиснуть свой материал, и потому полагать себя творцом обнаруженного внутри себя. Другой будет придавать наибольший вес тому, *что* он видит, и говорить об этом как о феномене, сознавая собственную рецептивную установку. Истина, вероятно, лежит где-то посередине: правдивое выражение состоит в придании определенной формы наблюдаемым явлениям.

Современный психолог, каким бы честолюбивым он ни был, вряд ли может надеяться достичь чего-то большего. Наша психология — это более или менее удачно сформулированная исповедь нескольких индивидов, а поскольку каждый из них более или менее соответствует определенному типу, его признание можно считать вполне достоверным описанием множества других людей. Поскольку те, кто относится к другим типам, тоже принадлежат к человеческому роду, можно заключить, что это описание применимо и к ним, хотя и в меньшей степени. То, что Фрейд говорит о сексуальности, инфантильном удовольствии и их конфликте с «принципом реальности», об инцесте и тому подобном, служит самым точным выражением его личной психологии. Это удачная формулировка его субъективных наблюдений. Я не противник Фрейда; я лишь кажусь таковым в силу его собственной близорукости и близорукости его учеников. Ни один опытный психиатр не станет отрицать, что он лечил десятки пациентов, чья психология отвечает психологии Фрейда во всех ключевых аспектах. По его собственному субъективному признанию, Фрейд способствовал рождению великой истины о человеке. Он посвятил свою жизнь и силы построению психологии, которая представляет собой не что иное, как формулировку его собственного естества.

Каков человек, таково и его ви́дение. Поскольку у разных людей разная психология, им свойственно разное ви́дение и разные способы самовыражения. Наглядный тому пример — Адлер, один из самых первых учеников Фрейда. Работая с тем же эмпирическим материалом, что и Фрейд, он подошел к нему с совершенно иной точки зрения. Его взгляды, по меньшей мере, так же убедительны, как и взгляды Фрейда: подобно Фрейду, Адлер олицетворяет достаточно распространенный тип психологии. Последователи обеих школ

убеждены, что я ошибаюсь, однако меня не покидает надежда, что история и все беспристрастно мыслящие люди подтвердят мою правоту. Обе школы, по моему мнению, следует упрекнуть в чрезмерном акцентировании патологического аспекта жизни и интерпретации человека исключительно в свете его недостатков. В качестве убедительного примера можно привести неспособность Фрейда понять религиозное переживание, о чем ясно свидетельствует его книга «Будущее одной иллюзии».

Со своей стороны, я предпочитаю смотреть на человека в свете того, что в нем есть здорового и здравого, и вижу свою первоочередную задачу в том, чтобы освободить больного от той самой психологии, которая пропитывает каждую страницу, написанную Фрейдом. Я не представляю, как Фрейд может выйти за рамки своей собственной психологии и избавить пациента от страданий, от которых страдает сам. Его психология — это психология невротических состояний разума, определенно однобокая и этими состояниями ограниченная. В их пределах она истинна и достоверна, причем даже тогда, когда заблуждается, ибо всякое заблуждение содержит важный элемент общей картины и несет в себе истину откровения. Но это не психология здорового разума; она основана — и это один из симптомов ее морбидности — на некритическом, даже бессознательном ви́дении мира, склонного сужать горизонт опыта и ограничивать обзор. Со стороны Фрейда было большой ошибкой отвернуться от философии. Он ни разу не подвергает критике ни свои предположения, ни даже личные психические предпосылки. И напрасно, как можно заключить из того, что я сказал выше; если бы Фрейд критически анализировал свои базовые принципы, он никогда бы не смог так наивно выставить на всеобщее обозрение свою своеобразную психологию, как это было сделано в «Толковании сновиде-

ний». Во всяком случае, он бы получил некоторое представление о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться мне. Я никогда не отказывался от горько-сладкого напитка философской критики, но принимал его с осторожностью, понемногу. Слишком мало, скажут мои оппоненты; даже слишком много, подсказывает мое собственное чувство. Самокритика отравляет наивность, то бесценное достояние или, вернее, дар, без которого не может обойтись ни один творческий человек. Как бы там ни было, философская критика помогла мне увидеть, что всякая психология, включая мою собственную, носит характер субъективного признания. И все же я не должен допускать, чтобы мои критические способности подрывали мои творческие силы. Я осознаю, что каждое произнесенное мной слово несет в себе частицу меня самого — моей особой и уникальной самости с ее специфической историей и ее собственным специфическим миром. Даже когда я оперирую эмпирическими данными, я обязательно говорю о себе. Только приняв это как неизбежность, я могу служить цели познания человека человеком — цели, которой, несмотря ни на что, служил и Фрейд. Знание зиждется не только на истине, но и на заблуждении.

Возможно, именно в вопросе о признании субъективной окрашенности всякой психологии, созданной одним человеком, расхождения между Фрейдом и мной проступают особенно явственно.

Еще одно различие, как мне кажется, состоит в том, что я стараюсь освободиться от всех бессознательных и потому некритических предположений о мире в общем. Я говорю «стараюсь», ибо кто может быть уверен, что он в самом деле избавился от всех своих бессознательных допущений? По крайней мере я стараюсь воздерживаться от самых грубых предубеждений, а потому склонен признавать всевозможных богов, если только они действуют в человеческой психике. Я не сомнева-

юсь, что естественные инстинкты или влечения являются мощными движущими силами в нашей психической жизни вне зависимости от того, как мы их называем: сексуальностью или волей к власти. Однако я также не сомневаюсь и в том, что эти инстинкты вступают в столкновение с духом, ибо они постоянно сталкиваются с чем-то, и почему это что-то не может называться «духом»? Я далек от понимания того, что такое дух, и столь же далек от понимания того, что такое инстинкты. Первое для меня так же загадочно, как и второе, и я не могу объяснить одно как неверное истолкование другого. В природе не бывает двусмысленностей: разве можно ошибочно истолковать тот факт, что у Земли есть только один спутник — Луна? Ложные представления существуют только в сфере того, что мы называем «пониманием». Разумеется, инстинкт и дух выше моего понимания. Это термины, которыми мы обозначаем могущественные силы, природу которых человек не знает.

Посему я отношусь ко всем религиям позитивно. В их символике я узнаю те фигуры, с которыми сталкиваюсь в сновидениях и фантазиях своих пациентов. В их нравственных учениях я вижу попытки, подобные тем, которые предпринимают мои больные, когда, руководствуясь собственным интуитивным пониманием или вдохновением, ищут правильный способ совладания с силами психической жизни. Ритуалы, обряды посвящения и аскетические практики во всех своих формах и вариациях вызывают у меня живой интерес, равно как и многочисленные техники установления надлежащей связи с этими силами. Не менее позитивно я отношусь к биологии и эмпиризму естествознания вообще. Если религиозный гнозис есть грандиозная попытка человеческого разума извлечь знание о космосе изнутри, то естествознание есть геркулесова попытка понять психику, приблизившись к ней извне. Моя кар-

тина мира разделена на обширное внешнее царство и столь же обширное внутреннее царство; между двумя этими царствами стоит человек. Он обращается то к одному, то к другому и, в зависимости от темперамента и характера, принимает одно за абсолютную истину, а другое отрицает или приносит в жертву.

Несмотря на всю гипотетичность данной картины, из нее вытекает гипотеза, которая настолько ценна, что я не откажусь от нее. Я считаю ее эвристически и эмпирически обоснованной; более того, она подтверждается общим согласием (*consensus gentium*). Эта гипотеза, несомненно, пришла ко мне из внутреннего источника, хотя я мог бы вообразить, что к ее открытию привели эмпирические данные. Именно она легла в основу моей теории типов, а также побудила меня примириться со взглядами, столь же отличными от моих собственных, как и взгляды Фрейда.

Во всем происходящем я усматриваю игру противоположностей и основываю на этой концепции свое представление о психической энергии. Я полагаю, что психическая энергия включает в себя игру противоположностей почти так же, как физическая энергия включает в себя разность потенциалов, то есть существование таких противоположностей, как тепло и холод, высокое и низкое и т.д. Первоначально Фрейд рассматривал сексуальность как единственную психическую движущую силу и только после моего разрыва с ним принял во внимание другие факторы. Со своей стороны, я объединил различные психические влечения или силы — выделенные более или менее спонтанно (*ad hoc*) — в общее понятие энергии, дабы исключить почти неизбежную произвольность, свойственную всякой психологии, которая построена исключительно на стремлении к власти. По этой причине я говорю не об отдельных влечениях или силах, а о «системе ценно-

стей»[1]. Этим я не пытаюсь отрицать важность сексуальности в психической жизни, хотя Фрейд упрямо утверждает, что это так. Прежде всего, я стремлюсь ограничить терминологию секса, которая пропитывает все обсуждения человеческой психики, и вернуть сексуальность на надлежащее ей место.

Здравый смысл всегда будет возвращаться к тому факту, что сексуальность является лишь одним из биологических инстинктов, лишь одной из психофизиологических функций, хотя, без сомнения, и очень важной. Но что происходит, когда мы больше не можем утолить свой голод? Совершенно очевидно, что сегодня в психической сфере секса наблюдаются заметные возмущения. Равным образом, когда у нас болит зуб, вся психика, кажется, состоит из одной только зубной боли. Тип сексуальности, описанный Фрейдом, — это та безошибочно узнаваемая сексуальная одержимость, которая проявляется всякий раз, когда пациент достигает точки, где его нужно либо силой, либо хитростью избавить от ошибочной установки или вызволить из неподходящей ситуации. Это та чрезмерно подчеркнутая сексуальность, которая накапливается перед запрудой, но мгновенно принимает нормальные пропорции, как только открывается путь к развитию. Как правило, к запруживанию жизненной энергии ведет зацикливание на старых обидах по отношению к родителям и родственникам, а также на утомительных эмоциональных перипетиях «семейного романа». Подобный застой неизменно проявляется в форме так называемой инфантильной сексуальности. Это не собственно сексуальность, а неестественная разрядка напряжений, которые в действительности принадлежат совсем другой

[1] Ср.: «О психической энергии», абз. 14 и далее. — *Примеч. авт*. См.: Gesammelte werke, band 8. — *Примеч. ред. оригинального издания*.

стороне жизни. Если так, какой смысл плавать по этой затопленной стране? Конечно, прямолинейный разум согласится с тем, что гораздо важнее открыть спускные каналы, то есть найти новую установку или образ жизни, которые обеспечат подходящий градиент для сдерживаемой энергии. В противном случае возникает замкнутый круг. Именно к нему ведет фрейдистская психология. Она не указывает никакого пути, позволяющего выйти за пределы неумолимого цикла биологических событий. В отчаянии мы можем воскликнуть вместе со святым Павлом: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» Духовный человек в нас выступает вперед и, качая головой, отвечает словами Фауста: «Тебе знакомо лишь одно стремленье», — а именно плотская связь, ведущая назад к отцу и матери или вперед к детям, которые произошли от нашей плоти — «инцест» с прошлым и «инцест» с будущим, первородный грех увековечения «семейного романа». Ничто не может освободить нас от этой связи, кроме противоположного стремления жизни — духа. Не детям плоти, но «детям Бога» дано познать истинную свободу. В трагедии Эрнста Барлаха «Мертвый день» Кулобарб говорит в конце: «Странно только, что человек не хочет понять, что его отец — Бог». Этого не хочет понимать ни Фрейд, ни все те, кто разделяет его взгляды. По крайней мере, они не находят ключ к этому знанию. Теология не помогает тем, кто ищет ключ, ибо теология требует веры, а вера не может возникнуть по желанию: это воистину дар благодати. Перед современным человеком стоит задача заново открыть жизнь духа. Другого способа разрушить чары, привязывающие нас к циклу биологических событий, не существует.

Моя позиция по этому вопросу — третья точка расхождения между моими взглядами и взглядами Фрейда. Из-за нее меня часто обвиняют в мистицизме. Я, однако, не считаю себя ответственным за тот факт, что че-

ловек всегда и везде спонтанно развивал религиозную функцию и что человеческая психика с незапамятных времен пронизана религиозными чувствами и идеями. Тот, кто не способен увидеть этот аспект человеческой психики, слеп; тот же, кто тщится дать ему поверхностное или «просвещенное» объяснение, лишен всякого чувства реальности. Или, может, мы должны усматривать в отцовском комплексе, проявляющемся у всех представителей фрейдистской школы, включая ее основателя, свидетельство знаменательного избавления от фатальности семейной ситуации? Комплекс отца, отстаиваемый с таким упрямством и чрезмерной чувствительностью, представляет собой неверно понятую религиозную функцию, тот же мистицизм, выраженный сквозь призму биологических и семейных отношений. Что же касается фрейдовской концепции «супер-эго» (Сверх-Я), то в ней я вижу попытку тайком протащить освященный веками образ Иеговы в психологическую теорию. Со своей стороны, я предпочитаю называть вещи теми именами, под которыми они были известны всегда.

Нельзя пытаться повернуть колесо истории вспять, как нельзя отрицать движение человека к духовной жизни, начавшееся с первобытных обрядов посвящения. Для науки допустимо разделять области своих исследований и оперировать ограниченными гипотезами, ибо только так она и должна функционировать; но человеческая психика не может быть фрагментирована подобным образом. Это единое целое, которое охватывает сознание и является его матерью. Научное мышление, будучи лишь одной из функций психики, никогда не сможет исчерпать всех ее возможностей. Психотерапевт не должен позволять патологии искажать его ви́дение; не следует забывать, что больной разум — это человеческий разум и что, несмотря на свой недуг, он бессознательно разделяет всю психическую

жизнь, свойственную человеку. Необходимо признать, что эго больнó именно потому, что отрезано от целого и утратило свою связь не только с человечеством, но и с духом. Эго воистину есть «средоточие страха», как пишет Фрейд в «Я и Оно», но только до тех пор, пока оно не вернется к своим «отцу» и «матери». Фрейд спотыкается о вопрос Никодима: «Как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» (Иоанн, 3:4). История повторяется, ибо — если сравнивать малое с великим — этот вопрос вновь возникает сегодня в виде внутренних распрей, раздирающих современную психологию.

На протяжении тысячелетий обряды посвящения учили возрождению от духа, и все же, как ни странно, человек снова и снова забывает о смысле божественной прокреации. Хотя подобная забывчивость может быть плохим свидетельством силы духа, наказание за непонимание — невротическое разложение, озлобленность, атрофия и стерильность. Легко изгнать духа за дверь, но тогда пища теряет свой вкус — соль земли. К счастью, убедительное доказательство того, что дух всегда восстанавливает свою силу, кроется в том, что учение о посвящениях передается из поколения в поколение. Снова и снова находятся люди, которые понимают, что значит «Бог есть отец наш». Равновесие плоти и духа не утрачено миром навсегда.

Расхождения между Фрейдом и мной восходят к принципиальным различиям в наших базовых допущениях. Допущения неизбежны, а потому глупо притворяться, будто их нет у нас. Вот почему я предпочел осветить здесь фундаментальные вопросы; на их основе легче понять многочисленные различия между взглядами Фрейда и моими собственными.

Цели психотерапии

В настоящее время существует единство в убеждении, согласно которому неврозы являются функциональными психическими нарушениями, и, следовательно, лечить их надлежит психическими же воздействиями. Если, однако, речь заходит о структуре неврозов и принципах их терапии, то здесь от единства не остается и следа, и мы должны признать, что до сего дня не существует полностью удовлетворительного понимания ни сущности неврозов, ни принципов их терапии. Особенно известны в этом отношении два течения или школы, но этим отнюдь не исчерпывается число существующих, при этом весьма разнообразных мнений. Среди нас достаточно, так сказать, беспартийных, которые в гуще сталкивающихся противоречивых мнений отстаивают свое понимание проблемы. Захоти мы набросать всеобъемлющую картину этого разнообразия, нам пришлось бы собрать для этого на нашей палитре всю радугу со всеми ее цветовыми градациями. Будь это в моей власти, мне доставило бы большое удовольствие создать такое полотно, ибо обобщающее видение множества мнений всегда было моей основной потребностью. Эти мнения вообще не могли бы возникнуть и даже обрести стойких последователей, если бы они не соответствовали некой особой психологии, некоему

особому темпераменту, некоему — более или менее широко — признанному основополагающему психическому факту. Исключая и отбрасывая одно такое мнение как заведомо ошибочное и безнравственное и тем самым отвергнем и этот особый темперамент — или этот особый основополагающий факт — как досадное недоразумение, мы полностью перечеркиваем собственный эксперимент. Открытие, сделанное Фрейдом с его каузальной сексуальной теорией неврозов и его взглядом, согласно которому события психической жизни, по существу, вращаются вокруг детских влечений и их удовлетворения, должно научить психологов тому, что такой образ мышления и чувствования встречает достаточно широкое признание и расположение, то есть соответствует духовному течению, каковое, независимо от теории Фрейда, стало весьма заметным, как коллективно-психологическое явление, также и в других местах и в других умах, в иных обстоятельствах и формах. С одной стороны, я вспоминаю работы Хэвлока Эллиса и Огюста Фореля[1], а также составителей «Anthropophyteia»[2] («Антропофитии»), а кроме того, сексуальные эксперименты поствикторианской эпохи в англосаксонских странах, а также широкое обсуждение половых вопросов в так называемой изящной литературе, начатое французскими реалистами. Фрейд — один из провозвестников того факта современной душевной жизни, что обладает особой историей; этот факт мы по понятным причинам не будем рассматривать здесь подробно.

---

[1] Х. Эллис — английский врач, пионер сексологии. О. Форель — швейцарский невропатолог, психиатр, основатель первой в Швейцарии лечебницы для алкоголиков. — *Примеч. ред.*

[2] Leipzig 1904–1913. — *Примеч. ред. оригинального издания.* Сборник, посвященный исследованиям сексуального фольклора и этнологическим гендерным особенностям.

Одобрение, какого, подобно Фрейду, удостоился и Адлер[1] по ту и эту стороны Атлантики, указывает на тот непреложный факт, что основанное на неполноценности тщеславие, выступающее в качестве сути и обоснования объяснений, сделало их понятными и ясными великому множеству людей. Бесспорно, что этот взгляд охватывает и те состояния душевной жизни, с которыми фрейдистское понимание не в состоянии справиться. Мне нет нужды подробно распространяться о том, какие коллективно-психологические и социальные условия поддерживают воззрения Адлера и служат для них теоретическим основанием. Это и так достаточно очевидно.

С моей стороны было бы непростительной ошибкой не замечать правоту воззрений как Фрейда, так и Адлера, но столь же непростительно было бы принимать какое-либо из них за единственную непререкаемую истину. Оба взгляда соответствуют психической реальности. Но на практике имеют место случаи, когда по главным обстоятельствам их можно представить и объяснить наилучшим образом, пользуясь другой теорией.

Я не могу обвинить ни одного из этих авторов в фундаментальном заблуждении; наоборот, я всей душой стремлюсь применять обе гипотезы и в целом признаю их относительную справедливость. Мне никогда не пришло бы в голову размежеваться с Фрейдом, если бы я не столкнулся с фактами, вынудившими меня видоизменить теоретический подход. То же самое касается и моего отношения к воззрениям Адлера.

После сказанного выше мне едва ли стоит подчеркивать, что истинность моих собственных воззрений

---

[1] А. Адлер — австрийский психиатр, основоположник психотерапевтической системы индивидуальной психологии, противопоставлял «бессознательным влечениям» З. Фрейда представление о «жизненном стиле», т.е. о социальном факторе в жизни каждого человека. — *Примеч. ред.*

я воспринимаю столь же относительно; я ощущаю себя всего лишь представителем другого направления и могу повторить вслед за Кольриджем: «Я охотно верю, что во вселенной есть больше невидимых, чем видимых существ»[1].

Именно в прикладной психологии нам сегодня надлежит проявлять скромность и мириться с существованием очевидного разнообразия и множества мнений, ибо мы пока бесконечно далеки от основательного постижения самого благородного объекта научного исследования — человеческой души. Пока в нашем распоряжении есть только более или менее правдоподобные мнения, нигде до сих пор не перекрывающиеся.

Таким образом, если я сейчас решаюсь выступить перед уважаемым собранием, чтобы рассказать о некоторых моих воззрениях, то прошу не принимать это выступление за восхваление некой новой истины или за провозглашение истинного в последней инстанции Евангелия. На самом деле я могу говорить лишь о попытках осветить некоторые темные психические факты или преодолеть некоторые терапевтические трудности.

Как раз по этому пункту я и хочу высказаться, ибо здесь уже давно назрела насущная необходимость изменений, так как известно, что можно достаточно долго придерживаться ошибочной теории, но нельзя долго придерживаться неверных методов лечения. За свою более чем тридцатилетнюю психотерапевтическую практику я накопил обширную коллекцию неудач, которые поражают меня куда сильнее моих успе-

---

[1] Отрывок из латинского сочинения английского богослова Т. Бернета «Archaeologiae Philosophicae», предпосланный поэтом С. Т. Кольриджем в качестве эпиграфа поэме «Сказание о старом мореходе»; автор явно приводит цитату по памяти, добавляя упоминание о «церкви, в которой я единственный прихожанин» (в переводе цитируется оригинальный текст Кольриджа). — *Примеч. ред.*

хов. Успех в психотерапии может сопутствовать каждому, начиная с первобытных шаманов и современных знахарей. На успехах психотерапевт не учится ничему или почти ничему, ибо они укрепляют его в ошибочных воззрениях. Неудачи, наоборот, составляют бесценный опыт, ибо не только указывают путь к лучшей истине, но и заставляют нас менять понимание проблем и методы их решения.

Притом что я, насколько это возможно, признаю практическую пользу воззрений Фрейда и Адлера, так как использую любую возможность, какую предоставляют их теории, для лечения моих пациентов, мне все-таки приходится, с другой стороны, подчеркивать снова и снова, что я терпел неудачи, относительно которых у меня возникало чувство, что их удалось бы избежать, прими я вовремя во внимание те факты, которые впоследствии вынуждали меня менять теорию.

Практически невозможно описать здесь все условия, побудившие меня к этому. Мне придется удовлетвориться выделением нескольких типичных случаев. Главные трудности были связаны с пациентами зрелого возраста, то есть старше сорока лет. В работе с более молодыми людьми я, как правило, обходился уже известными точками зрения, ибо подход Фрейда, как и Адлера, заключается в адаптации пациента, а затем в нормализации его психического состояния. Обе точки зрения дают блестящие результаты в лечении молодых людей и, очевидно, не сопровождаются сохранением остаточных явлений. Согласно моему опыту, такое часто не работает в лечении людей старшего возраста. Мне вообще представляется, что можно говорить о психологии первой половины жизни и о психологии второй половины жизни как о разных феноменах. Как правило, жизнь молодого человека проходит под знаком экспансии, расширения и устремления к видимым целям, и его неврозы возникают, главным

образом, на почве задержки в продвижении к цели или на почве отклонения от пути к ней. Жизнь стареющего человека, наоборот, проходит под знаком сужения, утверждения уже достигнутого и характеризуется прекращением устремления вширь. Его неврозы обусловлены несвоевременной фиксацией на юношеских установках. Как молодой невротик страшится жизни, так старый пытается отпрянуть от надвигающейся смерти. То, что для молодого человека было нормальной целью, становится для старика причиной невротического торможения; именно так, как у молодого невротика нерешительность превращает исходно нормальную зависимость от родителей в противное жизни отношение инцеста. Вполне естественно, что у молодого человека невроз, сопротивление, вытеснение, перенос, фикция и т.д. имеют противоположное значение в сравнении со старыми пациентами, невзирая на все внешнее сходство. В соответствии с этими особенностями необходимо модифицировать цели психотерапии. Поэтому возраст пациента представляется весьма важным фактором.

Однако и для юношеской фазы жизни имеют значение различные факторы и показания. Так, на мой взгляд, врачебной ошибкой является попытка лечить пациента с адлеровским типом психики, например безнадежного неудачника с инфантильным тщеславием, с помощью методов Фрейда; так же, как было бы недоразумением навязывать лечение по методам Адлера успешному человеку с ярко выраженными влечениями к удовольствию. В сомнительных случаях полезным подспорьем могут оказаться типы сопротивления пациента. Я склонен очень серьезно воспринимать глубинное сопротивление, как бы парадоксально это ни звучало. Если коротко, я глубоко убежден, что врач не обязательно лучше пациента понимает структуру его психики, которая самому врачу может быть абсолютно

неизвестной. Такая скромность приличествует врачу перед лицом того факта, что до сих пор не существует общепринятой психологической теории, хотя, сверх того, имеется множество неизученных темпераментов и индивидуальных психических характеров, каковые не укладываются ни в одну из схем.

Известно, что относительно темпераментов я придерживаюсь их деления на два типа, опираясь на мнение многих знатоков человеческой души: на *экстравертный* и *интровертный* типы. Также я считаю эти установки существенными показателями, как и частое преобладание какой-то одной психической функции над другими[1].

Неслыханное разнообразие индивидуальной жизни, собственно, обусловливает постоянные модификации, которые врачу подчас приходится вносить неосознанно; немаловажно, что эти модификации могут не соответствовать его теоретическим воззрениям.

В вопросе о темпераментах я не вправе уклониться от упоминания о том, что человеку свойственны существенная *духовная* и не менее существенная *материалистическая* установка, причем нельзя думать, будто эти установки являются приобретенными в результате чистого недоразумения. Часто человеку бывают присущи врожденные страсти, которые невозможно искоренить никакой критикой и никакими убеждениями; равным образом имеют место случаи зримо и ярко выраженного материализма, который, по сути, является лишь извращением религиозного темперамента. В настоящее время с большой легкостью верят и в противоположные случаи, хотя они встречаются не чаще, чем другие. С моей точки зрения, это тоже показания, которые нельзя упускать из вида.

---

[1] Ср. мои «Психологические типы», определение «Функция». — *Примеч. авт.*

Когда мы используем слово «показания», то может сложиться впечатление, будто мы, как и представители других областей медицины, имеем в виду показания к проведению того или иного лечения. Вероятно, так должно быть, но, как бы то ни было, психотерапия в настоящее время не настолько развита, и поэтому термин «показание», увы, едва ли означает что-либо иное, нежели предостережение насчет односторонности мышления.

Человеческая психика есть нечто невероятно двусмысленное. В каждом конкретном случае надо задаться вопросом, является ли данный феномен установкой, или так называемой привычкой, или, может быть, даже просто компенсацией противоположного. Должен признать, что я и сам в этих ситуациях обманывался так часто, что теперь в каждом конкретном случае предпочитаю отвлечься от всех теоретических предположений о структуре невроза, от домыслов относительно возможного и должного для пациента. Я — максимально, насколько это возможно — ставлю опытное познание выше психотерапевтической цели. Это может показаться странным и удивительным, ибо молчаливо предполагается, что психотерапевт должен иметь цель. Однако именно в психотерапии мне представляется благоразумным такой подход, в соответствии с которым врач не ставит перед собой какую-то определенную цель. Он едва ли может понимать ее лучше, чем позволяют природа или воля к жизни больного. Судьбоносные решения, как правило, подчиняются инстинктам и другим таинственным, неосознаваемым факторам, а не осознанным волевым решениям или благонамеренной рациональности. Ботинок, который приходится впору одному человеку, жмет другому, и не существует всеобщего универсального рецепта жизни. Каждому человеку присуща индивидуальная форма жизни, ирра-

циональная форма, о которой невозможно сообщить как-то иначе.

Все это, разумеется, нисколько не препятствует стремлению добиваться максимальной нормализации и рационализации. Однако, если удается добиться достаточного терапевтического успеха, этим можно и пренебречь. Если же успех недостаточен, то терапию — нравится нам это или нет — следует направлять на иррациональные составляющие психики пациента. Здесь мы должны следовать за природой, и то, что делает врач, является не столько лечением, сколько развитием заложенного в пациенте творческого начала.

То, о чем я должен сказать, начинается там, где зарождается развитие и заканчивается лечение. Как можно видеть, то, что я могу отнести к неразрешенным вопросам терапии, ограничивается теми случаями, при которых рациональное лечение не позволяет добиться удовлетворительного результата. Материал болезни, представленный в мое распоряжение, составлен в каждом случае весьма своеобразно: свежие случаи находятся в решительном меньшинстве. Во многих случаях в анамнезе больного в той или иной форме уже имело место психотерапевтическое лечение, как правило, с частичным успехом или полностью неудачное. Приблизительно в трети случаев мои пациенты страдают неврозами, не поддающимися отчетливому клиническому определению, особенно если речь идет о бессмысленности и бесцельности их жизни. Я не стану возражать, если мы обозначим это состояние как всеобщий распространенный невроз нашего времени. Приблизительно две трети моих пациентов перешагнули рубеж второй половины жизни.

Этот своеобразный материал оказывает рациональному лечению особенно сильное сопротивление, вероятно, потому, что он характерен по большей части для

социально адаптированных, зачастую обладающих выдающимися способностями индивидуумов, которым ничего не говорит слово «нормализация». В том же, что касается так называемых нормальных людей, то я поистине не в состоянии предложить им готовое представление о жизни. У большинства таких пациентов ресурсы сознания истощены — для таких случаев уместно английское выражение I am stuck — «Я застрял». Именно этот факт заставляет меня искать неизведанные возможности, потому что мне нечего ответить пациенту на вопрос: «Что вы мне посоветуете? Что я должен делать?» Да, я тоже этого не знаю. Я знаю только одно: если мое сознание не видит возможного пути и потому застревает, то на этот невыносимый тупик должна отреагировать моя бессознательная психика.

Это застревание представляет собой душевный, психический процесс, каковой настолько часто повторяется в ходе развития человечества, что даже стал мотивом множества сказок и мифов, в которых мы находим упоминания о разрыв-траве, отпирающей любые ворота, или о полезных зверях, находящих тайные тропы. Это означает, иными словами, следующее: застревание является типическим событием, порождающим с течением времени столь же типическую компенсаторную реакцию. Отсюда мы можем с определенной долей вероятности предположить, что нечто подобное имеет место в подсознательных реакциях, как, например, в тех реакциях, что всплывают в сновидениях.

В таких случаях — и по этой причине — я направляю свое основное внимание прежде всего на *сновидения*. Я делаю это не потому, что крепко привержен идее о том, что надо работать со сновидениями, и не потому, что придерживаюсь какой-то мистической теории сновидений, но только для того, чтобы выйти из затруднительного положения. Я не знаю, что смогу извлечь из

сновидений, и поэтому пытаюсь найти в их содержании хотя бы что-то, ибо в сновидениях присутствуют образы, которые что-то обозначают, а это уже больше, чем ничего. У меня нет теории сновидений, и я не знаю, как возникают сны. Я вообще не уверен, что мой способ работы со сновидениями заслуживает название *метода*. Я вполне разделяю все предубеждения против толкования сновидений, каковое, на мой взгляд, является квинтэссенцией неопределенности и произвола. С другой стороны, я знаю, что, как правило, из толкований выходит и нечто полезное, в особенности когда мы долго и основательно размышляем над каким-либо сновидением, погружаемся в него. Это нечто ни в коем случае нельзя считать научным результатом, которым можно блеснуть или с помощью которого можно найти рациональное объяснение; нет, это всего лишь практически важный намек, показывающий пациенту, куда ведет его подсознание. Нельзя полагаться на то, что результат рассуждений о сновидениях является доказуемым или бесспорным; я просто преследую в этом случае побочную цель самоудовлетворения. Я должен полностью довольствоваться тем, что это рассуждение чем-то наделит пациента, придаст течению его жизни определенное направление. Единственным критерием, который я могу признать, является тот факт, что результат моих усилий *работает*. Моими научными увлечениями — поиском объяснений — я могу заниматься в свое свободное время.

Содержание первичных сновидений бесконечно разнообразно; имеются в виду те сновидения, которые появились в начале событий определенного рода. Во многих случаях сновидения указывают прежде всего на прошлое и напоминают о забытом или утраченном. Часто эти застревания и дезориентация имеют место, когда направление хода жизни становится односторонним. Именно в этот момент может наступить утрата ли-

бидо. Вся прошлая деятельность становится неинтересной и даже бессмысленной, а ее цели внезапно начинают казаться недостойными достижения. То, что у одних людей оказывается лишь результатом мимолетного перепада настроения, может у других стать хроническим состоянием. В этих случаях часто представляется, что прочие возможности развития личности погребены где-то в прошлом, о чем, правда, не знает никто, в том числе и сам пациент. Сновидение может помочь напасть на верный след.

В других случаях сновидение указывает на текущие факты, которые сознание не воспринимает как проблемные или порождающие конфликт, будь то, например, брак, социальный статус и т.п.

Эти возможности находятся еще в рамках рационального, и поэтому мне не составляло большого труда правдоподобно объяснять такие первичные сновидения. Настоящие трудности начинаются тогда, когда в сновидении нет указания на что-то осязаемое, а происходит такое часто, особенно тогда, когда сновидения имеют отношение к будущему. В данном случае я имею в виду не только пророческие сновидения, но также сновидения с предчувствиями, или «рекогносцирующие» сновидения. Такие сновидения содержат ощущение неких возможностей, поэтому стороннему наблюдателю они представляются непонятными и недоступными анализу. Часто они и мне самому кажутся неубедительными и непонятными, вот почему я в таких случаях говорю пациенту: «В это я не верю. Но попробуйте пойти по этому следу». Как уже было сказано, единственным критерием полезности является оживляющее действие, причем нам нет нужды вникать в причины такого действия.

Это в особенности верно для сновидений, содержанием которых является нечто «бессознательное метафизическое», а именно, мифологическое мышление по

аналогии, причем иногда в невероятно причудливых формах, каковые могут ошеломить самого сновидца.

Меня могут упрекнуть: откуда я, собственно, знаю, что сновидения содержат что-то вроде «бессознательного метафизического»? Здесь я должен признать, что я не знаю, содержит ли сновидение нечто с подобной характеристикой. Для этого мне слишком мало известно о сновидениях. Я вижу только результирующее воздействие на пациента. В связи с этим хочу привести небольшой пример.

В длинном первичном сновидении одного из моих «нормальных» пациентов главную роль играл тот факт, что ребенок сестры пациента был болен. Речь шла о двухлетней девочке.

На самом деле у сестры пациента некоторое время назад от болезни умер мальчик, но все остальные ее дети были здоровы. Факт сновидения о больном ребенке казался почти недоступным пониманию, ибо он никоим образом не соответствовал действительности. Так как между видевшим сон человеком и его сестрой отсутствуют непосредственные или близкие отношения, то он и сам не ощущал чего-то личного в этой картине. Потом пациент внезапно осознал, что за два года до прихода ко мне он занялся изучением оккультизма и в ходе изучения последнего открыл для себя психологию. Ребенок, очевидно, представлял для него психологический интерес — мне такая мысль не могла прийти в голову. С чисто теоретической точки зрения подобная картина сновидения может означать как все, так и ничего. Вообще значат ли что-то сами по себе какие-то явления или факты? Наверняка можно утверждать лишь одно — толкует сновидение всегда человек, то есть именно человек придает ему смысл. Для психологии это имеет самое существенное значение. То, что изучение оккультизма может быть болезнетворным, стало для пациента новой и интересной мыслью. Каким-то

образом эта мысль запала ему в душу. Это было решающее обстоятельство: все складывается как бы само собой, каковы бы ни были наши ничего не решающие рассуждения и предположения. Эта мысль пробудила в пациенте критику и тем самым вызвала некоторое изменение установки. Путем таких малозаметных изменений, которые невозможно помыслить рационально, многое приходит в движение, и застревание, пусть и в минимальной степени, преодолевается.

Я мог бы, пользуясь этим примером, высказаться фигурально: сон подсказал, что занятия оккультизмом болезнетворны, и в этом смысле я могу говорить о «метафизическом бессознательном», если этот сон привел пациента к таким мыслям.

Однако я пойду еще дальше: не только я даю пациенту возможность приписать что-то сновидению, но и открываю такую же возможность перед самим собой. Кроме того, я делюсь с пациентом своими идеями и смыслами. Использование внушения в данных обстоятельствах я могу только приветствовать, ибо известно, что человек подвержен внушению тех идей, к восприятию которых он уже исподволь подготовлен. То, что при таком отгадывании можно иногда ошибиться, ничему не вредит, ибо при следующей возможности ошибка снова проявится — как чужеродное тело. Мне нет нужды доказывать, что мои трактовки сновидений верны (это совершенно бесперспективное занятие); я просто должен вместе с пациентом искать *действенное* — я едва не оговорился и не сказал *«действительное»*.

Именно поэтому для меня особенно важным является по возможности обширное знание первобытной психологии, мифологии, археологии и сравнительной истории религий; эти науки снабжают меня бесценными аналогиями, с помощью которых я могу обогатить мысли и идеи моих пациентов. Так мы можем совмест-

но переместить нечто, по видимости, беспочвенное в область осмысленного и тем самым существенно повысить действенность терапии. Именно для дилетанта, который сделал все что мог в сфере личностного и рационального, но не обнаружил никакого смысла, а значит, не обрел удовлетворения, будет очень многое значить возможность ступить в иррациональные области жизни и переживаний. При этом изменения касаются также обыденности и повседневности, которые благодаря подобным изменениям начинают играть новыми красками. В наибольшей степени это зависит от того, как мы оцениваем те или иные события и факты, а не от того, каковы те сами по себе. Осмысленные мелочи жизненно более важны, чем лишенное смысла великое.

Полагаю, нельзя преуменьшать риски такого подхода. Иногда такой подход напоминает подход человека, начавшего строить мост наобум. Можно иронично возразить — и это сплошь и рядом делается, — что при таком подходе врач и пациент, по сути, предаются коллективной фантазии.

Это возражение не является контрдоводом — это чистая правда. На самом деле я даже заставляю себя фантазировать вместе с пациентом. Я, надо сказать, не без уважения отношусь к фантазиям. В конечном счете для меня это творческая материнская сила мужского духа. Мы никогда не поднимаемся над фантазиями. Понятно, что существуют пустые, неисполнимые, болезненные и неудовлетворяющие фантазии, бесплодную природу которых распознает каждый человек, наделенный здоровым рассудком, но ошибки не доказывают отсутствие нормы. Все произведения человека являются плодом творческой фантазии. Как можем мы в этой связи смотреть свысока на фантазеров? Кроме того, в норме фантазии не ведут к заблуждениям, для этого они слишком глубоки и слишком сильно вну-

тренне связаны с основой человеческих и животных инстинктов. Удивительным образом фантазии снова и снова оправдываются. Творческая сила воображения вырывает человека из пут «только так, а не иначе» и возвышает его до состояния активного игрока. А человек, как говорит Шиллер, «играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет»[1].

Воздействие, на которое я нацелен, направлено на достижение такого душевного состояния, когда мой пациент начинает экспериментировать со своей сущностью, состояния, в котором ничто не дано навечно, нет ничего безнадежно окаменевшего, состояния текучести, переменчивости и становления. Свою методику я могу, разумеется, представить здесь только в общих чертах. Те из моих читателей, которым по случаю приходилось заглядывать в мои работы, смогут провести необходимые параллели. Здесь я хотел бы только подчеркнуть, что не следует понимать мой образ действий как бесцельный и неупорядоченный. Я всегда беру себе за правило не обходить вниманием смысл, заключенный в решающем факте; нет, я просто стремлюсь сделать этот смысл как можно более понятным для пациента, чтобы и он заметил его надличностные отношения. Именно, когда человек наталкивается на нечто, происходящее, как ему кажется, только с ним и являющееся абсолютно своеобразным, хотя, как оказывается, это совершенно заурядное переживание, а следовательно, упомянутое лицо явно неоправданно имеет избыточно личностную установку и тем самым исключает себя из человеческого сообщества. Равным образом необходимо, чтобы мы обладали не только личностным сиюминутным сознанием, но также и над-

[1] *Шиллер Ф.* Письма об эстетическом воспитании человека / Перевод Э. Радлова. — *Примеч. ред.*

личностным сознанием, дух которого чувствует историческую преемственность. Возможно, все это звучит слишком абстрактно, но есть неоспоримый практический факт: так или иначе многие неврозы в первую очередь обусловлены тем, что религиозные притязания души вследствие искаженного влияния в детстве (полового просвещения?) перестают восприниматься. Современный психолог должен наконец понять, что давно уже речь идет не о догмах и признании веры, а в гораздо большей степени о религиозной установке, каковая является психической функцией, и важность последней невозможно переоценить. Именно этой религиозной функции касается, главным образом, историческая преемственность, пренебречь которой не удастся никому.

Возвращаясь к проблеме моей методики, я задаюсь вопросом относительно того, насколько я вправе оспаривать авторитет Фрейда в связи с его умозаключениями. Как бы то ни было, я учился на созданной Фрейдом методике свободных ассоциаций, и свои техники считаю непосредственным развитием методики Фрейда.

Пока я помогаю пациенту выявить значимые элементы его сновидений и пока стараюсь показать ему общий смысл символов, он, пациент, пребывает психологически в детском состоянии. Он почти целиком зависит от своих сновидений и от вопроса, прольет следующий сон свет на загадку или нет. Еще он зависит от того, возникнет ли у меня некая полезная идея, и смогу ли я, руководствуясь моими знаниями, передать ему мое понимание. К тому же он пребывает в крайне нежелательном, пассивном состоянии, в котором все представляется ему ненадежным и сомнительным, ибо ни он, ни я не знаем, чем окончится наше путешествие. Часто это не более, чем блуждание наугад во тьме египетской. В таком состоянии мы не вправе ожидать ощутимого результата, ибо нас окружает слишком много

неопределенностей. Помимо этого, всегда существует грозная опасность того, что ткань, сотканная днем, будет снова порвана ночью. Имеется и опасность того, что не произойдет ровным счетом ничего — ничто не встанет на место, в самом буквальном смысле этого выражения, — что ничто не устоит. В подобных ситуациях нередко случается так, что больному снится особенно яркий цветной сон или необычный образ, и пациент говорит: «Видите ли, будь я художником, я бы написал картину на этот сюжет». Иногда пациентам снятся фотографии, нарисованные или записанные образы, или записка четким почерком — или даже кинофильмы.

Эти намеки я обычно стараюсь употребить с пользой и прошу моих пациентов в тот же миг в реальности нарисовать то, что они видели во сне или в фантазии. Обыкновенно пациент возражает, дескать, он не художник, на что я, как правило, отвечаю, что многие современные художники отнюдь не являются таковыми, вследствие чего живопись в наше время свободна, как птица в полете; к тому же речь в данном случае идет не о красоте, а об усилиях, которые пациент приложит для изображения увиденного. Насколько это соответствует истине, я убедился совсем недавно, когда занимался одаренной профессиональной художницей-портретисткой, которая, начав рисовать по моей просьбе, делала какие-то жалкие, поистине детские попытки изобразить то, что я просил. Создавалось впечатление, что она никогда в жизни не держала в руках кисти. Да, писать с внешней натуры — совсем не то, что рисовать внутренние образы.

Некоторые мои пожилые пациенты после подобных сеансов начинали рисовать. Я понимаю, что любой здравомыслящий человек будет потрясен абсолютной бессмысленностью и бесполезностью подобного дилетантизма. Не надо, однако, забывать, что речь идет не

о людях, которым нужно доказывать свою социальную значимость, а о личностях, которые не усматривают более смысла в своей социальной значимости и полезности, столкнувшись с более глубокими и опасными проблемами индивидуальной жизни. Быть частичкой массы имеет смысл и стимул только для тех, кому это пока не надоело, но не для тех, кто сыт этой ролью по горло. Важность индивидуального смысла жизни могут отрицать те, кто в качестве существ социальных стоит на низком уровне адаптации, и эту важность всегда отрицают те, чье честолюбие побуждает добиваться роли пастыря стада. Те же, кто не принадлежит ни к первым, ни ко вторым, рано или поздно сталкиваются с этим мучительным вопросом.

Пусть даже иногда мои пациенты создают замечательные в художественном отношении картины, которые вполне можно было бы выставить на любой современной «художественной» выставке, все же в целом я рассматриваю эти картины как лишенные всякой ценности, если мерить их эталонами истинного искусства. Крайне важно, к слову, что их произведения лишены всякой ценности, иначе мои пациенты вообразили бы себя художниками, что полностью извратило бы смысл этого упражнения в живописи. Здесь речь идет не об искусстве, более того, здесь и не должно быть никакого искусства, ибо это нечто большее, чем искусство, и полностью от него отличное; это живое воздействие на самого пациента. То, что с социальной точки зрения оценивается как нечто в высшей степени малозначительное, а именно смысл индивидуальной жизни, для пациента представляет наивысшую ценность; именно это заставляет его сделать усилие и перевести невыразимое в по-детски беспомощную зримую форму.

Но зачем, собственно, я побуждаю пациентов выражать определенную стадию их развития с помощью кисти, карандаша или пера?

В первую очередь, это тоже делается для того, чтобы породить активное влияние. В обрисованном выше детском психологическом состоянии пациент остается пассивным. Здесь же он переходит в активное состояние. Самое главное: он в явном виде представляет пассивно наблюдаемое, тем самым превращая его в собственное активное действие. Он не только рассказывает о нем, он его совершает. Психологически налицо огромная разница в том, ведет ли человек пару раз в неделю интересную беседу со своим врачом или же часами борется с непослушной кистью и цветами, чтобы сделать нечто неуловимое и бессмысленное доступным поверхностному взгляду. Будь это занятие на самом деле для него бессмысленным, то усилия, затраченные на рисование, вызывали бы у него такое отвращение, что его едва ли удалось бы заставить еще раз вернуться к этому упражнению. Поскольку, однако, эти фантазии не представляются пациенту полностью бессмысленными, постольку повторение того же действия лишь подчеркивает терапевтическое влияние. Сверх того, материальное воплощение воображаемой картины вынуждает к длительному созерцанию ее во всех деталях, благодаря чему может полностью раскрыться ее воздействие. Тем самым в чистую фантазию вторгается реальность, посредством которой фантазии сообщается бóльшая весомость, и она приобретает большее влияние. Из этих самостоятельно созданных картин проистекают фактические, существенные воздействия, которые на самом деле трудно описать словами. Например, одному пациенту нужно всего лишь раз увидеть, как он с помощью нарисованной картины освобождается от тяжкого душевного состояния, чтобы он начал постоянно создавать символические изображения всякий раз, когда ему становится плохо. Таким способом достигается нечто неоценимое, а именно, обретается независимость и происходит переход к психологиче-

скому взрослению. С помощью этого метода — если в данном контексте позволительно употребление такого термина — пациент может, совершив творческое усилие, сам сделать себя независимым. Отныне он больше не зависит от своих сновидений, как и от знаний врача; тем, что он себя рисует, он одновременно и формирует себя. Ибо то, что он рисует, суть действующие фантазии, то, что действует внутри него. Но то, что действует у него внутри, и есть он сам, но не в смысле прежнего недопонимания, когда он принимал свое личное «Я» за свою самость, а в новом, чуждом до тех пор для него смысле, когда «Я» проявляется как объект действующих внутри пациента сил. В бесчисленных картинах он изо всех сил старается исчерпывающе представить действующую внутри него силу, чтобы в конце концов обнаружить, что она выражает нечто вечно неизвестное и чуждое, составляющее глубочайшую основу нашей души.

Я не в силах описать, какие изменения точек зрения и ценностей, какие сдвиги центра тяжести личности при этом происходят. По масштабам это как если бы Земля вдруг открыла, что центром обращения планет и ее собственного обращения является Солнце.

Но разве мы не знали этого раньше? Полагаю, мы знаем это уже очень давно. Но, даже если я что-то знаю, этого и близко не знает нечто иное во мне, ибо в действительности я живу так, как если бы я этого не знал. Большинство моих пациентов знало, но не переживало лично. Почему? Конечно же, по той причине, каковая заставляет всех нас жить, исходя из нашего «Я». Причина эта имеет свое название — *переоценка сознания*.

Для молодых, еще не приспособленных, не добившихся успеха людей, чрезвычайно важно сделать свое осознаваемое «Я» могущественным, насколько это возможно, то есть воспитать свою волю. Если человек не гений, он не может верить ни во что действенное в себе,

если оно не тождественно его воле. Он по необходимости мыслит себя как волевое существо и вынужден обесценивать все остальное — или мнить, что может подчинить его своей воле, ибо без этой иллюзии ему не удастся приспособиться к социальному окружению.

По-иному обстоят дела у человека, перевалившего за рубеж второй половины жизни, человека, которому уже нет нужды воспитывать осознанную волю, но который стремится понять смысл индивидуальной жизни, постичь опыт собственного существования. Собственная общественная полезность больше не является для него целью, хотя он не отрицает ее желательности. Он воспринимает свою творческую деятельность, социальная бесполезность которой ему отчетливо ясна, как работу и как благое дело само по себе. Во все большей мере он освобождает свою деятельность от болезненной зависимости и тем самым обретает внутреннюю устойчивость и возрождает доверие к самому себе. Эти последние достижения идут на пользу социальной жизни пациента. Ибо внутренне более устойчивый и в большей степени доверяющий себе человек лучше соответствует социальным требованиям, чем тот, кто не в ладу со своим бессознательным.

Я намеренно избегаю нагружать мой доклад теорией, поэтому многое в изложении наверняка остается темным и неясным. Однако для того, чтобы сделать более понятными создаваемые моими пациентами картины, надо упомянуть и некоторые известные теоретические воззрения. Все эти картины отличаются первобытным символическим характером, который одинаково ярко проступает как из очертаний рисунка, так и из его цвета. Цвета, как правило, варварски яркие. Часто присутствуют несомненные архаизмы. Эти свойства и признаки говорят о природе глубинных изобразительных способностей. Имеют место иррациональные символические тенденции такого исторического и архаического

характера, что легко просматривается параллель с подобными картинами, обнаруженными археологами и специалистами по сравнительной истории религий. Отсюда мы можем предположить, что наши картины возникают в той области психики, которую я обозначил как *коллективное бессознательное*. Под этим обозначением я понимаю бессознательную общечеловеческую душевную деятельность, не только дающую начало нашей современной символической живописи, но и ставшую основой всех подобных произведений человеческого прошлого. Такие картины возникают из естественной потребности и удовлетворяют нас как таковые. Происходит так, будто в этих картинах выразила себя оставшаяся первобытной психика, как бы тем самым получив возможность функционировать совместно с чуждым ей сознанием, в результате чего устраняются искажающие сознание притязания, то есть происходит ее насыщение. Правда, к этому я должен добавить, что самой по себе изобразительной деятельности недостаточно. Она требует, помимо прочего, интеллектуального и эмоционального понимания картин, вследствие чего они не только интеллектуально, но и морально интегрируются в сознание. Они должны подвергнуться воздействию синтезирующей работы толкования. Хотя я много раз проходил этот путь с отдельными пациентами, мне до сих пор ни разу не удалось прояснить этот путь во всех подробностях и опубликовать результаты[1]. До сих пор такие случаи можно пересчитать по пальцам. Здесь мы вступаем на совершенно неизведанную территорию, где на каждом шагу набираешься богатого опыта. Таким образом, на этом весьма важном основании я бы предпочел избегать слишком поспешных заключений. Дело в том, что здесь речь

[1] С тех пор этот недостаток был устранен. См. мою работу «Изучение процесса индивидуации». — *Примеч. авт.*

идет о душевном жизненном процессе, происходящем вне сознания, и мы можем наблюдать этот процесс только косвенно. Но, тем не менее, мы пока не знаем, насколько далеко проникает наш взор в неизведанные глубины. Как я уже сказал ранее, мне представляется, что речь идет о своего рода процессе центрирования — очень многие финальные картины, особенно те, которые именно так воспринимаются самими пациентами, указывают именно в этом направлении; при этом процессе центрирования то, что мы называем «Я», отступает на периферию. Это изменение, очевидно, осуществляется за счет действия исторических элементов души. Какова цель этого процесса, остается пока неясным. Мы можем лишь констатировать его значимое влияние на осознаваемую личность. Из того факта, что это изменение обостряет ощущение жизни и поддерживает ее течение, можно заключить, что ему внутренне присуща особая целесообразность. Можно назвать это очередной иллюзией. Но что такое иллюзия? С какой позиции можем мы обозначить нечто как иллюзию? Существует ли для души то, что нам позволительно называть «иллюзией»? Для души это, вероятно, очень важная жизненная форма, такая же необходимость, каковой является для живого организма кислород. То, что мы называем «иллюзией», есть, может быть, действительность первостепенного значения. Душе, не исключено, нет никакого дела до наших категорий реальности. Для нее в первую очередь *действительным* является то, что *действует*. Тот, кто хочет исследовать душу, не имеет права путать ее со своим сознанием, иначе он затуманит взгляд на предмет изучения. Наоборот, надо раскрыть, насколько сильно отличается от сознания душа[1], чтобы

[1] Следует иметь в виду, что Юнг в своих работах не проводит, как правило, различия между «душой» и «психикой», обозначая то и другое словом Seele; при переводе слово «душа» выбрано как более общее по значению. — *Примеч. ред.*

ее познать. Нет ничего более вероятного, чем тот факт, что иллюзия в нашем понимании есть для нее действительность, а потому совершенно неуместно измерять душевную действительность действительностью нашего сознания. Для психолога нет большей глупости, чем миссионерская точка зрения, согласно которой богов несчастных язычников объявляли иллюзией. Однако, к несчастью, продолжает цвести догматическая ложь, будто наша так называемая реальность не может быть в той же мере иллюзорной. В царстве души, как и во всем нашем жизненном опыте, то, что действует, является действительностью, независимо от того, какие названия дает этому человек. Речь идет о том, чтобы познать эти реальности как таковые, а не о том, чтобы дать им другие названия. Значит, дух для души не становится более низким даже тогда, когда его называют сексуальностью.

Должен повторить, что эти названия и изменения названий нигде даже близко не подходят к существу описываемого процесса. Последний, как и все сущее, не исчерпывается рациональными сознательными понятиями; именно поэтому мои пациенты вполне последовательно предпочитают символическое представление и интерпретацию как более адекватные и более действенные способы постижения реальности.

Этим я, собственно, сказал все, что хотел сказать о моих психотерапевтических намерениях и взглядах в рамках общего ориентирующего доклада. Он может послужить лишь побуждением к дальнейшему познанию, и я буду вполне удовлетворен, если он именно таковым и окажется.

Психологическая типология[1]

Характер есть устойчивая индивидуальная форма человека. Форма эта имеет как телесную, так и душевную природу, поэтому общая характерология представляет собой учение о признаках как физического, так и психического свойства. Непостижимое единство живого существа означает, что физические признаки не обязательно являются телесными, а душевные — не обязательно психическими, ибо континуальность природы не знает расчленений и разделений, накладываемых на нее человеческим рассудком для того, чтобы вообще иметь возможность что-то познавать.

Разделение души и тела является искусственной операцией, различением, которое наверняка в меньшей степени основано на сущности мироздания, а в большей — на особенностях познающего разума. На самом деле взаимопроникновение телесных и душевных признаков настолько глубоко, что мы можем не только делать умозаключения относительно строения души на основании строения тела, но и, исходя из строения души, выносить суждения относительно соответствующих особенностей тела. Разумеется, оба эти процесса требуют неравных усилий, но не потому, что душа влияет на тело меньше, чем тело на душу, а потому, что

---

[1] Доклад, прочитанный на съезде швейцарских психиатров, Цюрих, 1928 г. См. «*Seelenprobleme der Gegenwart*».

мы, начиная с души, идем от неизвестного к известному, в то время как в противоположном случае пользуемся преимуществом движения от известного, то есть от строения видимого тела. Несмотря на все потуги психологии, которую мы, как нам кажется, создали, душа представляется намного более темной, нежели видимая поверхность тела. Душа до сих пор — чуждая и скудно исследованная территория, о которой мы располагаем лишь косвенными сведениями, полученными за счет функций сознания, восприимчивого к великому множеству самых разнообразных обманов.

С полным правом мы, следовательно, можем считать, что верный путь ведет, скорее, от известного к неизвестному, то есть от тела к душе. Из того же принципа берут начало все попытки начать изучение характерологии извне — это соответствует древним дисциплинам, будь то астрология, которая вообще начинала с космоса, чтобы добраться до линий судьбы (начала которых, как заметил Сени Валленштейну[1], находятся в самом человеке), или хиромантия, френология Галля или физиогномика Лафатера; такой же подход свойственен более современным практикам — графологии, физиологической типологии Кречмера и кляксографическому методу Роршаха[2]. Очевидно, что нет недостатка в способах движения снаружи внутрь, от телесного к душевному. Это направление снаружи внутрь так давно исхожено исследователями вдоль и поперек, что некоторые эле-

---

[1] Дж. Баттиста Сени — знаменитый итальянский астролог, личный советник Альбрехта фон Валленштейна, генералиссимуса и адмирала флота Священной Римской империи, выдающегося полководца Тридцатилетней войны. — *Примеч. ред.*

[2] Э. Кречмер — немецкий психиатр и психолог, создатель типологии строения тел и темпераментов, утверждал, что существует зависимость между этими типами и психическими заболеваниями. Г. Роршах — швейцарский психиатр, автор теста «Пятна Роршаха». — *Примеч. ред.*

ментарные душевные факты были установлены с достаточной достоверностью. После их установления появилась возможность проложить и обратный путь. Мы можем, соответственно, поставить вопрос: каковы же телесные выражения определенного душевного факта? К сожалению, текущее положение дел почти побуждает вообще отказаться от такого вопроса, ибо основное условие здесь — это достаточно точное определение и описание душевного состояния, но такого уровня мы пока не достигли. Мы только приступили к составлению душевного инвентаря, и работа идет с переменным успехом.

Само по себе утверждение, что те или иные люди выглядят так-то и так-то, не говорит ровным счетом ничего, если оно не позволяет нам сделать вывод о соответствующей душевной организации. Мы удовлетворимся лишь тогда, когда узнаем, какой тип души соответствует определенному телесному строению. Тело ничего не значит без души, как и душа — когда мы в состоянии встать на ее точку зрения — ничего не значит для нас без тела. Если же мы вознамеримся на основании какого-то физического признака сделать заключение о соответствующем душевном свойстве, то в своем рассуждении, как уже было сказано, пойдем от известного к неизвестному.

К сожалению, я должен особо подчеркнуть это положение, ибо психология — самая молодая из всех наук и потому в наибольшей степени испытывает давление предрассудков. Тот факт, что психология была открыта лишь недавно, прямо указывает, что нам необходимо оторвать душевное от субъекта в той мере, в какой мы хотим сделать душевное предметом объективного познания. Психология как естественная наука является, по сути, новейшим приобретением, а до сих пор она оставалась таким же полем фантастического произвола, что и средневековое естествознание. Считалось, что

психологию удастся декретировать. Этот предрассудок продолжает нас преследовать. Душевное представляется нам как нечто непосредственно данное, следовательно, по определению известное; оно издевательски зевает нам в лицо, раздражает нас банальностью своей обыденности, мы страдаем и делаем все возможное, чтобы вообще об этом не думать. Поскольку душа сама по себе есть непосредственная данность, мы усматриваем ее в себе, воображаем, что знакомы с нею наиболее основательным, устойчивым и несомненным образом. Посему каждый имеет собственное мнение о психологии и убежден в том, что он ее, разумеется, отлично знает. Психиатры, которым приходится мучиться со все понимающими родственниками и опекунами пациентов, первыми, похоже, как профессиональная группа столкнулись со слепыми предрассудками массы, что побуждают любого мнить, будто он понимает в этом деле лучше других (но психиатр все-таки знает лучше, причем до такой степени, что может признаться: «В этом городе всего два нормальных человека. Второй — гимназический учитель Б.»).

В современной психологии приходится пробиваться к пониманию того, что душевное является одновременно непосредственной данностью и самым неизвестным явлением, хотя может показаться, что душа — вообще самое известное на свете, и всякий знает душу другого лучше, чем свою собственную. Как бы то ни было, исходно это мог бы быть полезный в целом эвристический принцип. Именно благодаря тому, что душа нам дана непосредственно, психология была открыта так поздно. Именно по той причине, что мы стоим у самых истоков этой науки, у нас нет понятий и определений, посредством которых мы могли бы охватить факты. Первых не хватает, зато вторых у нас в избытке, факты теснят, захлестывают, в противоположность другим наукам, к которым мы должны порой обращаться

и в которых естественная группировка (например, группировка химических элементов или семейств растений) обеспечивает возможность понимать наши наблюдения. Совершенно иначе обстоит дело с душой; здесь мы, следуя установке на эмпирическое наблюдение, оказываемся в непрерывном потоке субъективных душевных событий; если из этого месива вдруг выныривает какое-то обобщающее понятие, то оно в подавляющем большинстве случаев оказывается всего-навсего симптомом. Поскольку мы сами и есть души, практически неизбежно, что мы, желая выделить тот или иной душевный процесс, растворяемся в нем и тем самым лишаемся способности к различению и сравнению, необходимой для познания.

Это одна трудность, а вторая заключается в том факте, что вследствие отступления от пространственных явлений и приближения к не обладающей пространственным измерением душе теряется всякая возможность выявления соразмерностей. Затруднено даже установление фактов. Если я, например, хочу подчеркнуть мнимость какого-то предмета, то сообщаю, что просто его выдумал. «Мне никогда не пришла бы на ум эта мысль, если бы не... и вообще я так не думаю». Замечания подобного рода встречаются повсеместно и показывают, сколь туманны душевные факты — точнее, сколь смутными они представляются субъективно, тогда как в действительности не менее объективны, чем любое другое событие. Мы действительно думаем то-то и то-то, и эта мысль является способом обусловить и сформулировать некий определенный процесс. Однако многим людям приходится буквально продираться к этому вроде бы очевидному признанию, причем прилагая порой изрядные моральные усилия. Даже когда мы делаем выводы о душевном состоянии знакомого нам человека на основании внешних проявлений его поведения, то сталкиваемся с этими затруднениями.

Моя узкая профессиональная область не связана с клинической оценкой внешних проявлений в самом широком смысле, она заключается в исследовании и классификации раскрывающихся и становящихся доступными выявлению душевных состояний. В ходе этой работы сначала устанавливается психическая феноменология, которая позволяет создать соответствующее учение о структуре, а из эмпирического применения учения о структуре рождается наконец психологическая типология.

Клиническая феноменология — это симптоматология. Переход от симптоматологии к психической феноменологии можно сравнить с развитием чисто симптоматического понимания патологии до понимания на клеточном и биохимическом уровне, ибо психическая феноменология открывает нам глубинные душевные процессы, лежащие в основе явных симптомов. Как уже признано, достичь такого развития позволило применение аналитических методов. Сегодня мы располагаем реальным пониманием душевных процессов, порождающих психогенные симптомы, тем самым были заложены основы психической феноменологии, ибо учение о комплексах является не чем иным, как феноменологией. Относительно того, что еще может происходить в темных глубинах души (на сей счет существует множество мнений), мы вправе утверждать, что там находится окрашенное аффектами содержание — «комплексы», обладающие известной автономией. Часто приходится сталкиваться с выражением «автономные комплексы», однако, на мой взгляд, такое словоупотребление неправомерно, ибо действенные содержания бессознательного неизменно выказывают поведение, которое я не могу определить иначе, как «автономное», чем признаю их способность сопротивляться намерениям сознания, приходить и уходить, когда им заблагорассудится. Комплексы, судя по тому, что мы о них

знаем, являются психическими величинами, ускользающими из-под власти сознания. Они, отщепляясь от него, обретают особое бытие в темных областях души, откуда непрерывно исходит вытеснение или откуда, наоборот, стимулируется работа сознания.

Дальнейшее углубление учения о комплексах совершенно логично ставит вопрос о *возникновении комплексов*. Тут тоже нет недостатка в различных теориях. Независимо от них твердо установлено, что комплексы всегда содержат конфликт — то, что порождает конфликт, или то, что возникает из конфликта. В любом случае для комплексов характерны свойства конфликта, шока, потрясения, болезненности, расщепления. Существуют так называемые «болевые точки», которые французы называют bêtes noires (жупелы. — *Ред.*), а англичане skeletons in the cupboard (скелеты в шкафу. — *Ред.*); о них не слишком охотно вспоминают и еще с меньшим удовольствием слушают, как вспоминают другие, но эти скелеты в шкафу часто вспоминаются сами, против воли индивидуума. Они всегда содержат воспоминания, тревоги, обязательства, необходимости или впечатления, с которыми невозможно смириться, всегда нарушают нашу осознанную жизнь, причиняя ей вред.

Очевидно, что комплексы суть своего рода неполноценности в самом широком смысле этого слова, но я хочу по этому поводу заметить, что комплекс (или обладание комплексом) — не просто неполноценность. Непримиримость, несовместимость, конфликтность, будучи, несомненно, препятствиями, побуждают к приложению усилий, значит, могут сулить успех в начинаниях. Комплексы поэтому выступают как средоточия, как узловые точки душевной жизни, без которых не хотелось бы обходиться — и на самом деле не обойтись, иначе душевная деятельность попросту прекратится. Но комплексы также выражают нечто незавершенное, неразрешенное, понесенное поражение, что-то не про-

житое до конца или не преодоленное, то есть *слабые места* каждого из нас.

Эти признаки комплексов проливают свет на их происхождение. Комплекс, что очевидно, возникает из столкновения потребности в адаптации с особым, неподходящим под это требование складом индивидуума. Так комплекс приобретает диагностическую ценность в качестве симптома индивидуальной предрасположенности.

Опыт предъявляет нам почти бесконечное множество разнообразных комплексов, но их тщательное сравнение позволяет выявить относительно небольшое число типичных основных форм, которые все связаны с ранними впечатлениями детства. Это не удивительно, поскольку индивидуальная предрасположенность становится очевидной уже в детстве, так как она является врожденной, а не приобретается в течение жизни. Родительский комплекс, следовательно, есть не что иное, как первое проявление столкновения между действительностью и противоречащим этой действительности душевным складом индивидуума. Первой разновидностью комплекса поэтому должен считаться родительский комплекс, ведь родители — та первая действительность, с которой ребенок вступает в конфликт.

Само существование родительского комплекса, по сути, ничего не говорит о свойствах индивидуума. На практическом опыте мы быстро осознаем, впрочем, что важнее не само наличие этого родительского комплекса, а его особые проявления у конкретного человека. Дело в том, что имеются самые разнообразные вариации, лишь ничтожную часть которых можно приписать особому родительскому влиянию (многие дети подвергаются этому влиянию, но реагируют на него самыми различнейшими способами).

Я обратил внимание именно на это разнообразие, ибо понял, что как раз благодаря ему возможно распо-

знать индивидуальные предрасположенности в их своеобразии. Почему в одной невротической семье ребенок реагирует на окружающие условия истерией, в другой — неврозом навязчивости, в третьей — психозом, а в четвертой не реагирует вообще никак? Эта проблема «выбора невроза», перед которой остановился Фрейд, отнимает у родительского комплекса этиологическое значение, а мы переносим фокус на реагирующего индивидуума и его особые предрасположенности.

Попытки Фрейда справиться с этой задачей меня совершенно не удовлетворили, но и сам я тоже не в состоянии дать внятный ответ. Я считаю преждевременным ставить сейчас вопрос о выборе невроза, ибо прежде чем подступать к этой трудной задаче, нам предстоит еще очень и очень многое узнать о том, *как* реагирует индивидуум. Как поступают люди, когда встречают препятствие? Например, мы подошли к ручью, через который нет моста, но перешагнуть его невозможно — он слишком широк. Значит, мы должны перепрыгнуть. Для этого мы располагаем сложной функциональной системой, а именно психомоторной системой, то есть готовой функцией, которую надо пустить в ход. Но сначала происходит нечто сугубо психическое: *принимается решение* о том, что вообще нужно сделать, и здесь случается решающее индивидуальное событие, каковое в большинстве случаев не распознается субъектом как характерное, ведь себя, как правило, не видят — или видят в последнюю очередь. Психомоторная система привычно готовится к прыжку, а к решению о том, что делать, столь же привычно (значит, неосознанно) готовится наш психический аппарат.

По поводу состава этого аппарата мнения широко расходятся, доподлинно известно лишь, что каждый человек наделен собственным, привычным ему способом принимать решения и справляться с трудностями. Если мы спросим одного, он скажет, что для него будет ис-

тинным удовольствием перепрыгнуть через ручей; другой ответит, что прыгнет, потому что не видит иного выхода; третий заявит, что сделает это потому, что любое препятствие вызывает у него стремление к преодолению. Четвертый не станет прыгать, потому что ему противны бессмысленные усилия; пятый откажется это делать, поскольку нет никакой насущной необходимости преодолевать ручей.

Я намеренно выбрал такой банальный пример, чтобы продемонстрировать, насколько несущественными, даже бесполезными видятся подобного рода мотивации в той мере, в какой мы их отбрасываем — из склонности подменять нашими собственными объяснениями. Но именно эти вариации позволяют заглянуть внутрь психических систем адаптации. Рассмотрим, например, первый случай — человека, который прыгает через ручей с удовольствием, и понаблюдаем за этим человеком в других жизненных ситуациях. Не исключено, что мы обнаружим следующее: бóльшую часть своих действий и досуга он рассматривает с точки зрения удовольствия; второго, который прыгает, потому что не замечает иной возможности перейти на другую сторону, мы увидим идущим по жизни внимательно и с недовольством, всегда направляющим шаги в сторону наименьшего зла и т.д. У всех людей заготовлена особая психическая система, которой предоставляется принятие решения. Можно смело утверждать, что таких установок — легион. Это индивидуальное множество никогда не исчерпывается, как и индивидуальные вариации кристаллов, каждый из которых тем не менее принадлежит к той или иной системе. Но кристаллы характеризуются относительно простыми законами строения, а психические установки обнажают ряд основных свойств личности, позволяя распределить их по группам.

Попытки человеческого ума сконструировать типы и с их помощью навести порядок в хаосе индивидуаль-

ного (это можно констатировать без опаски) стары как мир. Самая древняя из известных попыток такого рода была предпринята восточными астрологами, что вывели так называемые треугольники для четырех элементов — воздуха, воды, земли и огня. Треугольник воздуха в гороскопах состоит из трех так называемых воздушных знаков Зодиака (Водолей, Близнецы и Весы); треугольник огня — из Овна, Льва и Стрельца, и т.д.; древнейшее представление гласит, что человек, рожденный в том или ином треугольнике, обладает частицей воздушной или огненной природы и имеет соответствующий темперамент и судьбу. Сюда же относится *физиологическая* типология древности, подразделение на четыре гуморальных темперамента, пришедшее из более древних космологических представлений. Ранее использовали пояс небесных животных, а теперь стали применять физиологический язык старинных врачей, употреблять слова «*флегматичный*», «*сангвинический*», «*холерический*» и «*меланхолический*», каковые служат обозначениями жизненных «соков». Как известно, эта классификация продержалась не менее тысячи восьмисот лет. Что касается астрологической типологии, то она, как ни удивительно это слышать просвещенному уму, до сих пор жива и даже обретает сегодня второе дыхание.

Этот исторический экскурс может успокоить нас в том отношении, что современные попытки создать типологию ни в коем случае не являются чем-то новым и неслыханным, пусть даже научная совесть не позволяет нам пользоваться старыми интуитивными способами. Мы должны найти собственное решение этой проблемы, найти ответ, который соответствовал бы современным научным требованиям. Здесь и встает перед нами главная трудность типологической работы — вопрос масштаба и критериев. Астрологический критерий был прост: положение звезд в момент рождения. Во-

прос о том, каким образом зодиакальные созвездия и планеты определяют темперамент и характер, погребен в тумане доисторических времен, и ответа на него не найти. Критерием четырех физиологических темпераментов выступал внешний вид и поведение человека, как и при современном типизировании. Но что может послужить критерием психологической типологии?

Вспомним приведенный выше пример с четырьмя людьми, которым нужно перейти ручей. Как и с какой точки зрения должны мы классифицировать их привычные мотивации? Один действует из удовольствия, второй — потому, что бездействие хуже действия, третий не действует вообще, потому что имеет особую точку зрения, и т.д. Список возможностей представляется безнадежно бесконечным.

Не мне судить, как взялись бы за решение этой задачи другие. Могу только рассказать, как бы я сам приступил к этому делу, смирившись с тем, что меня упрекнут в желании следовать собственным предубеждениям; этот упрек справедлив в той мере, в какой я не могу от него защититься. Позволю себе разве что сослаться на старика Колумба, который на основании субъективных предпосылок и ложной гипотезы, следуя маршрутом, которым в настоящее время не ходит ни один мореплаватель, открыл Америку... Все, что человек видит, все, что желает наблюдать, он видит только собственными глазами. Именно поэтому науку творит множество людей. Один наблюдатель вносит в общее дело личный посильный вклад, и только в этом смысле осмеливаюсь я доложить о моем способе решения упомянутой задачи.

Моя профессия давно приучила меня отдавать себе отчет о своеобразии индивидуумов в особых обстоятельствах. В течение многих лет — уже не помню, скольких именно, — я работаю с супружескими парами, помогаю мужчинам и женщинам понимать друг друга, в связи с чем постепенно у меня появилась необ-

ходимость выводить известные усредненные истины и всячески их подчеркивать. К примеру, неоднократно приходилось говорить: «Смотрите, ваша жена очень активная натура, от которой ни в коем случае нельзя ожидать, что она ограничит свое бытие одним только домашним хозяйством». Тем самым уже осуществлялась типизация, высказывалась некая статистическая истина. Существуют *активные* и *пассивные* натуры. Но эта прописная истина меня не удовлетворяла. Следующей попыткой стало разделение людей на *вдумчивых* и *невдумчивых*, ибо я заметил, что многие якобы пассивные натуры на самом деле не столько пассивны, сколько *предусмотрительны*. Сначала они обдумывают ситуацию, а потом действуют; поскольку же такое поведение является для них привычным, они упускают возможности там, где требуется немедленное действие без размышлений, почему их и начинают считать пассивными. Мне всегда казалось, что невдумчивые бросаются очертя голову в любую ситуацию, и только потом понимают, что обеими ногами вляпались в болото. Подобных людей можно назвать, скорее, невдумчивыми, нежели активными, ибо предусмотрительность является в известных условиях тоже важной и полезной, за нею следует ответственное действие, в противоположность сиюминутной суетливости, напоминающей вспышку сухой соломы. Однако очень скоро я сообразил, что медлительность одного человека не всегда равнозначна предусмотрительности, а быстрое действие другого может не говорить о неосмотрительности. Медлительность столь же часто обусловливается привычной боязливостью или, по меньшей мере, привычкой пасовать перед трудными задачами, а живая активность может проистекать из ситуативной уверенности в своих силах. Это наблюдение позволило сформулировать типизацию следующим образом: существует целый класс людей, которые в миг реакции на какое-то создавшееся

положение дел отвечают задержкой, как бы произнося сначала тихое «нет», и только после этого реагируют действием; второй класс — это люди, которые в такой же ситуации сразу реагируют действием, по-видимому, в полной уверенности в том, что их действие является правильным. Для представителей первого класса характерно отрицательное отношение к объекту, для представителей же второго — положительное.

Как известно, первый класс соответствует «интровертной» установке, а второй — установке «экстравертной». От обоих этих терминов не больше пользы, чем от открытия мольеровского «мещанина во дворянстве», что он говорит прозой. Смысл и ценность указанные типы приобретают лишь тогда, когда каждый из них описан целиком и полностью.

Невозможно быть интровертом или экстравертом без того, чтобы быть ими всегда и во всех отношениях. Понятие «интроверсия», например, означает следующее: все душевное происходит у интроверта так, как должно происходить закономерно. Будь иначе, утверждение о том, что данный индивидуум является интровертом, оказалось бы, по сути, столь же малозначимым, как слова, что его рост 175 см, у него каштановые волосы и он брахицефал. Эти сообщения содержат ненамного больше самого факта, который они обозначают. Выражение же «интроверт» — или, соответственно, «экстраверт» — притязает на гораздо большее. Этим выражением хотят сказать, что сознательное и бессознательное данного индивидуума должно обладать определенными свойствами, что его поведение, его отношение к людям, вообще течение всей его жизни характеризуются типичными свойствами.

Интроверсия и экстраверсия как типы установки означают существенное и обусловливающее предубеждение в отношении всех душевных процессов, в связи с чем они определяют привычку к той или иной реак-

ции и тем самым задают не только способ действия, но и род субъективного опыта, наряду со способами компенсации со стороны бессознательного.

Определение привычного реагирования является точным в той мере, в какой привычка может считаться чем-то вроде переключателя, который, с одной стороны, регулирует внешние воздействия, а с другой, формирует специфический опыт. Из способа действия вытекает соответствующий результат, а из субъективного понимания результатов возникает опыт, который далее влияет на действия, формируя судьбу индивидуума по пословице «Всяк кузнец своего счастья».

Нет никаких сомнений в том, что, исследуя привычное реагирование, мы попадаем точно в цель, но остается деликатный вопрос — а насколько правильно мы определяем характер привычного реагирования? По этому поводу, при всей научной добросовестности, можно придерживаться самых разных мнений, даже обладая глубокими познаниями в этой области. Факты, которые мне удалось найти в подтверждение моего понимания, я суммировал в книге о психологических типах, причем ясно дал понять, что отнюдь не считаю свое типизирование единственно верным или единственно возможным.

Противопоставление интроверсии и экстраверсии кажется простым примером, но именно простые формулировки по большей части вызывают подозрения. Они слишком легко и обманчиво прикрывают реальные затруднения. Говорю об этом на основании моего личного опыта, ибо стоило мне почти двадцать лет назад опубликовать первую формулировку моих критериев, как я с большим неудовольствием отметил, что явно промахнулся. Что-то тут не сходилось. Я попытался слишком многое объяснить слишком простыми средствами, что часто происходит в упоении от сделанного открытия.

Мне сразу бросился в глаза тот неоспоримый факт, что налицо немалые различия среди интровертов, а также среди экстравертов. Эти различия были настолько выражены, что я сначала не поверил своим глазам. Разъяснение этого сомнения потребовало почти десяти лет наблюдений и сравнений.

Вопрос о том, откуда возникают различия внутри одного типа, обернулся непредвиденными трудностями, которые я долго не мог обойти. Эти трудности лишь в малой степени были обусловлены наблюдением и констатацией самих отличий; главной причиной, как ранее с критериями, стал поиск подходящего обозначения характерных отличий. Здесь я впервые на собственном опыте ощутил, как вообще молода психология. В настоящее время она едва ли представляет собой что-то иное, кроме хаоса ученых мнений, которые без всякого согласования между собой, словно Афина из головы Зевса, возникают из ученых умов в университетских и врачебных кабинетах путем самозарождения. Не хочу показаться непочтительным, но не могу справиться с искушением: прямо-таки неймется преподнести какому-нибудь профессору психологии психологию женщины, китайца или австралийского аборигена. Наша психология должна выйти в жизнь, иначе мы рискуем застрять в средневековье.

Я заметил, что из хаоса современной психологии невозможно вытянуть достоверные признаки для оценки, что их надо создавать, разумеется, не из воздуха, на основе бесценных результатов предварительной работы, умолчать о которой не сможет никакая история психологии.

В рамках этого доклада я не могу подробно останавливаться на тех отдельных наблюдениях, на основании которых я в качестве *критериев* обсуждаемых различий выдвинул *психические функции*. Можно лишь в самом общем виде констатировать, что эти различия, насколь-

ко они стали мне понятными, заключаются в том, что, например, интроверт не обязательно медлит перед объектом и отступает от него; главное, что он поступает так во вполне определенных условиях. Причем во всех ситуациях он ведет себя не как любой другой интроверт, а своим, особенным способом. Крокодил бьет врага или добычу хвостом, лев — лапой, в которой заключена его сила. Точно так же и наша привычная реакция в норме осуществляется нашей сильной стороной, то есть за счет использования наших самых надежных и умелых функций (что, однако, не препятствует нам иногда реагировать и слабой стороной). Мы создаем или выбираем соответствующие ситуации и избегаем других, тем самым творя опыт, отличный от опыта других людей. Умный человек приспосабливается к миру за счет рассудка, а не как боксер-тяжеловес, но и такой умный человек может в приступе гнева пустить в ход кулаки. В борьбе за существование и адаптацию каждый человек инстинктивно использует *самую развитую функцию*, которая и становится критерием его привычной реакции.

Далее вопрос заключался в следующем: как охватить все эти функции общим понятием, чтобы их можно было вычленить из расплывчатого обилия индивидуальных событий? Грубое типизирование такого рода социальная жизнь создала уже давно в фигурах крестьянина, рабочего, художника, ученого, воина и т.д., в списках профессий и тому подобном. Но такое типизирование, по сути, не имеет никакого отношения к психологии, ибо, как с горечью заметил один известный ученый, оно свойственно также ученым, которых принято считать не более чем «интеллектуальными грузчиками».

Здесь имеются в виду довольно щепетильные моменты. Недостаточно, например, говорить об уме, ибо это слишком общее и расплывчатое понятие; разумным

можно назвать всякое поведение, которое определяется как гладкое, быстрое, полезное и целесообразное. Ум, как и глупость, не является функцией — это модальность; он никогда не сообщает «что», только «как». То же самое справедливо для моральных и эстетических критериев. Мы же должны обозначать то, что функционирует главным образом в привычных реакциях. Тем самым приходится обращаться к признакам, каковые могут показаться на первый взгляд устрашающими: речь о психологии способностей восемнадцатого столетия, об использовании уже существующих в обыденном языке понятий, которые доступны и понятны каждому. Когда я, например, употребляю слово «мышление», лишь философ не поймет, о чем идет речь, но ни один профан не найдет это слово непонятным для себя; дело в том, что мы ежедневно употребляем это слово и оно всегда обозначает приблизительно одно и то же, причем, разумеется, профан окажется в весьма затруднительном положении, если мы потребуем от него на месте дать недвусмысленное определение мышления. То же самое относится к «запоминанию» или «чувству». Насколько тяжело определять эти понятия научно, настолько же просто их понять и воспринять в обыденной речи. Язык является по большей части собранием наглядностей, вследствие чего слишком абстрактные понятия с трудом укореняются в нем и легко из него исчезают, имея мало общего с действительностью. Мышление и чувства при этом относятся к настолько навязчивой действительности, что каждый не слишком примитивный язык имеет слова для их обозначения. Мы можем быть уверены, что эти слова выражают вполне определенные психические факты, пускай те пока не получили научного определения. Каждый, например, знает, что такое сознание, хотя наука пока этого не выяснила, и никто не усомнится в том, что понятие «*сознание*» обозначает конкретный психический факт.

Так и вышло, что в качестве критериев отличия внутри установки одного типа я просто взял существующие в обыденном языке слова и обозначил ими соответствующие психические функции. Например, взял «мышление» в том смысле, как его понимают вообще, ибо мне было заметно, что одни люди думают несоразмерно больше других и при принятии важных решений придают мышлению большее значение. Свое мышление они используют для того, чтобы понять мир и приспособиться к нему, а применительно к себе обдумывают вообще все — заранее или задним числом, стараясь, по меньшей мере, согласовать ход событий с правилами. Другие же люди часто пренебрегают мышлением, принимая решения за счет эмоциональных факторов, то есть чувств. Они придерживаются «политики чувств», и нужна экстраординарная ситуация, чтобы заставить их думать. Эти последние находятся в значимом и зримом противостоянии с первыми; данная противоположность может выступить на передний план, когда такие люди становятся деловыми партнерами или супругами. При этом человек может предпочитать мышление в зависимости от того, является ли он интровертом или экстравертом. То есть он использует мышление способами, подходящими под установку типа.

Отнюдь не все имеющиеся отличия объясняются преобладанием одной или другой из этих функций. Я обозначаю как мыслительный или чувствующий тип людей, которые всегда имеют между собой то общее, что я могу охарактеризовать только словом «*рациональность*». Никто не станет спорить, что мышление по своей сути рационально; если же мы говорим о чувстве, то здесь возникает контрдовод, который я не хочу отметать с порога. Напротив, могу заверить, что как раз с чувствами пришлось изрядно поломать голову. Я не хочу перегружать свой доклад разнообразными учеными мнениями по поводу этого понятия, так что просто

вкратце изложу мое понимание предмета. Главная трудность заключается в том, что слово «чувство» может иметь самое разнообразное применение, в особенности в немецком языке. В меньшей степени это касается английского и французского языков. В первую очередь мы должны отделить это слово от «восприятия», которое обозначает мыслительную функцию. Также следует уяснить себе разницу между чувством сожаления и чувством (ощущением) перемены погоды — или предчувствием роста акций алюминиевой промышленности. Поэтому я решил в первом случае использовать слово «чувство», а во втором заменять его в психологии словом «ощущение», так как в данном случае речь идет об осмысленном опыте, или словом «интуиция», когда мы сталкиваемся с восприятием, которое без усилия или предположения нельзя свести к осознаваемому чувственному опыту. Я определил «ощущение» как восприятие за счет осознанной чувственной функции, а «интуицию» как восприятие через бессознательное.

Понятно, что оправданность этих определений можно обсуждать до второго пришествия, но вся дискуссия в конечном счете сведется к вопросу о том, следует ли одно известное животное называть бегемотом, гиппопотамом или как-либо еще; по сути, надо договориться о терминах — что мы подразумеваем под тем или иным понятием. Психология — непаханая целина, для которой только предстоит создать терминологический язык. Можно измерять температуру по шкалам Реомюра, Цельсия или Фаренгейта, но надо при этом сообщать, как именно в каждом конкретном случае ее измеряют.

Если коротко, я принимаю чувство как функцию души, отделяя его от восприятия или догадки (интуиции). Тот, кто в строгом смысле слова смешивает эти функции с чувством, может по вполне понятным причинам не признавать рациональность чувств. Тот же, кто разделяет эти понятия, не сможет уклониться от

признания того факта, что чувственные ценности и чувственные суждения, а также чувства вообще не просто разумны, но могут быть логичными, последовательными и взвешенными, подобно мышлению. Человеку мыслительного типа этот факт может показаться странным, но объяснение тут простое: в сравнении с дифференцированной мыслительной функцией функция чувства представляется менее развитой, более примитивной и смешанной с другими функциями, а именно, с функциями иррациональными, алогичными, то есть внеоценочными, конкретно — с восприятием и интуицией. Обе последние функции противостоят рациональным на основании, которое соответствует их глубинной сущности. Когда *думают*, то делают это преднамеренно, чтобы прийти к суждению или выводу, а когда *чувствуют*, то хотят получить верную оценку; ощущение и интуиция как функции восприятия нацелены именно на *восприятие* происходящего, а не на его значение или оценку. Их нельзя использовать для принципиального выбора, они лишь доступны происходящему. Материал для восприятия иррационален, ибо в нашем распоряжении нет умозаключений, которые позволили бы доказать, что вокруг Земли вращается столько-то планет или что существует столько-то таких-то видов теплокровных животных. Иррациональность — изъян мышления и чувства, рациональность же есть изъян восприятия и интуиции.

На свете немало людей, иррационально обосновывающих свои значимые привычные реакции, причем они объясняют те либо ощущением, либо интуицией, но не тем и другим одновременно, ибо ощущение противоположно интуиции, как мышление противоположно чувству. Если я хочу с помощью зрения и слуха установить, что фактически происходит в мире, то могу делать что угодно, кроме как предаваться игре во-

ображения и фантазиям, то есть интуиции, которая располагает для этого полной свободой. Поэтому вполне понятно, что чувствующий тип является антиподом типа интуитивного. К сожалению, время на выступление не позволяет углубиться в любопытные вариации, возникающие под влиянием экстравертных и интровертных установок.

Хотелось бы сказать еще несколько слов о закономерных следствиях, влекущих за собой предпочтение какой-либо функции. Известно, что человек не может быть постоянно одним и тем же и никогда не бывает цельным и совершенным. Он всегда развивает у себя известные качества, оставляя другие в небрежении. Совершенной полноты он не достигает никогда. Что в этом случае происходит с теми функциями, которыми он не пользуется осознанно в повседневной жизни, то есть не развивает их упражнением? Они остаются в более или менее примитивно-инфантильном, часто полуосознанном, иногда даже в совершенно неосознанном состоянии, тем самым формируя присущую каждому типу неполноценность, составную часть общей картины характера. Одностороннее предпочтение мышления всегда сопровождается неполноценностью чувства, а дифференцированное ощущение ослабляет интуитивные способности, и наоборот.

Является данная функция дифференцированной или нет, легко определить по ее силе, устойчивости, последовательности, надежности и приспособленности. При этом неполноценность какой-либо функции не всегда легко описать или распознать. Существенным критерием здесь является несамостоятельность и обусловленная этим зависимость от людей и обстоятельств, переменчивая чувствительность, ненадежность в применении, внушаемость и текучий характер. Неполноценная функция всегда означает подчинение,

ибо ею невозможно распоряжаться, а ее носитель становится, пожалуй, жертвой этой функции.

Поскольку я вынужден довольствоваться лишь кратким наброском основных идей психологической типологии, у меня, к сожалению, нет возможности углубиться в подробное описание отдельных психологических типов. Итогом моей работы в этой области стало установление существования двух типов установки: экстраверсии и интроверсии — и четырех функциональных типов: мыслительного, чувствующего, ощущающего и интуитивного, — которые варьируются в соответствии с общей установкой и образуют, таким образом, восемь вариантов.

Меня частенько спрашивали, почему я говорю именно о четырех функциях, а не о большем или меньшем их числе. То, что функций именно четыре, установлено прежде всего чисто эмпирическим путем. На достижение с использованием этих четырех функций известной полноты указывает следующее рассуждение. Ощущение устанавливает то, что имеет место в действительности. Мышление позволяет установить, что это имеющее место или происходящее может означать; чувство говорит нам, насколько оно ценно, а интуиция подсказывает возможные ответы на вопросы «откуда?» и «куда?» в отношении наблюдаемых нами явлений. Тем самым обеспечивается полноценная ориентация в окружающем мире, как обеспечивается точное знание географического местоположения с помощью широты и долготы. Эти четыре функции суть приблизительно то же, что четыре стороны света — они столь же произвольны и необходимы. Ничто не мешает нам сместить кардинальные точки на несколько градусов в ту или другую сторону или поменять сами стороны и дать им другие названия. Это вопрос общего согласия и понимания.

В заключение надо признать вот что: мне ни в коем случае не хотелось бы лишиться этого компаса на путях моих психологических открытий, не потому, конечно, что каждый влюбляется в свою идею, но в силу того объективного факта, что тем самым задается масштаб и система отсчета, без которых невозможна *критическая психология*, столь давно нами ожидаемая.

Структура психического[1]

Психическое[2] как отражение мира и человека есть явление, настолько безмерно сложное, что его возможно наблюдать и изучать с великого множества точек зрения. Оно ставит перед нами ту же проблему, что и само мироздание: поскольку систематическое изучение мира лежит вне пределов человеческих возможностей человека, нам приходится довольствоваться выявлением обыденных эмпирических правил и обращать

[1] Впервые опубликовано под названием «Die Erdbedingtheit der Psyche» («Обусловленность психического») в сборнике «Mensch und Erde» (под редакцией графа Германа Кайзерлинга, Дармштадт, 1927). Позднее часть работы превратилась в статью «Психическое и земля» (или «Душа и земля», см. том 10 полного собрания сочинений К. Г. Юнга). Настоящая статья, первая часть публикации 1927 г., была напечатана под названием «Die Struktur der Seele» в журнале «Europäische Revue» (IV, Berlin, 1928, выпуски 1 и 2), а позднее немного доработана и расширена для публикации в сборнике «Seelenprobleme der Gegenwart» («Проблемы души нашего времени», Цюрих, 1931).

[2] В названии статьи на немецком языке использовано слово «Seele» — буквально «душа», — но вследствие очевидной «метафизичности» последнего понятия в русском словоупотреблении было принято решение, исходя из контекста рассуждений автора, остановиться на термине «психическое». Отметим также, что в русском юнгианстве нет, насколько можно судить по опубликованным переводам работ Юнга, единого мнения по данному поводу: одни говорят о «психическом», другие — о «психе», третьи — о «душе». — *Примеч. пер.*

внимание лишь на то, что вызывает наш особый интерес. Каждый выбирает для себя некий собственный фрагмент мироздания и сооружает собственную, персональную систему, нередко возводя непроницаемые барьеры, так что спустя некоторое время начинает казаться, будто удается ухватить смысл и структуру целого. Но конечное никогда не будет в состоянии охватить бесконечное. Пусть мир психических явлений представляет собой всего-навсего часть мироздания как такового, может возникнуть впечатление, что именно поэтому психическое более познаваемо. Однако при этом упускается из вида то обстоятельство, что психическое — это единственный феномен, данный нам непосредственно, а следовательно, оно есть sine qua non всякого опыта.

Все, что мы воспринимаем непосредственно, — это осознаваемые элементы бытия. Утверждая подобное, я вовсе не пытаюсь свести «мироздание» к нашему о нем «представлению». Мою цель можно выразить иначе, например, в следующих словах: «Жизнь есть функция атома углерода». Эта аналогия обнажает пределы мировоззрения специалиста, и я неизбежно стану жертвой такого профессионального подхода, если попробую хоть как-то объяснить мир или только какую-то его часть.

Конечно же, я буду рассуждать с психологической точки зрения, как практикующий психотерапевт, которому надлежит отыскать кратчайший путь сквозь хаотическое нагромождение разнообразных психических состояний. Эта точка зрения по определению должна отличаться от взгляда психолога, изучающего на досуге, в тиши лаборатории, какой-либо изолированный психический процесс. Данное различие можно приблизительно сопоставить с различием между хирургом и гистологом. Также я мыслю по-другому, нежели метафизик, который полагает, будто обязан поведать, каков

«мир сам по себе», сообщить, абсолютно бытие или нет. Мой предмет изучения лежит целиком в области эмпирики.

Прежде всего мне требуется разбираться в неимоверно усложненных обстоятельствах бытия и научиться их описывать. Я должен уметь различать отдельные группы психических фактов. Это различение, в свою очередь, не подразумевает произвольного выбора, поскольку мне необходимо достичь взаимопонимания с моим пациентом. Потому я вынужден полагаться на простейшие схемы, удовлетворительно отображающие эмпирические факты и связанные, с другой стороны, с тем, что общеизвестно и в этом качестве является общепринятым.

Если мы поставим перед собой задачу классифицировать содержание сознания, то отталкиваться следует по традиции от положения: *Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu*[1].

Сознание как бы проникает в нас извне в форме *чувственного восприятия*. Мы видим, слышим, осязаем и обоняем мир, тем самым его осознавая. Чувственное восприятие сообщает нам о существовании чего-либо. Но оно не объясняет, что это такое. Объяснения мы получаем не через восприятие (перцепцию), а через апперцепцию, которая представляет собой структуру высокой степени сложности. Не то чтобы чувственное восприятие было чем-то простым, вот только его сложная природа скорее физиологического, нежели психического свойства. Тогда как применительно к апперцепции обоснованно говорить именно о психической сложности. Мы обнаруживаем ее во взаимодействии

---

[1] Нет ничего в разуме, чего бы не было ранее в чувствах (*лат.*). Тезис, восходящий к Аристотелю, основное положение сенсуализма (Д. Локк). Г. Лейбниц дополнил этот посыл комментарием — «кроме самого разума» (*nisi inlellectus ipse*). — *Примеч. пер.*

ряда психических процессов. Допустим, мы слышим некий своеобразный шум, источник которого нам неведом. Спустя некоторое время становится понятно, что этот своеобразный шум порожден пузырями воздуха в трубах батарей центрального отопления, то есть мы *опознали* шум. Это знание пришло к нам благодаря процессу, именуемому мышлением. Мышление подсказывает нам, *чем именно* конкретное *нечто* является.

Выше я назвал шум «своеобразным». Когда я называю что-либо «своеобразным», то имею в виду некоторое особое чувственное впечатление, присущее предмету или явлению. Это впечатление подразумевает *оценку происходящего*.

Сам *процесс распознавания* можно, в сущности, трактовать как сравнение и различение при помощи памяти. Например, если я вижу огонь, то световой раздражитель передает мне представление об «огне». Из-за наличия в моей памяти бесчисленного множества образов-воспоминаний об огне эти образы взаимодействуют с тем образом огня, который я только что получил, и процесс сравнения и различения с этими образами памяти порождает опознание; иначе говоря, в итоге я закрепляю в своем сознании своеобразие усвоенного образа. Этот процесс в обыденной речи называется *мышлением*.

Процесс *оценки происходящего* протекает иначе. Огонь, который я вижу, вызывает эмоциональные реакции приятного или неприятного свойства, а образы памяти, пробужденные этим раздражителем, также привносят сопутствующие эмоциональные характеристики, которые принято называть *чувственными впечатлениями*. Тем самым объект видится нам приятным, желанным, красивым или же неприятным, отвратительным, скверным и т.д. В обыденной речи этот процесс именуется *чувствованием*.

Интуитивный процесс (*Abnungsvorgang*) не тождественен ни чувственному восприятию, ни мышлению,

ни чувствованию, пусть обыденная речь в этом отношении выказывает достойную сожаления неразборчивость в определениях. Так, один человек может воскликнуть: «О, я уже вижу, как горит дом». Другой скажет: «Ясно, как дважды два, что случится беда, если начнется пожар». А третий заметит: «По моим ощущениям, этот пожар обернется катастрофой». В соответствии со своим темпераментом первый человек выражает интуицию как ясновидение, то есть опирается на чувственное восприятие; второй использует мышление («Стоит поразмыслить, и сразу станет понятно, каковы будут последствия»); третий же, поддавшись эмоциям, будет трактовать интуицию как чувствование. Но в моем представлении интуиция есть одна из основополагающих функций психического, а именно функция *восприятия возможностей, заключенных в ситуации*. Возможно, по причине недостаточного развития языка в немецком до сих пор имеется путаница между «чувством» (*gefühl*), «ощущением» (*empfindung*) и «интуицией» (*intuition*), тогда как во французском слова *sentiment* и *sensation*, а в английском — *feeling* и *sensation*, строго различаются между собой, хотя слова *sentiment* и *feeling* порой употребляются с дополнительным значением «интуиция». Впрочем, в последнее время слово *intuition* все чаще встречается в обиходной английской речи.

Кроме того, в качестве элементов сознания можно выделить *волевые* и *инстинктивные* процессы. Первые определяются как направленные побуждения, основанные на апперцепции, и находятся в распоряжении так называемой свободы воли. Вторые суть побуждения, проистекающие из бессознательного или порождаемые непосредственно телом; они характеризуются отсутствием свободы и принудительностью.

Процессы апперцепции могут быть *направленными* или *ненаправленными*. В первом случае мы говорим о «внимании», а во втором — о «фантазировании» или

«мечтании». Направленные процессы рациональны, ненаправленные процессы иррациональны. К ненаправленным процессам необходимо отнести (в качестве седьмой категории элементов сознания) также и сновидения. В некоторых отношениях сновидения подобны фантазиям наяву, поскольку носят ненаправленный иррациональный характер. Но они отличаются тем, что их причины, пути и цели первоначально неясны сознательному разуму. Тем не менее я отношу их к категориям элементов сознания, поскольку они суть важнейшие и наиболее очевидные результаты бессознательных психических процессов, упорно проникающих в сознание. Указанные семь категорий могут показаться, пожалуй, чересчур поверхностной структурой содержания сознания, но для наших целей этого достаточно.

Как известно, согласно некоторым взглядам все психическое должно сводиться исключительно к сознанию и с ним отождествляться. Думаю, что это не совсем верно. Допустив, что существует вообще что-либо вне нашего чувственного восприятия, мы вправе рассуждать о психических элементах, о существовании которых мы осведомлены лишь косвенным образом. Всякий, знакомый с психологией гипнотизма и сомнамбулизма, знает, что, пускай искусственно или болезненно ограниченное сознание такого типа не содержит ряда идей, оно все же проявляет себя так, как если бы их содержало. К примеру, пациент с истерической глухотой любил напевать. Однажды врач как бы мимоходом сел за рояль и сопроводил очередной куплет мелодией в другой тональности, на что пациент тут же стал напевать в этой новой тональности. Еще один пациент постоянно впадал в «истероидно-эпилептические» конвульсии при виде открытого огня. У него было заметно суженное поле зрения, то есть он страдал от периферической слепоты (говорят также о «тубулярном» поле зрения). Но стоило зажечь спичку в его слепой зоне,

как у него немедленно случался приступ, так, словно он видел пламя. В симптоматологии подобных состояний имеется бесчисленное множество случаев такого рода, и даже из самых благих побуждений нельзя утверждать, будто эти люди воспринимают, мыслят, ощущают, вспоминают, решают и поступают осознанно: нет, они ведут себя бессознательно, но именно так, бессознательно, делают все то, что прочие совершают осознанно. Эти процессы протекают независимо от того, замечает их сознание или нет.

К числу таких бессознательных психических процессов нужно также отнести не то чтобы целиком, но все же негативную по своему характеру композиционную деятельность (*komposition-sarbeit*), осуществляемую во сне. Конечно, сон — это состояние, при котором сознание в значительной степени вытесняется, однако психическое ни в коей мере не перестает существовать и действовать. Сознание попросту отступает и, поскольку не находит объектов, на которых могло бы сосредоточить свое внимание, впадает в состояние относительной бессознательности. При этом сама психическая жизнь, безусловно, продолжается, ведь и бессознательная психическая активность не замирает во время бодрствования. Доказательства этому найти нетрудно; так, Фрейд описывал эту обособленную зону нашего опыта в своей работе «Психопатология обыденной жизни». Он показал, что наши сознательные намерения и действия зачастую нарушаются бессознательными процессами, само существование которых нас непрестанно изумляет. Мы подвержены оговоркам и опискам, бессознательно делаем то, что выдает наши главные секреты, причем последние, бывает, неведомы и нам самим. Как гласит старинное изречение, *Lingua lapsa verum dicit*[1]. То же явление возможно продемонстрировать эксперименталь-

---

[1] Оговорки выдают правду (*лат.*). — *Примеч. ред.*

но посредством ассоциативных тестов, которые чрезвычайно полезны для выявления того, о чем люди не могут или не желают говорить вслух.

Но ярчайшие, классические примеры бессознательной психической активности обнаруживаются прежде всего в патологических состояниях. Почти вся симптоматика истерии, навязчивых неврозов, фобий, как и большинства случаев шизофрении (наиболее распространенного душевного расстройства), связана с бессознательной психической деятельностью. Поэтому вполне обоснованно говорить о существовании бессознательного психического. Оно недоступно нашему непосредственному наблюдению (иначе не было бы бессознательным), и о нем возможно судить лишь по косвенным признакам. Наши выводы не могут простираться далее догадки «как если бы...».

Итак, бессознательное есть часть психического. Можем ли мы теперь, по аналогии с различными элементами сознания, рассуждать об элементах бессознательного? Тем самым мы фактически предполагаем наличие иного сознания — сознания бессознательного. Не стану углубляться в этот щекотливый вопрос, поскольку уже обсуждал его в другой работе; ограничусь мыслями по поводу того, должны мы или нет проводить дифференциацию бессознательного. На этот вопрос возможно ответить только эмпирически, то есть встречным вопросом: а имеются ли некие весомые основания для подобной дифференцировки?

Нисколько не сомневаюсь в том, что всякая активность, обычно присущая сознанию, может продолжаться и в бессознательном. Известно множество случаев, когда интеллектуальная задача, неразрешимая наяву, успешно решалась во сне. Например, мне знаком опытный ревизор, который много дней подряд пытался распутать злонамеренное банкротство. В один из дней он засиделся за бумагами до полуночи и, не до-

бившись успеха, отправился спать. В три часа утра жена услышала, как он встал с постели и прошел в свой кабинет. Она тоже поднялась, навестила мужа и увидела, что тот усердно пишет за своим рабочим столом. Приблизительно через четверть часа он вернулся в спальню. Поутру он ничего не вспомнил — снова принялся за работу, но вдруг обнаружил ряд сделанных его собственной рукой записей, которые позволили немедленно распутать не дававший ему покоя клубок противоречий.

В своей практической работе я уже более двадцати лет имею дело со сновидениями. Снова и снова я становился свидетелем того, как мысли, которые не возникали сознательно, и чувства, не ощущавшиеся наяву, позже проявлялись в сновидениях и таким окольным путем достигали сознания. Сновидение как таковое, несомненно, есть элемент сознания, иначе оно не являлось бы объектом непосредственного восприятия. Но, поскольку оно содержит материал, ранее принадлежавший бессознательному, мы вынуждены признать, что этот материал в какой-то форме имел психическое существование в бессознательном состоянии, а в сновидении он стал доступен «остаткам» сознания. Сновидение относится к типовым элементам психического и может считаться следствием проникновения в сознание бессознательных процессов.

Что ж, если вследствие приведенных соображений мы поддадимся желанию допустить, будто все категории содержания сознания могут порой выступать и как бессознательные и воздействовать на сознательный разум, будучи бессознательными процессами, то неизбежно будем вынуждены задать себе вопрос: а свойственны ли бессознательному свои сновидения? Иными словами, существуют ли такие глубинные и — если это возможно — еще более бессознательные процессы, результаты которых проникают в темные области психи-

ческого? Пожалуй, стоило бы отринуть этот парадоксальный вопрос как откровенно авантюристический (*abenteuerlich*), не будь у нас реальных оснований, переносящих такую гипотезу в область возможного.

Для начала нужно установить, каковы должны быть доказательства того, что и бессознательному тоже свойственны сновидения. Если мы желаем доказать, что сновидения суть элементы сознания, надо всего лишь показать наличие ряда элементов, по своим качествам и характеру полностью отличных от прочих, которые рационально объяснимы и понятны. Но если мы захотим доказать, что и бессознательное «видит» сны, то нам придется трактовать его элементы сходным образом. Проще всего, полагаю, привести здесь пример из практики.

Пациент, двадцатисемилетний офицер, страдал от приступов сильной боли в области сердца и от ощущения удушья, словно в горле у него застрял комок. Кроме того, у него возникала колющая боль в левой пятке. Никаких органических нарушений у него не выявили. Приступы продолжались уже около двух месяцев, и пациента уволили с военной службы из-за того, что порой он терял способность ходить. Были испробованы разные методы лечения, но ни один не помог. Тщательное изучение истории болезни также не приблизило к разгадке, а сам пациент даже не подозревал о возможной причине своих страданий. Он производил впечатление человека веселого, пожалуй, даже легкомысленного, немного, быть может, грубоватого, и своим поведением словно дразнил окружающих: «Не вам с нами тягаться». Поскольку анамнез не содержал ничего полезного, я стал расспрашивать пациента о его сновидениях. Причина болезни открылась практически сразу. Непосредственно перед началом невроза девушка, в которую он был влюблен, отказала ему и обручилась с другим мужчиной. В беседе со мной он отмахивался от этой ис-

тории как от совершенного пустяка: «Глупая девчонка, если она так себя повела, я запросто найду другую. Мужчину вроде меня такие мелочи не трогают». Именно так он пытался избыть свое разочарование и свое горе. Но позднее эти аффекты вышли наружу. Боли в области сердца вскоре пропали, а после того как пациент несколько раз выплакался, бесследно сгинул и комок в горле. «Сердечная боль» — поэтическое выражение, но в данном случае оно воплотилась в реальности, поскольку гордость, по-видимому, не позволяла офицеру страдать от боли в душе. А «ком в горле», так называемый *globus hystericus*[1], образуется, как всем известно, из проглоченных слез. Сознание просто-напросто отстранило элементы, слишком для него мучительные, и те, предоставленные самим себе, теперь возвращались в сознание лишь опосредованно, как симптомы. Случай этого офицера вполне допускал рациональное объяснение и был совершенно понятен, причем ситуацию не составляло труда разрешить сознательно, когда бы не мужская гордость пациента.

Но мы забыли о третьем симптоме. Боль в пятке никуда не исчезла. Она никак не укладывалась в описанную выше картину, ведь сердце никоим образом не связано с пяткой и, разумеется, скорбь через пятки не выражают. С рациональной точки зрения нельзя было понять, почему в этом случае проявился третий симптом. Теоретически все должно было протекать так, что осознание вытесненной душевной боли привело к обычному человеческому горю, за чем последовало бы исцеление.

Поскольку я не мог полагаться на сознание пациента в качестве отправной точки пяточного симптома, мне пришлось вновь обратиться к проверенному спосо-

---

[1] Букв. «истерический комок» (*лат.*), ощущение инородного тела (реального или мнимого) в горле под воздействием аффекта. — *Примеч. пер.*

бу, то есть к анализу сновидений. Пациент сообщил, что как-то ему приснился сон, в котором он был *укушен змеей в пятку и мгновенно утратил способность двигаться*. Это сновидение наглядно подсказало толкование пяточного симптома. Пятка у пациента болела потому, что именно туда его ужалила змея. С таким странным содержанием нельзя работать рационально. Мы сразу догадались, отчего у него болит сердце, но боли в пятке превосходили всякие рациональные объяснения. Пациент сам пребывал в полной растерянности.

Здесь перед нами элемент, неким своеобразным способом проникший в бессознательное и, быть может, заимствовавший нечто из иного, более глубокого слоя, который нельзя измерить рационально. Ближайшей аналогией этому сновидению будет, несомненно, сам невроз. Своим отказом девушка нанесла пациенту рану, которая его парализовала и сказалась на его самочувствии. Дальнейший анализ сновидения высветил еще кое-что из предыстории заболевания, причем сам пациент осознал все это впервые. Он был любимчиком своей несколько истеричной матери. Она жалела сына, восхищалась им и так избаловала, что он никогда должным образом не успевал в школе, ибо вел себя слишком «по-девичьи». Позже он неожиданно изменился, сделался этаким мужланом и подался на военную службу, где ему удавалось прятать свою внутреннюю слабость за маской грубоватого повесы. То есть мать в известной степени его искалечила.

Очевидно, что мы имеем дело с тем самым змеем-искусителем, который выступал закадычным дружком Евы: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»[1]. Это библейский отголосок гораздо более древнего египет-

---

[1] Быт. 3:15.

ского гимна, который обычно декламировали или пели для исцеления от змеиного укуса:

Старость бога шевельнулась у него во рту
И заставила его плюнуть на землю,
И то, что он выплюнул, упало на поверхность земли.
Тогда Исида перемешала это своей рукой
С землей, которая там была,
Из этого она вылепила благородного червя
И сделала его похожим на копье.
Она не поместила его живого около своего лица,
А бросила его, свернувшегося, на тропу,
По которой великий бог имел обыкновение ходить
По своему желанию через свои две страны.
Благородный бог шел вперед в своем блеске,
Его сопровождали боги, те, которые служат фараону,
И он шел так, как делал это каждый день.
Тут благородный червь ужалил его...

<...>

Его челюсти стучали,
Все члены его тела дрожали,
И яд растекался по его телу,
Как Нил затопляет свою землю...[1]

Сознательное знакомство пациента с текстом Библии оставляло желать лучшего. Быть может, он когда-то слышал о змее, кусающей человека в пятку, но быстро забыл об этом. Однако нечто глубоко бессознательное в нем сохранило эту историю и вспомнило о ней при подходящих обстоятельствах. Данная часть бессознательного очевидно стремится выражать себя мифологи-

---

[1] Цит. по: *Erman*, Aegypten und aegyptisches Leben im Altertum, p. 360, (курсив автора). [Рус. пер. и источник цитаты — *Эрман А.* Жизнь в Древнем Египте / Перевод И. Петровской. М., 2008. — *Ред.*] [Адольф Эрман — знаменитый немецкий египтолог, основатель берлинской школы египтологии, одним из первых среди ученых своего времени попытался обобщить все накопленные к тому периоду сведения о Древнем Египте. — *Примеч. пер.*]

чески, поскольку такой способ выражения лучше всего соответствует ее натуре.

Но с каким именно складом ума сочетается символический или метафорический способ выражения? *Он соответствует ментальности первобытного человека*, в языке которого нет абстракций, есть лишь естественные и «неестественные» аналогии. Эта первобытная ментальность столь же чужда психическому, которое порождает сердечную боль и ком в горле, как бронтозавр чужд скаковой лошади. Сновидение о змее раскрывает нам эпизод психической активности, не имеющий ничего общего со сновидцем как современным человеком. Эта психическая активность ведется на каком-то более глубоком уровне, и только ее результаты проникают в слой выше, где находятся вытесненные аффекты, причем эти результаты чужды для них в той степени, в которой сновидение чуждо бодрствующему сознанию. Требуется некая разновидность аналитического метода для того, чтобы понять сновидение, и необходимы познания мифологии, чтобы ухватить значение содержания, порожденного глубинными слоями психического.

Разумеется, мотив змеи не может считаться индивидуальной особенностью сновидца, ведь сны о змеях широко распространены даже среди городских жителей, которые, возможно, никогда не видели живую змею.

Можно было бы возразить, что змея в сновидении есть не более чем конкретизация образного выражения речи. Ведь об отдельных женщинах говорят, что они лукавы, как змеи, лживы, как змеи, упоминают змея-искусителя и т.д. На мой взгляд, это возражение вряд ли применимо к данному случаю, но обосновать свое мнение строго я вряд ли смогу, потому что змея и вправду часто фигурирует в человеческой речи. Более надежное доказательство появится, только если мы сумеем отыскать такой пример, где мифологический символизм не

будет ни образным выражением, ни образчиком криптомнезии[1]; иначе говоря, нужно исключить всякую возможность того, что сновидец когда-то видел, слышал или читал о том, что составляет мотив сновидения, потом забыл, а затем бессознательно о нем вспомнил. Подобное доказательство видится мне чрезвычайно важным, поскольку оно означало бы, что рационально объяснимое бессознательное, состоящее из материала, вычеркнутого из сознания искусственно, есть как таковое лишь поверхностный слой, что под ним лежит абсолютное бессознательное, которое никак не связано с нашим личным опытом. Это абсолютное бессознательное тождественно психической деятельности, протекающей независимо от сознательного разума и независимой даже от верхних слоев бессознательного, незатронутой (быть может, не затрагиваемой) личным опытом. Это была бы надындивидуальная психическая деятельность, *коллективное бессознательное*, как я ее охарактеризовал, полностью отличная от поверхностного, относительного или личного бессознательного.

Прежде чем заняться поисками такого доказательства, я хотел бы, ради полноты изложения, сделать еще несколько замечаний по поводу сна о змее. Складывается впечатление, будто гипотетический глубинный слой бессознательного — то есть коллективное бессознательное, как я буду теперь его называть, — перевел личный опыт пациента в отношениях с женщинами в сновидение о змеином укусе и тем самым превратил его в общий мифологический мотив. Причина — вернее, цель — этого перевода на первый взгляд выглядит не совсем понятной. Но если вспомнить фундаментальный принцип, гласящий, что симптоматика болез-

[1] Разновидность парамнезии — расстройства памяти; при криптомнезии (букв. «тайное забывание») забывается или не выделяется источник полученной информации. — *Примеч. пер.*

ни одновременно есть естественная попытка исцеления (боль в области сердца, например, обозначает стремление вызвать эмоциональный всплеск), то и пяточный симптом надлежит рассматривать как своего рода попытку излечения. Из сновидения следует, что не только недавние разочарования в любви, но все более ранние разочарования, скажем, в школьные годы пациента, обретают посредством этого симптома признаки мифологического события, как если бы это могло каким-то образом помочь пациенту.

Все сказанное выше, наверное, может показаться совершенно неправдоподобным. Но древнеегипетские жрецы-целители, начитывавшие гимн змее-Исиде против змеиного укуса, вовсе не воспринимали эту теорию как невероятную; не они одни, но и весь мир верил, как до сих пор верят первобытные народы, в магию по аналогии — или в «симпатическую магию»

Здесь мы имеем дело с психологическим явлением, лежащим в основе магии по аналогии. Не следует видеть в этом древнее суеверие, которое мы давно переросли. Если внимательно перечитать латинский текст мессы, то глаз будет постоянно наталкиваться на знаменитое слово *sicut*[1], которое всегда подразумевает аналогию, обеспечивающую грядущую перемену. Другой замечательный пример аналогии — это разжигание огня в *Sabbatus sanctus*[2]. В былые времена огонь высекали из камня, еще раньше его добывали трением из дерева, и этот обряд был прерогативой храма. Поэтому в молитве священника говорится: «Deus, qui per Filium tuum, angularem scilicet lapidem, claritatis luae fidelibus ignem contulisti productum ex silice, nostris profuturum usibus, novum hunc ignem sanctifica» («Господь, чрез

---

[1] Подобно тому как (*лат.*). — *Примеч. ред.*

[2] Святая суббота (*лат.*), иначе Великая или Страстная суббота, литургический праздник, предшествующий Пасхе. — *Примеч. пер.*

Сына Своего, зовущегося краеугольным камнем, Ты принес огонь света Своего верующим, так освяти для нас впредь сей новый пламень, высеченный из камня»). Уподобляя Христа краеугольному камню, мы как бы возвышаем простой кремень до уровня самого Христа, разжигающего новый огонь.

Рационалист, возможно, посмеется над этим. Но что-то откликается у нас глубоко в душе, и это верно для миллионов мужчин и женщин христианской веры, пусть мы сами говорим разве что о чувстве прекрасного. То, что отзывается в нас, и есть та отдаленная основа, те «незапамятные» структуры человеческого разума, которые мы унаследовали из мутной глубины столетий.

При условии, что такое надындивидуальное психическое существует, все, что переводится на язык его зримых образов, деперсонализируется, а если оно снова становится осознанным, то воспринимается *sub specie aeternitatis*[1]. Это не моя личная скорбь, а скорбь мировая; не моя личная, обособляющая боль, но боль без горечи, объединяющая все человечество. Целительный эффект в этом случае не нуждается в доказательствах.

Впрочем, относительно фактического существования этой надындивидуальной психической деятельности я до сих пор не привел доводов, которые удовлетворяли бы всем требованиям. Теперь я попытаюсь это сделать, причем снова при помощи примера из практики. Пациент — мужчина тридцати лет, страдавший параноидной формой шизофрении. Он заболел в возрасте двадцати с небольшим лет. В его характере причудливо сочетались интеллект, упрямство и приверженность фантазиям. Служил он рядовым секретарем в одном консульстве. Видимо, желая восполнить свое предельно скромное существование, этот человек, одержимый

---

[1] С точки зрения вечности (*лат.*). — *Примеч. ред.*

мегаломанией, считал себя Спасителем. Он страдал частыми галлюцинациями и порою пребывал в состоянии сильного возбуждения. В периоды спокойствия ему разрешали без присмотра прогуливаться по больничному коридору. Однажды я застал его в коридоре, когда он смотрел из окна на солнце, щурился и как-то странно двигал головой из стороны в сторону. Он взял меня под руку и сказал, что хочет мне кое-что показать: мол, я должен посмотреть на солнце с закрытыми глазами, и тогда увижу солнечный фаллос. Если я буду двигать головой, солнечный фаллос тоже станет перемещаться, порождая ветер.

Это наблюдение относится приблизительно к 1906 году. В 1910 году, когда я занимался мифологическими изысканиями, мне попала в руки одна книга Дитериха[1], частичная обработка так называемого Парижского магического папируса; сам Дитерих полагал этот фрагмент литургией из митраистского культа. Текст содержал ряд предписаний, призывов и видений. Одно из видений излагалось в следующих словах: «И такова же так называемая труба, источник попутного ветра. Ибо узришь ты, как свисает с солнечного диска нечто, похожее на трубу. Тянется она к западным пределам, как если бы задувал непрерывно восточный ветер. Однако если должен возобладать ветер, дующий к востоку, то узришь ты, как все обратится в ту сторону»[2]. Греческое слово со значением «труба», αὐλὸς, обозначает дудку, а словосочетание αὐλὸς παχύς у Гомера — это «густая струя крови»[3]. По всей видимости, поток ветра устремляется через трубу или дудку прочь от солнца.

---

[1] См. примечание к работе «Значение конституции и наследственности для психологии» (абз. 228). — *Примеч. ред.*

[2] См.: Eine Mithrasliturgie, p. 8/7.

[3] Ср. в переводе В. Вересаева: «Мгновенно из носа густою струею // Хлынула кровь человечья». Одиссея, песнь XXII. — *Примеч. пер.*

Видение моего пациента от 1906 года и перевод греческого текста, опубликованный впервые в 1910 году[1], слишком разнесены по времени, чтобы всерьез рассуждать о криптомнезии пациента или о некоей передаче мыслей с моей стороны. Явный параллелизм обоих описаний при этом неоспорим, пускай мне могут возразить, что сходство здесь чисто случайное. Но при случайном совпадении следовало бы допустить, что данное видение никак не связано с аналогичными идеями и не имеет никакого внутреннего значения. Однако подобное допущение будет ошибочным, ведь на ряде средневековых изображений такая труба и вправду присутствует — как своего рода шланг, спускающийся с небес под одежды Девы Марии. Через него в образе голубя нисходит Святой Дух для оплодотворения непорочной Девы. Как мы знаем из чуда Пятидесятницы[2], Святой Дух первоначально представлялся в образе могучего, стремительного ветра — πνεῦμα, то есть ветра, который τό πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ («дует где хочет»)[3]. В латинском тексте читаем: «Animo descensus per orbem solis tribuitur» («Говорят, что дух нисходит по кругу солнца»). Такое воззрение получило распространение во всей позднеклассической и средневековой философии.

Посему я не нахожу ничего случайного в этих видениях; это всего-навсего проявление идей, существующих испокон века и способных обнаруживаться вновь и вновь в разнообразии умов и эпох. Их не следует смешивать с унаследованными идеями.

---

[1] Как Юнг узнал впоследствии, издание 1910 г. было в действительности вторым, а первая публикация работы Дитериха состоялась в 1903 г. Но пациента поместили в клинику за несколько лет до 1903 г. — *Примеч. ред. немецкого издания.*

[2] Сошествие Святого Духа на апостолов (Деян. 2:1-18); в русской традиции чаще говорят о празднике в этот день как о Троицыне или Духове дне. — *Примеч. пер.*

[3] Ин. 3:8. — *Примеч. ред.*

Я преднамеренно углубился в подробности этого клинического случая, дабы представить нагляднее ту глубинную психическую деятельность, которую я называю коллективным бессознательным. Суммируя сказанное, хочу отметить, что мы должны различать три психических уровня: 1) сознание, 2) личное бессознательное и 3) коллективное бессознательное. Личное бессознательное состоит, во-первых, из всех тех элементов, которые перестали осознаваться либо из-за того, что утратили свою интенсивность и забылись, либо вследствие отстраненности сознания (вытеснения), а во-вторых, из элементов, частично чувственных, которые никогда не обладали интенсивностью, достаточной для их осознания, но все-таки каким-то образом проникли в психическое. Коллективное же бессознательное как многовековое наследие возможностей представления не индивидуально; оно общее для всех людей и даже, возможно, для всех животных; оно составляет истинную основу индивидуальной психики.

Этот психический организм в целом подобен человеческому телу, которое при индивидуальных вариациях остается в сущностных чертах специфически человеческим телом, присущим всем людям. В его развитии и строении до сих пор сохранились элементы, которые связывают человека с беспозвоночными и в конечном счете с простейшими. Теоретически можно рассматривать возможность «очистки» коллективного бессознательного, слой за слоем, до тех пор, пока мы не дойдем до психологии червей или даже амеб.

Все согласны с тем, что совершенно невозможно понять живой организм вне его связи со средой обитания. Имеется бесчисленное множество биологических фактов, объяснением которых служит исключительно реакция на внешние условия: это, к примеру, слепота

Proteus anguinus[1], особенности кишечных паразитов, анатомия позвоночных, которые приспособились к жизни в воде.

То же самое справедливо и в отношении психического. Его особая организация также должна быть тесно взаимосвязана с условиями внешней среды. От сознания мы должны ожидать реакций и адаптации к среде, потому что оно является той частью психического, которая откликается преимущественно на текущие события. Но от коллективного бессознательного, этой вневременной и универсальной области психического, мы вправе ожидать реакций на самые общие условия, на константы психологического, физиологического или физического характера.

Коллективное бессознательное, насколько мы вообще можем что-либо о нем сказать, состоит из мифологических мотивов или примордиальных образов; вот почему мифы всех народов непосредственно выражают коллективное бессознательное. Вся мифология, по сути, есть своего рода проекция коллективного бессознательного. Наиболее ярко это проявляется в восприятии звездного неба, изначально хаотические формы которого были упорядочены в созвездия благодаря проекции образов. Так получают объяснения слова астрологов о влиянии звезд на человека: это бессознательное интроспективное восприятие деятельности коллективного бессознательного. Подобно тому как образы переносятся на звездное небо в облике созвездий, сказочные и легендарные фигуры проецируются на историю. Поэтому мы можем исследовать коллективное бессознательное двумя способами: либо через мифологию, либо через индивидуальный анализ. По-

---

[1] Европейский протей (*Proteus anguinus*) — хвостатая амфибия, обитающая в подземных озерах, слепая от рождения. — *Примеч. пер.*

скольку материалом, полученным вторым способом, у меня нет возможности поделиться здесь, я вынужден ограничиваться мифологией. Ее область настолько обширна, что придется выбрать всего несколько образцов. Условия окружающей среды тоже бесконечно разнообразны, и потому ниже мы обсудим лишь наиболее типичные из них.

Живое тело с присущими ему особенностями есть система функций для приспособления к условиям обитания, а в психическом должны существовать «органы», или функциональные системы, реагирующие на регулярные физические события. Я не имею в виду сенсорные функции, зависимые от органов чувств; скорее, это нечто наподобие психических параллелей регулярным физическим событиям. Так, например, ежедневный путь солнца и смена дня и ночи должны, наверное, отображаться в психическом в форме образа, запечатленного в незапамятные времена. Нельзя наглядно подтвердить наличие такого образа, но вместо него мы находим более или менее фантастические аналогии этого физического процесса. Каждое утро божественный герой рождается из моря и взбирается на солнечную колесницу. На западе его ожидает Великая Мать, которая пожирает героя вечером. В брюхе дракона он пересекает пучину полночного моря. После страшной битвы со змеем ночи он снова рождается утром.

Этот мифологический конгломерат (*mythenkonglomerat*) содержит, несомненно, отражение физического процесса. Это вообще-то настолько очевидно, что многие исследователи предполагают, будто первобытные люди придумывали такие мифы сугубо ради объяснения физических процессов. Можно не сомневаться в том, что естественные науки и натурфилософия появились из этого материнского лона, однако утвер-

ждать, что первобытные люди измышляли подобное только из потребности в объяснении мира, как этакие физические или астрономические теории, лично мне кажется изрядным преувеличением.

С уверенностью можно сказать о мифологических образах следующее: физический процесс запечатлелся в психическом вот в такой фантастической, искаженной форме и сохранился на века, а потому и сегодня бессознательное воспроизводит сходные образы. Напрашивается естественный вопрос: почему тогда психическое не фиксирует реальные физические процессы, почему оно придерживается фантастических представлений?

При попытке встать на точку зрения первобытного человека мы сразу поймем, почему дело обстоит именно так. Дикарь живет в такой *participation mistique*[1] с миром, как писал Леви-Брюль, что для него попросту не существует ничего похожего на абсолютное разграничение субъекта и объекта, свойственное нашим умам. Внешние события происходят и в нем самом, а то, что случается в нем, происходит и вовне. Мне выпало стать очевидцем одного поразительного случая такого рода, когда я гостил у элгонии[2], первобытного племени, обитающего на склонах горы Элгон в Восточной Африке. На заре они плевали себе на ладони и протягивали те к солнцу, когда светило поднималось из-за горизонта. «Мы довольны, что ночь прошла», — говорили они. Поскольку слово *athista* значит одновременно «солнце» и «Бог», я спросил у дикарей: «Солнце — это Бог?» Они ответили «нет» и рассмеялись, как если бы я произнес несусветную глупость. В тот миг солнце почти достигло наивысшей точки на небосклоне, и я показал на него

---

[1] Мистической сопричастности (*фр.*). — *Примеч. ред.*

[2] См. примечание к работе «О психической энергии» (абз. 129). — *Примеч. ред.*

и спросил: «Когда солнце здесь, вы говорите, что оно не Бог; но когда оно на востоке, вы говорите, что оно Бог. Как это может быть?» Растерянное молчание затянулось, но наконец старый вождь принялся объяснять: «Это так. Когда солнце находится вверху, оно не Бог; но когда оно встает, то это Бог (или: тогда оно Бог)». Для первобытного разума несущественно, какая из двух приведенных версий ответа правильна. Восход солнца и собственное ощущение сопричастности мгновению (*Erlösungsgefühl*) для первобытного человека являются сходным опытом божественного, и то же самое верно для наступления ночи и собственного страха перед нею. Разумеется, эмоции для дикаря важнее физики, вот почему он запечатлевает свои эмоциональные фантазии, а не что-либо еще. Для него ночь — это змеи и стылое дыхание духов, а утро означает рождение прекрасного Бога.

Известны мифологические теории, которые объясняют все на свете, отталкиваясь от солнца, и есть также лунарные теории, в которых источником всего выступает луна. Причина кроется в том простом факте, что существует бесчисленное множество мифов о луне, среди которых немало таких, где луна — жена солнца. Луна олицетворяет изменчивое восприятие ночи, а потому ее образ совмещается с первобытным сексуальным восприятием женщины, которая для него тоже воплощает собой ночь. А еще луна может быть обделенным братом[1] солнца, ведь заряженные аффектами злые мысли о власти и мести нарушают порой ночной сон. Сама луна тоже нарушает сон и служит пристанищем (*receptaculum*) душ умерших, ибо ночью мертвецы возвращаются в сновидениях, а призраки прошлого вселя-

[1] В ряде языков слово «луна» — мужского рода, и на этом гендерном качестве основано немалое число дошедших до нас мифов. — *Примеч. пер.*

ют ужас в сердца тех, кто не спит. Потому луна также связана с безумием (ср.: *lunacy* — «лунатизм»). Именно подобный опыт запечатлевается в психическом глубже, чем изменчивый образ самой луны.

Не бури, не гром с молнией, не ливень с тучами оседают в психическом в виде образов; их место занимают фантазии, вызванные аффектами, их сопровождающими. Однажды мне довелось пережить сильное землетрясение, и в первый миг почудилось, будто я стою не на твердой, хорошо знакомой почве, а на шкуре гигантского животного, которая поднимается и опускается под моими ногами. В моей памяти запечатлелся этот образ, а не физическое явление. Проклятия, бросаемые опустошительным бурям, и страх человека перед разбушевавшейся стихией — эти и подобные аффекты очеловечивают силы природы, так что сугубо физическая стихия превращается в разгневанного бога.

Сходны с внешними физическими условиями существования человека и физиологические состояния, секреция желез и т.д. тоже могут вызывать аффективно заряженные фантазии. Сексуальность предстает божеством плодородия, либо как похотливый и беспредельно сладострастный женоподобный демон, либо как дьявол с «дионисийскими» козлиными копытами[1], демонстрирующий непристойные жесты, либо как устрашающий змей, который душит жертв, свиваясь в кольцо.

Голод превращает пищу в богов. Некоторые мексиканские индейцы ежегодно устраивали праздники своим богам-плодам, давая тем отдохнуть, и во время этих праздников запрещалось употреблять в пищу привыч-

---

[1] Согласно античной мифологии, козлоногими были фавны и сатиры, составлявшие «дружину» бога Диониса. Также в формулировке автора (*mit dionysischen bocksbeinen*) можно усмотреть отсылку к «дионисийству» как творческому, плодородному началу жизни по Ф. Ницше. — *Примеч. пер.*

ную еду. Египетским фараонам поклонялись как пожирателям богов. Осирис, сын земли, был пшеницей, а гостию по сей день изготавливают из пшеничной муки, то есть надлежит съесть бога, как съедали Иакха, таинственное божество, на Элевсинских мистериях[1]. Бык Митры олицетворял и воплощал в себе все съедобное плодородие земли.

Психологические условия среды, вполне естественно, оставили аналогичные зримые следы в мифологии. Опасные ситуации, будь то угроза телу или душе, вызывали заряженные аффектами фантазии, а в той мере, в какой подобные ситуации склонны повторяться и воспроизводиться, они привели к возникновению *архетипов*, как я назвал мифологические мотивы вообще.

Драконы устраивают свои логовища у рек, чаще всего возле бродов или иных опасных переправ; джинны и прочие духи селятся в безводных пустынях или в чреватых гибелью ущельях; духи мертвых бродят по зловещим зарослям бамбукового леса; коварные никсы[2] и водяные змеи обитают в морских глубинах и в водоворотах. Могучие духи предков или боги воплощаются в выдающихся людях, беспощадная сила фетиша проявляется во всех чужаках или во всем экстраординарном. Болезнь и смерть не вызываются естественными причинами, всегда виноваты духи, ведьмы или колдуны. Само оружие, убившее человека, есть мана, наделенная необыкновенной силой.

А как же, спросят меня, обстоит дело с заурядными, повседневными событиями и с непосредственными

---

[1] Элевсинские мистерии — в античности обряды инициации в культах богинь плодородия Деметры и Персефоны. Иакх (возможно, одно из ритуальных имен Диониса как «сына» Деметры) — «обрядовое» божество этих мистерий. — *Примеч. пер.*

[2] В фольклоре северных народов Европы никсы — сверхъестественные существа, обитающие в водоемах; по преданиям, они часто обольщают юных девушек. — *Примеч. пер.*

реалиями жизни, такими как муж, жена, отец, мать, ребенок? Эти обыденные жизненные факты и отношения бесконечно повторяются и порождают наиболее сильные архетипы, неустанную деятельность которых можно по-прежнему наблюдать повсюду даже в нашу рационалистическую эпоху. Возьмем, к примеру, христианскую догматику. Троицу составляют Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух, который изображается в виде птицы Астарты[1] — голубя, который в раннехристианский период звался Софией, поскольку имел женскую природу. Почитание Марии в поздней церкви является очевидным замещением этого образа. Здесь мы сталкиваемся с архетипом семьи ἐν οὐρανίῳ τόπῳ — в «занебесной области», как выразился Платон[2]; архетип возводится на престол как воплощение глубочайшего таинства. Жених — это Христос, невеста — церковь, купель для крещения — лоно церкви, как она все еще называется в *Benedicto fontis*[3]. В святую воду добавляют соль и тем уподобляют ее околоплодной жидкости или морской воде. Иерогамия, или священный брак, празднуется на Великую субботу (*Sabbatus sanctus*) перед Пасхой, когда горящая свеча как фаллический символ трижды погружается в крестную купель, чтобы оплодотворить воду и наделить ее способностью заново рождать на свет крещеного младенца (*quasimodo genitus*[4]). Человек как мана, или знахарь, —

---

[1] Богиня любви и красоты в шумеро-аккадском пантеоне, покровительница героя Гильгамеша. — *Примеч. пер.*

[2] *Платон*. «Федр»: «Занебесную область не воспел никто из здешних поэтов, да никогда и не воспоет по достоинству. Она же вот какова (ведь надо наконец осмелиться сказать истину, особенно когда говоришь об истине): эту область занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души — уму; на нее-то и направлен истинный род знания» (перевод А. Егунова). — *Примеч. пер.*

[3] Здесь: в бенедиктинских текстах (*лат.*). — *Примеч. ред.*

[4] Как бы заново рожденного (*лат.*). — *Примеч. ред.*

это *pontifex maximus*[1], папа римский; церковь — *mater ecclesia*, *magna mater*[2] магической силы, а человечество — это беспомощные и нуждающиеся в милости дети.

Сохранение всего наследственного опыта человечества — столь богатого эмоциональными образами — применительно к фигурам отца, матери, ребенка, мужа и жены, к магической личности, к угрозам телу и душе возвело эту группу архетипов до уровня главнейших регулятивных принципов религиозной и даже политической жизни; так бессознательно было признано их грандиозное психическое могущество и власть.

Я обнаружил, что рациональное истолкование всего перечисленного нисколько не лишает архетипы ценности, наоборот, помогает не только ощутить их колоссальное значение, но и постичь его, хотя бы частично. Эти мощные проекции позволяют католику совместить с осязаемой действительностью значительную часть своего коллективного бессознательного. Ему не нужно искать авторитет, высшую силу, откровение, не нужно жаждать соединения с вечным и непреходящим. Все это уже ему доступно: в святая святых любого алтаря для него живет воплощение Господа. Удел поисков назначен протестанту и иудею; первый сам, так сказать, разрушил земное тело Божества, а второй ищет, но никак не может найти. Для обоих архетипы, ставшие в католическом мире зримой и живой реальностью, лежат в бессознательном. К сожалению, я не могу здесь углубляться далее в рассмотрение поразительных различий в отношении к бессознательному в нашей культуре, отмечу лишь, что этот вопрос — один из величайших среди тех, что стоят перед человечеством.

---

[1] Верховный понтифик (*лат.*), римские папы носят этот титул с 440 г. — *Примеч. пер.*

[2] Мать-церковь, великая мать (*лат.*). — *Примеч. ред.*

Почему так мгновенно становится понятным, если мы примем, что бессознательное как совокупность всех архетипов есть вместилище всякого человеческого опыта с отдаленнейших времен. Но это не мертвый запас, не заброшенные развалины, а живая система реакций и отношений, которая определяет жизнь индивидуума — исподволь, а потому намного более действенно. При этом бессознательное — вовсе не какой-то гигантский исторический предрассудок, не какое-то априорное историческое условие; это также источник инстинктов, ведь архетипы суть не что иное, как формы, принимаемые инстинктами. А жизненный источник инстинкта питает, в свою очередь, все творческое, и, следовательно, бессознательное не просто обусловлено исторически, но является главным источником творческого порыва. Оно подобно самой Природе, которая, безусловно, чрезвычайно консервативна, однако преодолевает собственную историческую обусловленность своими актами творения. Поэтому неудивительно, что человечество всегда задавалось насущным вопросом, как наилучшим образом адаптироваться к этим невидимым детерминантам. Если бы сознание никогда не отделялось от бессознательного — это неизменно повторяющееся событие символически выражают фигуры падших ангелов и истории о своевольных прародителях, — то данная проблема не возникала бы заодно с вопросом о приспособлении к внешним условиям.

Наличие индивидуального сознания позволяет человеку осознавать трудности внутренней и внешней жизни. Мир вокруг дружелюбен или враждебен для дикаря, который к нему присматривается, а влияние бессознательного воспринимается первобытным человеком как противостоящая сила, и с нею нужно искать примирения, как со зримым окружающим миром. Этой

цели служат бесчисленные магические действия и обряды. На более высокой ступени цивилизации той же цели служат религия и философия. Там, где та или иная система адаптации рушится, начинается общее беспокойство и предпринимаются попытки отыскать новые, более пригодные формы взаимоотношений с бессознательным.

Все это выглядит достаточно отдаленным для современного «просвещенного» взгляда. Когда я рассуждаю об этой далекой области разума, то есть о бессознательном, и сравниваю ее реальность с реальностью зримого мира, то часто сталкиваюсь с недоверчивыми усмешками. Поневоле хочется спросить: сколько людей в нашем цивилизованном мире по-прежнему верят в ману, духов и тому подобное, сколько миллионов человек увлечены «Христианской наукой» или спиритуализмом? Не стану множить этот перечень вопросов. Они призваны лишь проиллюстрировать тот факт, что проблема невидимых психических детерминант до сих пор ожидает своего разрешения.

Коллективное бессознательное содержит в себе все духовное наследие человеческой эволюции, возрождаемое в структуре мозга каждого индивидуума. Сознательный разум есть эфемерное явление, отвечающее за сиюминутные приспособления и ориентацию, отчего его функционирование будет справедливо сравнить с ориентировкой в пространстве. Бессознательное же является источником инстинктивных сил психического, форм и категорий, регулирующих этот процесс, то есть архетипов. Все самые важные идеи и представления человечества восходят к архетипам. В особенности это верно для религиозных представлений, но и основные понятия науки, философии и морали тоже не составляют исключений из этого правила. В своем нынешнем облике они выступают вариантами архети-

пических представлений, возникших посредством их сознательного применения и адаптации к действительности. Ведь функция сознания заключается не только в восприятии внешнего мира и препровождении оного через врата наших чувств, но и в переводе мира внутри нас в зримую реальность вокруг.

Душа и земля[1]

В такой постановке вопроса — «Душа и земля» — слышится нечто поэтическое. Можно непроизвольно расценить это высказывание как намек на «небесную обусловленность» души, вспомнив китайское учение о душе «шэнь-гуй»[2] — первая часть души принадлежит небу, а вторая земле. Поскольку мы, западные люди, ничего не знаем о субстанции души и не можем установить, что в ней имеет небесную, а что — земную природу, постольку мы должны довольствоваться двумя различными взглядами, или видимыми сторонами, того сложного явления, которое называем душой. Вместо того чтобы вести речь о небесной душе как о беспричинной творческой сущности, вместо того чтобы допустить существование души гуй, можно трактовать душу как возникающую из причинности сущность, обуслов-

[1] Доклад, прочитанный в Обществе свободной философии в Дармштадте, 1927 г. Опубликован как часть работы «Земная обусловленность души» в сборнике «Человек и земля» под редакцией графа Германа Кайзерлинга (Дармштадт, 1927); в извлечении под названием «Структура психического» в: «*Europäische Revue*» IV/1 и 2 (Берлин, 1928). Позднее текст статьи был поделен на работы «Структура психического» и «Душа и земля»; обе части опубликованы в: «*Seelenprobleme der Gegenwart*» (Цюрих, 1931). — *Примеч. ред.*

[2] Согласно китайской религиозной философии, душа человека состоит из нескольких духов; дух шэнь отвечает за жизнь, дух гуй — за смерть. — *Примеч. ред.*

ленную различными влияниями. В отношении нашей постановки вопроса последний взгляд был бы наиболее уместным: душа — это *возникающая из земных условий окружающего мира система адаптации*. Мне нет нужды особо подчеркивать, что такой взгляд с точки зрения причинно-следственных связей является односторонним, ибо, даже достигая своей цели, он позволяет правильно понять всего одну сторону души. Другая же сторона души, поскольку она не подлежит оценке при такой постанове вопроса, выпадает из рассмотрения.

Что касается предмета рассмотрения, а именно феномена души, то в этом отношении было бы полезно определить, что именно следует понимать под словом «душа». Согласно некоторым нынешним взглядам, «душевное», или «духовное», целиком относится к области сознания. Впрочем, нам едва ли удастся обойтись таким ограничением. Современная психопатология изобилует наблюдениями, согласно которым налицо душевная деятельность, аналогичная функциям сознания, но при этом неосознаваемая. Можно *неосознанно* воспринимать, думать, чувствовать, вспоминать, решать и действовать. Все то, что происходит в сознании, может в известных случаях происходить и без участия сознания. Как это становится возможным, можно наилучшим образом объяснить, если вообразить функции души и ее содержания в качестве ночного пейзажа, подсвеченного лучом фонаря. То, что мы видим в круге света, осознается; все остальное за пределами этого круга лежит во тьме, не осознаваясь, однако живет и действует. Если луч перемещается, то осознаваемое прежде содержание погружается в бессознательное, а в круг света попадают новые содержания. Исчезнувшие же во тьме содержания продолжают действовать дальше и проявляются косвенно, симптомами, так, как описывал Фрейд в «Психопатологии обыденной жизни». Бессознательные активности и торможения мы

можем достоверно выявить в опыте с помощью ассоциативных экспериментов.

Если брать в расчет опыт психопатологии, то душа предстанет перед нами этакой обширной областью так называемых психических явлений, которые частично осознаются, частично же остаются неосознаваемыми. Бессознательное расширение души, разумеется, недоступно непосредственному наблюдению — иначе оно не было бы бессознательным, — но может проявляться вследствие влияний, оказываемых на сознание происходящими в бессознательном процессами. Словом, наш вывод уже не может звучать так: «Это как если бы...»

Здесь я должен более подробно коснуться сущности и структуры бессознательного, иначе мне не удастся должным образом осветить вопрос о земной обусловленности души. При рассмотрении этого вопроса речь идет о началах и основаниях души, то есть о том, что с незапамятных времен погребено во тьме, а не о банальных фактах чувственного восприятия и осознанного приспособления к окружающему миру. Эти последние относятся к области психологии сознания, а я не хочу — как уже говорил — подменять душу сознанием. Душа — нечто более всеохватное, более темная область опыта, нежели ограниченное лучом света сознание. *Бессознательное также принадлежит психике.*

В «Структуре психического» я попытался дать общий взгляд на структуру бессознательного. Его содержание, *архетипы*, в известной мере выступает как скрытое основание осознаваемой души — или, если прибегнуть к другому сравнению, как корни, которые погружены не в землю, в узком смысле этого слова, а в мир вообще. Архетипы суть системы готовности, одновременно образы и эмоции. Они наследуются вместе с мозговыми структурами, психическими проявлениями которых являются. Отчасти они формируют сильнейшие инстинктивные предубеждения, отчасти же об-

разуют наиболее действенное подспорье способности к инстинктивному приспособлению. Это подлинно *хтоническая* часть психики — если в данном случае уместно такое выражение, — та часть, посредством которой душа связана с природой или, по меньшей мере, наиболее понятным образом связана с землей и миром. В этих первобытных, исконных образах наиболее отчетливо выступает душевное воздействие земли и ее законов.

Эта проблема не столько запутанная, сколько деликатная. При исследовании этого вопроса можно столкнуться с совершенно необычными трудностями, в первую очередь с тем фактом, что архетип и его функцию надо понимать, скорее, как фрагмент доисторической иррациональной психологии, нежели как рационально мыслимую систему. Здесь, как мне думается, позволительно следующее сравнение: пусть нужно описать и объяснить здание, верхний этаж которого был построен в девятнадцатом веке, первый этаж — в шестнадцатом столетии, а более тщательное исследования каменной кладки позволило утверждать, что все здание есть перестройка жилой башни одиннадцатого века. В подвале обнаружены следы римского фундамента, а еще ниже скрывается пещера, в верхних слоях дна которой обнаруживаются каменные орудия, а в нижних пластах — окаменевшие остатки соответствующей фауны. Такова приблизительно и структура нашей психики: мы живем на верхнем этаже и лишь смутно догадываемся о том, что нижний этаж несколько древнее верхнего. То, что лежит под поверхностью, является полностью неосознаваемым.

Это сравнение, конечно же, хромает, как хромает всякое сравнение; ибо в душе мы имеем дело не с мертвым реликтом, а с живым организмом, и наш верхний этаж, сознание, находится под постоянным влиянием живого фундамента, на который оно опирается. Здание

свободно возвышается над землей, а наше сознание, можно сказать, парит в воздухе, открывая широкий обзор. Чем ниже мы будем спускаться, тем уже начнет становиться горизонт, тем больше мы станем погружаться во мрак следующих уровней, пока не упремся наконец в каменный пол, оказавшись в том доисторическом времени, когда охотникам на оленей приходилось всеми силами отстаивать в борьбе с дикой и жестокой природой свое право на скудное и убогое существование. Те люди полностью находились под властью животных инстинктов, без которых их жизнь и само существование были совершенно невозможны. Неограниченная власть инстинкта несовместима с мощным и всеохватывающим сознанием. Сознание первобытного человека носит спорадический характер, как сознание ребенка, и его мир так же ограничен, как мир ребенка. В детстве, по филогенетическому закону, повторяется и воспроизводится предыстория расы и вообще рода человеческого. Филогенетически мы выросли из темной теснины земли. По этой причине ближайшие по времени факторы стали архетипами; именно эти исконные картины, праобразы, воздействуют на нас непосредственно и кажутся нам наиболее могущественными. Я говорю «кажутся», ибо то, что психически выглядит наиважнейшим, не обязательно является или, по меньшей мере, остается таковым в объективной реальности.

Каковы же относительно непосредственные архетипы? Этот вопрос ведет нас прямиком к проблеме архетипических функций — к нашему главному затруднению. Где искать на него ответ? С точки зрения ребенка, с точки зрения первобытного человека или с высоты нашего современного взрослого сознания? Как возможно распознать архетип? Кстати, а когда нас вообще вынудили искать спасение в этой гипотезе?

Я бы хотел предложить, чтобы *каждая психическая реакция, несоразмерная порождающей ее причине, была исследована на предмет того, что она одновременно обусловлена неким архетипом*[1].

То, что я имею в виду, мне хотелось бы пояснить примером: некий ребенок испытывает страх перед своей матерью. Когда мы удостоверяемся в том, что у этого страха нет никакого рационального обоснования, например, нечистой совести ребенка, властности матери или чего-то подобного, что в остальном ребенок не сталкивался ни с чем таким, что могло бы вызвать у него страх, логично рассматривать эту ситуацию с точки зрения воздействия архетипа. Обычно страхи усиливаются в ночное время и проявляются также в сновидениях. Во сне ребенок видит мать в образе преследующей его ведьмы. Осознаваемым материалом этого сна является сюжет сказки о Гензеле и Гретель. Многие высказывают мнение о том, что детям не надо рассказывать эту сказку, потому что, как считается, она может стать причиной детского страха. Это, конечно, ошибочная рационализация, но в ней все-таки есть доля истины, ибо мотив ведьмы является подходящим выражением детского страха, причем был таковым издавна. Детские ночные страхи — типичное явление, которое выражается — издревле и постоянно — в типовых сказочных мотивах и образах.

Между тем сказки суть инфантильные формы легенд, сказаний и суеверий «ночной религии» первобытных людей. То, что я называю «ночной религией», есть форма религиозной магии, цель и смысл которой состоят в контактах с темными силами, бесами, ведьмами, колдунами и духами. Детская сказка в силу филогенетических причин воспроизводит обрывки старой ночной религии, а дет-

[1] См. мою работу «Инстинкт и бессознательное». — *Примеч. авт.*

ский страх является слепком первобытной психологии, филогенетическим реликтом.

Тот факт, что этот реликт сохраняет известную жизнеспособность, ни в коем случае не может считаться патологией, поскольку отдельные ночные страхи во вполне цивилизованных условиях даже у взрослых людей, безусловно, не представляют собой признаки болезни. Только чрезмерное усиление или учащение ночных страхов может считаться патологией. Значит, вопрос заключается в следующем: при каких обстоятельствах усиливается эта боязливость? Можно ли усиление и умножение страхов объяснить одним сказочным архетипом ведьмы — или следует привлечь сюда другие обоснования для внятного объяснения?

Лишь для небольшого числа аномалий мы вправе считать архетип ответственным за формирование страха; как правило, особо острое, аномальное чувство страха должно вызываться специфическими причинами. Фрейд, как известно, объясняет этот страх столкновением склонности ребенка к инцесту с запретом инцеста. То есть он объясняет страхи с точки зрения ребенка. Наличие у детей «инцестуальных» склонностей в том смысле, в каком употреблял это определение Фрейд, не вызывает у меня ни малейших сомнений. Зато побуждает усомниться другое: можно ли приписывать эти склонности детской психологии *sui generis*[1]? Есть веские основания считать, что психика ребенка подчинена родительской, прежде всего материнской, в той мере, в какой психику ребенка можно рассматривать как функциональный довесок к психике родителей. Психическая индивидуальность ребенка развивается позже, лишь после того, как у него возникает надежная связность сознания. То, что ребенок сначала говорит о себе в третьем лице, служит, на мой

[1] Как таковой (*лат.*). — *Примеч. ред.*

взгляд, доказательством обезличенности его психологии.

По этой причине я склонен объяснять определенные инцестуальные склонности ребенка, скорее, исходя из психологии родителей (точно так же любые детские неврозы следует в первую очередь соотносить с родительской психологией). Наиболее частым основанием для усиления детского страха оказывается особая «одержимость комплексами», то есть вытеснение некоторых жизненных затруднений и их забвение. Все, что попадает в бессознательное, принимает более или менее архаическую форму. Если, например, мать вытесняет болезненный и возбуждающий страх комплекс, то она воспринимает его как злого духа, который ее преследует, — как «скелет в шкафу», по известному английскому выражению. Эта формулировка указывает на то, что комплекс принял архетипическую форму. Мать находится в угнетенном состоянии, ее мучают ночные кошмары. Независимо от того, рассказывает она ребенку на ночь страшные сказки или нет, своим настроением она заражает ребенка и за счет собственных психологических процессов оживляет архетипические страшные образы в душе ребенка. Возможно, она переживает эротические фантазии в отношении другого мужчины. Ребенок — зримое свидетельство ее супружеской связи. Сопротивление и неприятие этой связи бессознательно направляется на ребенка, которого мать склонна теперь отрицать. На архаической ступени это соответствует детоубийству. Таким образом, мать становится злой ведьмой, пожирающей своих детей.

Как и в матери, в ребенке чутко дремлют предпосылки архаических представлений, и та же причина, которая в течение всей истории человечества порождала архетипы и постоянно их воссоздавала, по сей день непрерывно оживляет издревле существующий архетип.

Отнюдь не случайно я выбрал именно пример детского проявления архетипа. Непосредственным прообразом тут будет, конечно, мать, во всех отношениях ближайшее и сильнейшее переживание, которое к тому же случается в возрасте наибольшей пластичности человеческой психики (в детском возрасте сознание вообще развито слабо, об индивидуальном переживании не может быть и речи): *мать* является архетипическим переживанием; оно переживается в более или менее бессознательном состоянии, не в виде определенной индивидуальной личности, но как мать, архетип, исполненный неслыханными потенциальными значениями. В дальнейшем в течение жизни это первоначальное представление бледнеет и заменяется осознанным, относительно индивидуализированным образом, о котором складывается мнение, что это единственный образ матери, имеющийся в наличии. В бессознательном, напротив, мать, как и прежде, предстает могущественным прообразом, который на протяжении индивидуальной сознательной жизни окрашивает и даже определяет отношение к женщине, к обществу, к идеальному и материальному, причем так тонко, что сознание, как правило, этого не замечает. Принято считать, что в данном случае речь идет о простых метафорах. Однако перед нами предельно конкретный факт, от которого зависит выбор жены — мужчина выбирает невесту в зависимости от того, похожа она или не похожа на его мать. «Мать Германия» для немца или «прекрасная Франция» для француза — основа политики, которую нельзя недооценивать; упускать ее из вида способны лишь высоколобые интеллектуалы, оторванные от действительности. Всеобъемлющее лоно матери-церкви в столь же малой степени является метафорой, как и мать-земля, мать-природа и «материя» вообще.

Архетип матери дан ребенку непосредственно. По мере развития сознания в поле зрения ребенка вступа-

ет отец, оживляя архетип, который во многих отношениях противостоит архетипу матери. Как материнский архетип соответствует определению китайского «инь», так архетип отца соответствует определению «ян». Этот архетип формирует отношение к мужчине, к закону и государству, разуму и интеллекту, к динамике природы. «Отчизна» — это границы, определенное местоположение, тогда как почва — материнская земля, дарящая покой и плодородная. Рейн — отец, как и Нил, как ветер, шторм и гром. Отец — деятель и авторитет, отсюда представление о законе и рейхе. Это движитель мироздания, как ветер, который невидимыми мыслями — воздушными образами — творит и направляет. Это творящее дыхание ветра — пневма, spiritus, атман[1], дух.

Иначе говоря, отец тоже воплощает могущественный архетип, живущий в душе ребенка. Это в первую очередь *Отец*, всеохватывающий образ Божества, динамический принцип. На протяжении жизни человека этот авторитарный образ тоже отступает на задний план: отец становится ограниченной, зачастую сугубо человеческой личностью. Напротив, душевный образ отца расширяется во всех возможных значениях. Человек только на сравнительно поздней стадии развития открыл для себя природу — и лишь постепенно открывает для себя закон, государство, долг, ответственность и дух. В той мере, в какой развивающееся сознание становится способным к распознаванию, важность родительских личностей сливается. Однако на место отца становится общество мужчин, а место матери занимает семья.

---

[1] Пневма и спиритус — мировой дух, соответственно, у гностиков и алхимиков; атман в древнеиндийской философии — неизменная духовная сущность, высшее «я» человека и прочих живых существ. — *Примеч. ред.*

На мой взгляд, неверно будет утверждать, что все, заступающее место родителей, есть замена неизбежной потери родительских прообразов. На самом деле это не просто замена, а уже связанная с родителями действительность, которая одновременно внедряет в душу ребенка родительский прообраз. Согревающая, защищающая, питающая мать олицетворяет также очаг, уютную пещеру или хижину в окружении растений. Мать — дающая пропитание пашня, а ее дитя — божественный хлеб, брат и друг человека. Мать — дающая молоко корова и стадо. Отец ходит где-то поблизости, говорит с другими мужчинами, охотится, путешествует, ведет войну, выплескивает наружу свое плохое настроение, из-за каких-то неясных, непонятных мыслей может, подобно штормовому ветру, внезапно все изменить, перевернуть положение дел. Он — борьба и оружие, он причина всех изменений, бык, который предается насильственным действиям или апатичной лени, образ всех полезных и вредных стихийных сил.

Все это очень рано открывается ребенку — отчасти за счет родителей, отчасти через них. Чем больше съеживается и очеловечивается родительский образ, тем явственнее выступает на передний план то, что ранее казалось чем-то несущественным, побочным. Земля, на которой ребенок играл, огонь, у которого он грелся, дождь и ветер, заставлявшие его мерзнуть, всегда были реальностью, но вследствие неразвитости и сумеречного состояния сознания виделись и понимались как родительские свойства. Теперь же, словно из туманной пелены, вещественные и динамические свойства земли становятся самостоятельными силами, что прятались до этого под маской родителей. Именно поэтому они — *не замена, а реальность, соответствующая более высокоразвитому сознанию.*

В ходе развития кое-что оказывается утраченным — невосполнимое ощущение непосредственной связи

и единства с родителями. Это не просто сентиментальное чувство, а важный психологический факт, который Леви-Брюль — в совершенно ином контексте — назвал «мистической сопричастностью». Факт, обозначаемый этим не очень понятным eo ipso (именно поэтому) выражением, играет немаловажную роль не только в первобытной, но и в нашей аналитической психологии. Этот факт — если говорить коротко — воплощает *единение в общем бессознательном*. Надо пояснить: если у двух человек одновременно формируется один и тот же бессознательный комплекс, возникает особый аффект, проекция, определяющая либо взаимное притяжение, либо отторжение. Если я заодно с каким-либо другим человеком не осознаю чего-то важного, то становлюсь частично тождественным тому человеку; следовательно, в его отношении возникает установка, которая возникла бы у меня в отношении комплекса, если бы я его осознавал.

Именно такая participation mystique существует между родителями и ребенком. Наиболее известный пример — теща, которая, отождествляя себя с дочерью, условно говоря, выходит замуж за зятя; или пример отца, желающего позаботиться о сыне, когда отец наивно принуждает отпрыска исполнять собственные желания — к примеру, в выборе профессии или жены. Сын, отождествляющий себя с отцом, тоже является достаточно распространенной фигурой. Однако наиболее тесная связь всегда имеет место между матерью и дочерью; эту связь порой можно надежно доказать с помощью ассоциативного эксперимента[1]. Хотя participation mystique остается неосознаваемой для самого участника, он очень хорошо чувствует, когда эта сопричастность исчезает. Существует известная разница между психологией мужчины, у которого отец жив, и психо-

[1] См. мою работу «Психоанализ и ассоциативный эксперимент». — *Примеч. авт.*

логией мужчины, отец которого умер. До тех пор, пока мистическая сопричастность родителей имеет место, образ жизни ребенка остается относительно инфантильным. За счет сопричастности жизненные мотивации могут не осознаваться, а потому человек не чувствует себя ответственным за них. Вследствие такой инфантильной неосознанности, бремя жизни становится (или кажется) легче. Человек не одинок, неосознанно он существует вдвоем или втроем. В бессознательном воображении сын находится в лоне матери под защитой отца. Отец возрождается в сыне. Мать омолодила отца, сделав его молодым супругом, и тем самым предотвратила потерю собственной молодости. Я не стану приводить доказательства из первобытной психологии. Думаю, здесь достаточно простого указания.

На фоне расширения и возвышения сознания все перечисленное постепенно пропадает. Дальнейшее растяжение родительского образа внешним миром, точнее, вторжение мира в детский туман, устраняет неосознаваемое единство с родителями. Этот процесс выводится в сознание у первобытных народов в ходе обрядов инициации или посвящения в мужчины. Тем самым архетип родителей отступает на задний план. Он, как говорят, больше не «складывается». Разумеется, в известной мере, participation mystique имеет место в отношении рода, общества, церкви или нации. Эта сопричастность, впрочем, есть всеобщее и обезличенное достояние, она не дает бессознательному простора для деятельности. Того, кто доверчиво хочет и впредь пребывать в бессознательном и безвредном восприятии действительности, закон и общество быстро пробуждают от спячки. С наступлением половой зрелости возникает возможность новой, *личностной* participation mystique, а вместе с нею появляется возможность замены утраченной, личностной части тождества с родителями. Складывается новый архетип — мужа для жены

и жены для мужа. Но обе эти фигуры прятались ранее под масками родительских образов, а теперь выступают вперед, разумеется, под сильным, подчас преобладающим влиянием прообразов. Женский архетип в мужчине я назвал *анимой*, а мужской архетип женщины — *анимусом*. Обоснования этих названий я коснусь ниже.

Чем сильнее неосознаваемое влияние родительских образов, тем в большей степени фигура любимого существа будет выбираться в качестве позитивной или негативной замены родителей[1]. Далеко идущее влияние родительских образов не аномально, это широко распространенное явление. Очень важно, что оно наличествует, ибо в противном случае родители не возрождались бы в детях, то есть родительский образ утрачивался бы, а непрерывная преемственность индивидуальной жизни прекращалась. Невозможно взять с собой детство во взрослую жизнь; следовательно, ощущение детства существует в душе неосознанно, что является наилучшей почвой для последующего развития неврозов. Так возникают все те заболевания, которым подвержены исторически новые сущности, будь то индивидуумы или социальные группы.

В известном смысле нормально, что в своих брачных предпочтениях люди следуют образцам родителей. Психологически это тоже важно, как важно и некоторое уменьшение числа предков для сохранения чистоты расы. Отсюда возникают непрерывность и преемственность, разумное продолжение жизни прошлого в настоящем. Нездоровыми видятся лишь излишества и скудость в этом отношении. Позитивное или негативное влияние сходства с родителями играет решающую роль в выборе объекта любви, а разрыв с родительским образом, то есть с детством, не бывает полным.

---

[1] См. мою статью «Отношение эго к бессознательному». — *Примеч. авт.*

Детство именно в силу исторической преемственности должно продолжаться, но не за счет остановки в развитии. Приблизительно в середине жизни гаснут последние огни детских иллюзий — разумеется, только в идеальной жизни, существующей лишь в интеллектуальных построениях (отдельные люди и в могилу сходят с обилием детских реликтов в голове), а из родительского образа проступает архетип взрослого человека, образ мужчины, каким его познает женщина с незапамятных времен, и образ женщины, который вечно носит в себе мужчина.

Имеется множество мужчин, которые в состоянии вплоть до мельчайших подробностей рассказать, как выглядит женщина, образ которой они носят в своих душах. При этом я встречал немногих женщин, которые бы могли изложить столь же отчетливый душевный образ мужчины. Как прообраз матери является собирательным образом всех матерей начиная с древнейших времен, так и образ анимы — это сверхиндивидуальный образ с перекрывающимися чертами в представлении многих, очень разных мужчин, в связи с чем из этих представлений можно реконструировать определенный тип женщины. Бросается в глаза, что у этого типа вообще отсутствует признак *материнского* в обычном смысле этого слова. В лучшем случае это спутница и подруга, в худшем же — распутная шлюха. Эти типы часто исчерпывающе описываются со всеми их человеческими и демоническими свойствами в фантастических романах, например, в произведениях Райдера Хаггарда «Она» и «Дочь мудрости» или в романе Бенуа «Атлантида»[1], фрагментарно в образе Елены во второй

[1] Романы английского писателя Р. Хаггарда, скорее, авантюрные, а вот роман француза П. Бенуа, после которого тема «возвращения атлантов» стала крайне популярной в массовой культуре, действительно можно назвать фантастическим. — *Примеч. ред.*

части «Фауста», а наиболее выразительно — в гностической легенде о Симоне Волхве, чья карикатура возникает уже в истории деяний апостолов. Симона Волхва в его странствиях повсюду сопровождала девушка по имени Елена, которую он увел из публичного дома в Тире, признав реинкарнацией Елены Троянской. Не могу знать наверняка, насколько осознанно Гете связал историю Елены и Фауста с легендой о Симоне. Эту связь мы находим в романе «Дочь мудрости», где, как мы уверены, осознанной преемственности образа не наблюдается.

Отсутствие обычных признаков материнства свидетельствует, с одной стороны, о полном разрыве с образом матери, а с другой стороны, об идее чисто индивидуального мужского отношения, в котором отсутствует умысел на размножение. На современной ступени культуры подавляющее большинство мужчин осознает материнскую значимость женщины, вследствие чего анима никогда не развивается выше инфантильно-примитивного представления о женщине как о блуднице. Отсюда следует, что проституция выступает прежде всего как побочный продукт цивилизованного брака. В легенде о Симоне и во второй части «Фауста» мы находим при этом символы полного взросления. Это взросление сходно с *взрослостью природы*. Христианские и буддийские монахи пытаются достичь того же самого, но умерщвление плоти, полубогини и богини заменяют здесь человеческую личность, которая могла бы принять на себя проекцию анимы.

Тут мы вступаем в абсолютно противоречивую область, куда мне сейчас не хотелось бы углубляться. Мы поступим разумно, если вернемся к более элементарным задачам и поговорим о том, как мы вообще пришли к мысли о существовании такого женского архетипа.

Пока архетип не проецируется, пока остается заключенным в предмете любви или ненависти, он не до

конца тождественен индивидууму и вынуждает последнего изображать себя. В таких обстоятельствах мужчина начинает представлять аниму. В нашем языке давно существует слово, которое прекрасно характеризует эту установку, — «одушевление»[1]. Толковать это слово лучше всего как «одержимость анимой». Речь в данном случае идет о необузданных эмоциях. Слово Animosität употребляют, разумеется, в смысле неприязненной эмоциональности, но на самом деле анима может опираться и на позитивные чувства[2].

Самообладание — типично мужской идеал. Оно достигается за счет вытеснения перепадов настроения. Чувствительность же — специфически женская добродетель; поскольку мужчина для достижения идеала мужественности подавляет в себе все женские черты, которыми он обладает так же, как женщина обладает чертами мужскими, постольку он вытесняет известные душевные движения как проявления женской слабости. Тем самым он накапливает в своем бессознательном женственность, сентиментальность, которые, когда мужчина раскрывается, выдают в нем присутствие женской сущности. Известно, что этим отличаются крайне мужественные мужчины, которые сильнее всего подавляют в себе женские чувства. Данным фактом можно объяснить, с одной стороны, значительное преобладание самоубийств среди мужчин, а с другой стороны, необычную силу духа и твердость, которые проявляют именно самые женственные женщины. Если мы тщательно исследуем несдерживаемые эмоции мужчин и попытаемся реконструировать вероятную личность, которая способна порождать такие эмоции, то, скорее всего, обнаружим женскую фигуру, каковую я и обозначаю как аниму. Отсюда древняя вера

---

[1] Animosität (*нем.*), букв. «душевность». — *Примеч. ред.*

[2] См. нашу с Р. Вильгельмом совместную работу «Тайна золотого цветка». — *Примеч. авт.*

о душе в женском роде — psyche или anima, а церковь в Средние века не без психологических оснований ставила вопрос: «Habet mulier animam?» («Есть ли у женщины душа?»)

У женщин мы сталкиваемся с противоположным явлением. Если у женщины прорывается анимус, то это не чувство, как у мужчин; женщина начинает спорить и резонерствовать. Чувство анимы является произвольным и подверженным перепадам настроения, а женские доводы видятся нелогичными и неразумными. Анимус всегда прав, за ним всегда остается последнее слово, а свои рассуждения он заканчивает утверждением «именно потому». Анима — иррациональное чувство, анимус же — иррациональное суждение.

Насколько подсказывает мой опыт, мужчина всегда лучше понимает, что подразумевает анима, даже подчас составляет себе отчетливый ее образ и способен среди большого числа женщин указать каждый раз ту, которая ближе всего подходит к его типу анимы. Однако лишь с немалым трудом я находил женщин, которые могли бы внятно изложить, что такое анимус, и не наблюдал ни одного случая, когда женщина могла бы указать на конкретную личность с таким анимусом. Отсюда я сделал вывод, что анимус, очевидно, не является определенной мыслимой личностью; иными словами, это не какая-то индивидуальность, а некое множество. Этот факт должен быть связан с особенностями мужской и женской психологии. На биологической ступени главный интерес женщины заключается в том, чтобы удержать одного мужчину, тогда как главный интерес мужчины состоит в том, чтобы завоевать женщину, но по своей природе мужчина редко довольствуется единичным завоеванием. Выходит, для женщины мужская личность играет решающую роль; отношение мужчины к женщине определено значительно меньше, то есть мужчина может видеть «свою»

женщину лишь как одну из многих других. Поэтому для мужчины важен юридический и социальный характер брака, в то время как женщина усматривает в нем исключительно личностные отношения. Как правило, сознание женщины замыкается на одном мужчине, а вот сознание мужчины обладает склонностью к расширению, выходящему за пределы личного, каковое в определенных обстоятельствах может стать для мужчины противным. В бессознательном мы, в таком случае, должны ожидать компенсации через противоположность. Получается, что относительно четко очерченная фигура анимы у мужчины наилучшим образом соответствует неопределенному полиморфизму анимуса у женщины.

Описание анимы и анимуса, предложенное мною, по необходимости коротко. Но я слишком бы увлекся своим описанием, трактуя аниму просто как прообраз женщины, возникающий, по сути, из иррационального чувства, а анимус — как прообраз мужчины, возникающий из понимания. Обе фигуры символизируют более широкую проблему, они суть праформы тех психических явлений, что с незапамятных времен обозначаются общим определением *душа* и выступают причиной человеческой потребности вообще говорить о душах или демонах.

Никакое автономное психическое образование не является ни безличным, ни объективным. Это категория сознания. Все автономные психические факторы носят личностный характер, будь то голоса, которые слышат душевнобольные, или медиумы, повелевающие духами, и мистики с их видениями. Аниме и анимусу тоже присущ личностный характер, который можно выразить только словом «душа».

Здесь я хотел бы предвосхитить возможное недопонимание. Понятие души, к которому я прибегаю, соответствует, скорее, первобытному воззрению, например

понятиям душ ба и ка[1] у древних египтян, а не христианской идее «души», каковая представляет собой попытку создать философское понятие о метафизической индивидуальной субстанции. С этим последним мое чисто феноменологическое понятие души не имеет ничего общего. Я не привлекаю к своим рассуждениям психологическую мистику, а лишь стремлюсь понять с научной точки зрения психологические прафеномены, лежащие в основаниях веры в душу.

Поскольку этот свод фактов об анимусе и аниме в наибольшей степени соответствует тому, что во все времена у всех народов описывалось как душа, постольку нет ничего удивительного в том, что оба эти комплекса насквозь пропитываются мистической атмосферой, едва мы подбираемся ближе к их содержанию. Там, где проецируется анима, тотчас возникает замечательное историческое чувство, которое Гете облек в такие слова: «Ах когда-то — как давно то было! — ты сестрой была мне иль женой»[2]. Райдер Хаггард и Бенуа отправляются в мысленное путешествие в Грецию или Египет, чтобы удовлетворить это неизбежное историческое чувство.

Примечательно, что анимус, насколько могу судить по моему опыту, лишен и налета этого мистического историзма. Можно, наверное, сказать, что анимус в большей степени занят настоящим или будущим. Он обладает, скорее, законодательной функцией, охотно вещает о том, каким все должно быть — или хотя бы задает некое понимание, не терпящее возражений, понимание всего смутного и противоречивого, тем самым как бы

---

[1] Согласно древнеегипетским воззрениям, душа ба — жизненная сущность в виде птицы с головой человека, совесть; душа ка — жизненная сила, черты характера или судьба человека; после смерти человека она покидает его тело, бродит по земле и вновь возвращается. — *Примеч. ред.*

[2] Шарлотте фон Штейн / Перевод В. Левика. — *Примеч. ред.*

вынуждая женщин отвергать всякое более обширное, возможно, слишком болезненное размышление.

Опять-таки я могу объяснить эту разницу только за счет компенсации противоположностей. Мужчина в своем сознании планирует все действия заранее и пытается творить будущее, но типично женской чертой является склонность ломать голову над тем, кто кому приходится двоюродной тетей. Именно эта женская склонность к генеалогии очень отчетливо выступает у Райдера Хаггарда с его чисто английской сентиментальностью, тогда как у Бенуа та же склонность приобретает пикантную нотку *chronique familiale et scandaleuse*[1]. Намеки на реинкарнацию в форме иррационального чувства очень прочно связаны с анимой, в то время как женщина то же чувство при известных условиях признает осознанно, если не чересчур подвержена мужскому рационализму.

Историческое чувство всегда обладает значимостью и фатальностью, а потому заставляет задумываться о бессмертии и божественности. Даже у рационального скептика Бенуа умершие от любви посредством особо действенного способа мумификации обретают вечность, не говоря уже о пылком мистицизме Райдера Хаггарда (роман «Возвращение Айши» вообще может считаться показательнейшим психологическим документом).

Так как анимус сам по себе не есть ни чувство, ни склонность, то описанные выше качества у него отсутствуют полностью, но по своей глубинной сути он все же является историческим. Для анимуса, к сожалению, не существует хороших литературных иллюстраций, так как женщины пишут реже мужчин, а когда пишут, то не прибегают, увы, к наивной интроспекции — по меньшей мере, предпочитают складывать результаты этой интроспекции, образно выражаясь, в другой ящик,

---

[1] Семейной скандальной хроники (*фр.*). — *Примеч. ред.*

потому, быть может, что с нею не связано никакое чувство. Мне известен всего один непредвзятый документ такого рода — роман Мэри Хэй[1] «Злой вертоград». В этой совершенно непритязательной истории исторический момент анимуса предстает в мастерски предъявленной оболочке (полагаю, это произошло непреднамеренно).

Анимус состоит из бессознательной предпосылки *незапланированного суждения*, существующей априорно. Наличие такого суждения можно вывести из того способа, каким сознание формирует установку на известные действия. Здесь следует привести небольшой пример: мать окружила своего сына всяческой заботой и страстно его лелеяла, но в результате сразу после пубертата мальчик превратился в невротика. Причина этой бессмысленной установки распознается очень легко. Уже первый анализ позволил выявить присутствие неосознаваемой догмы, которая гласила: мой сын — грядущий мессия. Это в высшей степени типический случай распространенного среди женщин героического архетипа, который проецируется на отца, мужа или сына в форме понятия, неосознанно руководящего поступками такой женщины. Прелестный и общеизвестный пример — это Анни Безант[2], открывшая миру спасителя.

В истории Мэри Хэй героиня доводит мужа до сумасшествия за счет своей установки, проистекающей из неосознанной и ни разу не высказанной вслух предпосылки, что он — отвратительный тиран, который держит ее словно в тюрьме, как... Это неоконченное «как» она уступает мужу, который отыскивает подходя-

---

[1] Британская писательница, автор «светских» романов. — *Примеч. ред.*

[2] Английская суфражистка-эзотерик, второй президент Теософского общества (после Г. С. Олкотта); спаситель — грядущий Мировой Учитель, новый Мессия. — *Примеч. ред.*

щую фигуру одного из тиранов эпохи чинквеченто[1] и на этой почве лишается рассудка. Здесь анимус ни в коем случае не лишен исторического характера. Но проявляется он в форме, разительно отличной от формы проявления анимы. Да и в религиозном выражении мера понимания преобладает над мерой чувства мужчины.

В заключение хочу добавить, что анима и анимус — не единственные автономные фигуры или «души» бессознательного. Зато они точно первые и важнейшие. Так как я, однако, хочу осветить еще одну сторону проблемы земной обусловленности, то, пожалуй, на сем мы оставим эту трудную область внутреннего опыта и обратимся к той стороне, где нам не придется мучительно копаться в темных основах, но где мы сможем взглянуть на широкий мир обыденных явлений.

Земная обусловленность в процессе развития сформировала человеческую душу, и мы вполне в состоянии здесь и сейчас, буквально на глазах, повторить этот процесс. Давайте мысленно перенесем значительную часть европейской расы на чуждую почву и в другой климат; так мы получим право ожидать, что эта группа людей, даже без смешения с чужой кровью, за несколько поколений претерпит известные изменения в своей психической, а возможно, и в физической природе. В первом приближении мы можем наблюдать заметные различия среди евреев в разных европейских странах, и различия эти можно объяснять свойствами народа-«хозяина». Нетрудно отличить испанских евреев от североафриканских, а немецких от русских. Можно даже провести различение среди русских евреев, например, между польскими и северно-русскими евреями, или евреями кавказского и казацкого типа. Несмотря на всю расовую схожесть, между ними существуют заметные различия, причина которых неясна. В высшей степени

[1] То есть в период Позднего Возрождения. — *Примеч. ред.*

непросто точно определить эти различия, хотя любой знаток людей чувствует их, что называется, «нутром».

Крупнейший эксперимент по перемещению народа в Новейшее время заключался в заселении Североамериканского континента преимущественно людьми германского происхождения. Так как климатические условия там отличаются от европейских, можно было бы ожидать разнообразных изменений исходного типа. Смешение с американскими индейцами фактически отсутствовало и не сыграло никакой роли в этом процессе. Боас[1] считает, что ему удалось доказать, будто уже у второго поколения переселенцев произошли анатомические изменения, главным образом изменения размеров черепа. Так или иначе, у переселенцев антропологического типа, характерного для янки, возникли черты столь характерные для американских индейцев, что я, будучи впервые на Среднем Западе и наблюдая поток сотен рабочих, что шли мимо меня из ворот фабрики, сказал своему спутнику — мол, никогда не думал, что у американцев так высок процент индейской крови. На это он со смехом ответил: готов спорить на что угодно, что в жилах всех этих сотен людей нет ни капли индейской крови. Это случилось много лет назад, когда я еще не имел представления о примечательной «индианизации» американского населения. Я ближе познакомился с этой тайной, когда занимался аналитической работой и обследовал множество американцев. Именно тогда выявились их достойные удивления отличия от европейцев.

Кроме того, мне бросилось в глаза сильное влияние негров, естественно, психологическое влияние, без смешения крови. Проявления эмоций у американцев, в первую очередь их смех, можно изучать по иллюстрированным приложениям к американским газетам; пра-

[1] Ф. Боас — американский этнограф и лингвист, один из основоположников современной антропологии. — *Примеч. ред.*

форму неподражаемого смеха Рузвельта можно обнаружить у американских негров. Своеобразная походка с расслаблением суставов или с покачиванием бедрами, характерная для многих американок, тоже заимствована у негров. Американская музыка главное свое вдохновение черпает у негров, как и танцы. Проявления религиозного чувства, *revival meetings* (*Holy Rollers* и прочие аномалии[1]), также находятся под сильным негритянским влиянием, а всем известную знаменитую американскую наивность, как в ее очаровательных, так и в менее приятных формах, можно сравнить с негритянской детскостью мышления. Характерный для большинства американцев необычайно живой темперамент, проявляющийся не только во время бейсбольных матчей, но в особенности в чрезмерно восторженных речевых оборотах — самым показательным примером тут будет непрерывный и безбрежный поток болтовни, примета американских газет, — едва ли можно считать наследием германских предков; скорее, он больше похож на *chattering* (болтовню) негритянских деревень. Почти полное отсутствие интимности и всеобщая массовая общительность напоминают первобытную жизнь в открытых хижинах при полном тождестве всех представителей племени. Мне показалось, что во всех американских домах все двери всегда стоят нараспашку, а в американских малых городках не найти садовых оград. Кажется, что там все вокруг — улица.

Разумеется, трудно с полной определенностью установить, что из перечисленного следует приписать сим-

[1] Revival meetings — букв. «встречи возрождения», принятые среди американских протестантов собрания для приема новых прихожан и призыва к грешникам раскаяться. Holy Rollers — букв. «святые скакуны», уничижительное обозначение участников протестантских собраний, которые в ходе церемоний пускались в пляс, потрясали конечностями и совершали иные судорожные движения. — *Примеч. ред.*

биозу с неграми, а что отнести на счет местных обстоятельств, — ведь Америка до сих пор остается pioneering nation (народом первопроходцев) на девственной территории. Но в общем и целом невозможно не заметить значимого влияния негров на народный характер.

Это «заражение» первобытностью можно с равным успехом наблюдать и в других странах, пусть не в той мере и в другой форме. Например, в Африке численность белых пренебрежимо мала в сравнении с численностью негров, и белое население вынуждено соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить так называемого going black (букв. «почернения». — *Ред*.). Если белые поддадутся негритянскому влиянию, они погибнут. В Америке же негры ввиду своей малочисленности оказывают не дегенеративное, но своеобразное влияние, которое в общих чертах ни в коем случае нельзя назвать неблагоприятным, если, конечно, не страдать джазофобией[1].

Примечательно то обстоятельство, что американцы практически ничего не заимствовали у индейцев. Упомянутое выше физиогномическое сходство вовсе не указывает на Африку, являясь специфически американским. Может быть, тело реагирует на Америку, а душа — на Африку? На этот вопрос могу ответить, что негры точно повлияли на внешние манеры американцев, но что касается души, здесь нужны дополнительные исследования.

Вполне естественно, что в сновидениях моих американских пациентов негр как выражение низменной стороны их души играет немалую роль. Европейцу в такой ситуации будут сниться бродяги или другие представители низших слоев общества. Но в подавляющем большинстве случаев сновидения, в особенности те,

[1] Работа написана в годы, когда джаз стремительно приобретал популярность, но все еще считался «недостойным» искусством. — *Примеч. ред.*

которые снятся в начале курса анализа, являются поверхностными. Только при дальнейшем развитии и углублении анализа в сновидениях появляются символы, состоящие в связи с индейцами. Очевидной склонностью бессознательного, иными словами, героическим мотивом выступает выбор индейца как символа. Так, на некоторых монетах Федерации[1] отчеканена голова индейца, что отражает уважительное отношение к прежде ненавидимому, а теперь умиротворенному индейцу. Одновременно голова выражает упомянутый выше выбор американцами индейца в качестве идеальной фигуры героического мотива. Понятно, что ни одному американскому правительству не пришло бы на ум поместить на монету профиль Кечвайо[2] или другого негритянского героя. Монархические государства всегда охотно чеканили на монетах профили августейших особ, а государства демократические любят другие символы. Один отличный пример американской героической фантазии я привел в моей книге «Символы трансформации», но могу привести еще десятки подобных примеров.

Герой всегда воплощает наивысшее и сильнейшее устремление — по меньшей мере, показывает, каким должно быть это устремление, которое хочется осуществить. Поэтому всегда важно, какая фантазия наполняет героический мотив. В американской героической фантазии главную роль играет индейский характер. Американское отношение к спорту выходит далеко за пределы европейской размеренности. Только индейские ритуалы инициации могут поспорить своей грубостью и жестокостью с беспощадными американскими спортивными тренировками. Именно этим обусловле-

---

[1] Имеется в виду монета Конфедеративных штатов Америки, или американского Юга. — *Примеч. ред.*

[2] Верховный правитель зулусов, предводитель своего народа в англо-зулусской войне 1879 г. — *Примеч. ред.*

ны поразительные достижения американского спорта. Во всем, чего американец хочет на самом деле, непременно обнаруживается индеец, будь то чрезвычайная сосредоточенность на цели, упорство при ее достижении, умение стойко переносить трудности или что-то еще. Здесь в полной силе выступают легендарные индейские добродетели[1].

Героический мотив имеет отношение не только к общей жизненной установке, но и к религиозной составляющей. Абсолютная установка всегда религиозна; в том же, в чем человек абсолютен, проявляется его религия. Работая с моими американскими пациентами, я обнаружил, что их героическая фигура характеризуется индейской, если угодно, религиозностью. Важнейшей фигурой индейской религиозной формы является шаман, врач и заклинатель духов. Первым, понемногу покоряющим Европу американским изобретением в этой области стал спиритизм, вторым — «Христианская наука»[2] и прочие разновидности «душевного исцеления». Суть «Христианской науки» состоит в произнесении заклинаний, уничтожающих демонов болезни; своенравное тело усмиряется соответствующими формулами, а соответствующая более высокому культурному уровню христианская религия используется для волшебного исцеления. Нищета духовного содержания ужасает, но «Христианская наука» живуча, обладает укорененной, поистине первобытной силой и совершает те чудеса, которых верующие напрасно ищут в официальной церкви.

Не существует в мире другой такой страны, где «волшебное слово», формула заклинания, называемая

---

[1] См. мою работу «О негритянском и индейском поведении». — *Примеч. авт.*

[2] Американское религиозное течение, ратует за духовное исцеление верующих посредством «пробуждения мышления». — *Примеч. ред.*

здесь «слоганом», оказывали бы такое мощное воздействие, как в Америке. Европеец смеется над этим, но забывает, что вера в волшебную силу слова сдвигает не только горы. Собственно, и Христос был словом. Эта психология стала нам чуждой. В американцах же она уцелела. Поэтому никто не знает, что еще совершит Америка.

Американец являет нам диковинный образ — образ европейца с негритянскими манерами и индейской душой. Он разделяет судьбу всех узурпаторов чужой земли. Некоторые австралийские аборигены утверждают, что невозможно присвоить чуждую почву, ибо на ней обитают духи чужих предков, поэтому новорожденные впитывают в себя именно это наследие. В этом поверье прячется великая психологическая истина. Чужая земля ассимилирует завоевателя. Правда, в отличие от латинских завоевателей[1] Центральной и Южной Америки североамериканцы с их упорным пуританизмом сохранили свой европейский уровень; но они не смогли воспрепятствовать тому, что души индейских врагов стали их душами. Девственная почва имеет то свойство, что, по крайней мере бессознательное завоевателя опускается на ступень автохтонного жителя. Таким образом, в американце налицо дистанция между сознательным и бессознательным, которой нет у европейца, налицо напряжение между осознаваемой высочайшей культурой и вопиющей неосознаваемой первобытностью. Это напряжение порождает психический потенциал, который сообщает американцу несокрушимую предприимчивость и завидный энтузиазм, чуждый Европе. Именно благодаря подчиненности духам наших предков, то есть тому факту, что для нас все происходящее обусловлено исторически, мы сохраняем контакт с нашим бес-

[1] То есть католиков — испанцев, французов и португальцев. — *Примеч. ред.*

сознательным, но этот контакт захватывает нас и в такой мере загоняет в историческую обусловленность, что потребуются грандиозные катастрофы, пока мы не соберемся с силами и не перестанем в политике вести себя так, как вели и пятьсот лет назад. Контакт с бессознательным приковывает нас к земле и делает малоподвижными и неповоротливыми; имея в виду желательные для нас развитие и подвижность, контакт с бессознательным не дает нам никаких преимуществ. Но мне не хотелось бы слишком плохо отзываться о нашем отношении к благой матери-земле. *Plurimi pertransibunt*[1], но тот, кто останется, приобретет долговечность и устойчивость. Отчуждение от бессознательного, отрыв от исторической обусловленности чреваты *лишением корней*. Эта опасность подстерегает завоевателя чужой земли; но она же угрожает и индивидууму, который в силу односторонней приверженности очередному «-изму» утрачивает связь с темным, материнским, исконно земным основанием своего существования.

---

[1] Многие придут и уйдут (*лат.*). — *Примеч. ред.*

Архаический человек[1]

Архаическим называют все первоначальное, исконное. Сказать что-то основополагающее о современном цивилизованном человеке — самая трудная, самая неблагодарная из всех мыслимых задач, ибо высказываются об этом те, кто ограничен теми же предпосылками и теми же предубеждениями, что и люди, о которых суждение высказывают. Однако, говоря об архаическом человеке, мы находимся в очевидно более благоприятном положении. Время отделило нас от его мира, мы превосходим его степенью духовной дифференциации и потому имеем возможность взглянуть на него самого, его разум и его мир с более высокой точки развития.

Фактически я уже задал предмету моего доклада определенное ограничение, без которого было бы невозможно набросать более или менее полный образ душевного облика архаического человека. Именно этим образом мне хотелось бы и ограничиться, в связи с чем я исключаю из моего рассмотрения антропологию первобытных людей[2]. Когда мы говорим о человеке вообще, то имеем в виду не его анатомию, форму черепа и цвет кожи, а в первую очередь его человечески-

---

[1] Доклад, прочитанный в читательском кружке Гёттингена в Цюрихе в октябре 1930 г. Переработанный вариант под тем же названием опубликован в: «*Seelenprobleme der Gegenwart*». — *Примеч. ред.*

[2] Имеется в виду физическая антропология. — *Примеч. ред.*

душевный мир, сознание и образ жизни. Это и есть предмет психологии. Следовательно, мы сейчас займемся архаической или, иными словами, первобытной психологией. Несмотря на такое ограничение, мы тем самым расширяем нашу тему, ибо архаическая психология — это не только психология первобытных людей, но также психология современного цивилизованного человека; не только ее атавистические проявления у отдельных индивидуумов в современном обществе, но в большей степени психология каждого современного человека, который, независимо от возвышенности сознания, в глубочайших слоях своей психики все еще является человеком архаическим. Как наше физическое тело есть тело млекопитающего животного, в котором в полной мере проявляется целый ряд реликтовых признаков более раннего холоднокровного состояния, так и наша душа есть плод развития: если проследить до первоначал ее историю, мы обнаружим в ее нынешнем состоянии бесчисленные архаизмы.

Впрочем, признаю, что при первом столкновении с первобытным человеком или когда изучаешь научные труды по первобытной психологии возникает неподдельное ощущение странности и необычности архаичного человека. Леви-Брюль[1], признанный авторитет в области первобытной психологии, без устали подчеркивает это разительное отличие état prélogique (дологического состояния) от нашего современного сознания. Ему как человеку цивилизованному представляется поистине непостижимым тот факт, что первобытный человек умудряется не замечать очевидных результатов опыта и, прибегая к прямому отрицанию осязаемых причин, считает свои représentations collectives (коллек-

[1] Л. Леви-Брюль — французский философ и этнолог, выдвинул теорию «дологического» первобытного мышления. — *Примеч. ред.*

тивные представления) само собой разумеющейся данностью, вместо того чтобы объяснить их случайностью или какими-либо разумными причинами. Под représentations collectives Леви-Брюль понимает распространенные всеобщие идеи, имеющие характер априорной истины, такие, например, как духи, колдовство, искусство исцеления и т.д. Скажем, тот факт, что люди умирают от старости или от смертельных, по общему признанию, болезней, является для нас само собой разумеющимся, а для первобытного человека — нет. Ни один человек не умирает от старости: дикарь резонно возражает, что некоторые люди доживают до весьма почтенного возраста. Ни один человек не умирает от какой-либо болезни, ибо вот такие-то и такие-то от этой болезни либо выздоровели, либо вообще ею не заболели. Истинной причиной для него всегда выступает магия. Человека убивает либо дух, либо волшебство. Многие вообще считают естественной только смерть в бою. Другие, правда, признают и эту смерть искусственной, ибо противник оказывается колдуном или пользуется заколдованным оружием. В ряде случаев эта гротескная идея принимает крайне своеобразную, даже вычурную форму. Как-то один европеец застрелил крокодила, в желудке которого обнаружили два ножных браслета. Туземцы сразу поняли, что эти браслеты принадлежали двум женщинам, которых сожрал крокодил. Тотчас поднялся крик о колдовстве, и этот, вполне объяснимый с точки зрения европейца несчастный случай, за счет первобытных представлений («коллективных представлений», по Леви-Брюлю), получил совершенно неожиданное объяснение: будто бы какой-то неизвестный колдун позвал к себе крокодила и попросил поймать этих двух женщин и доставить ему, и будто бы крокодил эту просьбу выполнил. Но как быть с двумя ножными браслетами в желудке крокодила? Аборигены объяснили, что крокодилы не едят людей, если их об

этом не просят. Браслеты крокодил получил от колдуна как вознаграждение за поимку женщин.

Этот ценный и показательный случай является наглядным образчиком произвольности объяснения в рамках état prélogique — видимо, потому, что нам это объяснение представляется абсурдно алогичным. Но мы считаем его таковым лишь потому, что в своих суждениях исходим из совершенно иных предпосылок, нежели первобытные люди. Если бы мы, подобно первобытному человеку, были искренне убеждены в истинности существования колдунов и других таинственных сил (как убеждены в существовании так называемых естественных причин), то такая последовательность причин и следствий виделась бы нам совершенно логичной. По сути, первобытный человек не более и не менее логичен, нежели мы сами. У него просто иные предпосылки. В этом и кроется все отличие. Первобытный человек мыслит и живет, опираясь на иную систему ценностей. Все, что происходит не вписываясь в привычный порядок вещей, все, что поэтому беспокоит, пугает или удивляет, сводится для первобытного человека к области явлений, которые мы сегодня признаем сверхъестественными. Причем для него в этом нет ничего сверхъестественного, это обыденность чувственно воспринимаемого мира. Для нас, к примеру, естественным будет следующее объяснение: дом сгорел, потому что в него ударила молния и подожгла. Для первобытного человека столь же естественно будет сказать: колдун воспользовался молнией для того, чтобы поджечь именно этот дом. Таким образом, в мире первобытного человека не существует ничего, что, будучи в известной мере необычным или поразительным, не имело бы тех или иных принципиально сходных объяснений. Однако поступает он в точности как мы — не анализирует свои предпосылки. Для него априори ясно, что болезни и другие бедствия обусловлены влиянием

духов или колдовством, а нам с самого начала понятно, что болезнь имеет так называемую естественную причину. Мы столь же мало помышляем о колдовстве, как он — о естественных причинах. Его духовная работа, в себе и для себя, принципиально ничем не отличается от нашей. Различие, как я уже говорил, состоит исключительно в предпосылках.

Высказывалось предположение, будто первобытным людям присущи другие чувства и другая мораль, так сказать, в известной мере, другая душа, иной нрав. То есть что их мораль принципиально отличается от нашей. Один негритянский вождь, когда его спросили о разнице между добром и злом, ответил: когда я отнимаю у врага его жен, это благо, а когда он похищает жен у меня — это зло. Во многих местах наступить на тень человека — значит смертельно его оскорбить; еще, например, непростительным грехом будет снимать шкуру с тюленя железным, а не кремневым ножом. Но давайте проявим честность: разве у нас не считается грехом есть рыбу с помощью ножа? Или находиться в помещении в головном уборе? Здороваться с дамой, не вынув сигару изо рта? Словом, среди нас, как и у первобытных дикарей, многое признается несовместимым с этическими правилами. Существуют храбрые и верные охотники за головами, а также те, кто благочестиво и добросовестно исполняет жестокие ритуалы, совершает убийства из самых святых убеждений; все, чем мы восхищаемся в верности этическим позициям, имеет место и у первобытных людей. Добро для них такое же благо, как и для нас, а зло ничуть не лучше нашего зла. Иными являются только формы, но этические функции неизменны.

Высказывалось также мнение, согласно которому чувства первобытного человека острее наших и вообще отличаются. Это лишь профессиональное отличие ощущения места, а также слуха и зрения. Если дикарь стал-

кивается с чем-то, что выходит за пределы привычного восприятия, он становится на удивление медлительным и неуклюжим. Я показывал прирожденным охотникам, обладавшим орлиным зрением, иллюстрированные журналы, в которых у нас каждый ребенок тотчас распознает изображения человеческих фигур. Мои охотники равнодушно листали страницы, пока наконец один из них, проведя пальцем, вдруг не воскликнул: «Это же белые люди!» Данному открытию он от души, как младенец, обрадовался.

Часто мнящаяся неправдоподобной способность первобытного человека чувствовать свое местонахождение является, по существу, профессиональной и объясняется абсолютной необходимостью правильно ориентироваться в диких лесах и саваннах. Даже европеец после недолгого пребывания в таких условиях — из страха заблудиться, несмотря на компас — начинает обращать внимание на приметы, о которых ранее не помышлял даже во сне.

Нет никаких данных о том, что первобытный человек мыслит, чувствует или воспринимает мир иначе, чем мы. Душевные функции у него, в сущности, точно такие же, однако картина мира отличается кардинально. При этом относительно небольшое значение имеет то, что объем его сознания кажется меньше нашего или что он плохо умеет (если вообще умеет) сосредоточиваться на духовной деятельности. Разумеется, последнее представляется европейцу странным. Так, я никогда не мог продолжать беседы с дикарями дольше двух часов, по истечении этого времени люди признавались, что страшно устали. Такой продолжительный разговор был для них слишком утомительным, хотя велся в непринужденной обстановке и я задавал простейшие вопросы. Однако те же люди на охоте или в длительных пеших переходах выказывали удивительную концентрацию внимания и невероятную выносливость. Например, мой

рассыльный мог без отдыха пробежать отрезок пути в 120 километров; я видел женщину на шестом месяце беременности, которая с маленьким ребенком на спине, покуривая трубку, почти всю ночь при 34 градусах Цельсия плясала у пылающего костра, не демонстрируя ни малейших признаков утомления. Значит, первобытным людям нельзя отказать в способности сосредоточивать внимание: они применяют ее выборочно, к тому, что их действительно интересует. Мы сами, когда вынуждены сосредоточиваться на чем-то скучном, очень скоро замечаем, сколь мала наша способность к концентрации внимания. То есть мы зависим от эмоциональных побуждений не в меньшей степени, чем первобытные люди.

Несомненно, что люди первобытные воспринимают мир проще и более по-детски, чем мы, — как добро, так и зло. Но это нисколько не удивляет. Соприкасаясь с миром архаического человека, мы видим в нем иную чудовищную странность. Насколько мне удалось проанализировать свои ощущения, главная странность заключается в том, что картина мира архаичного человека по самой своей сути отличается от нашей, то есть, иными словами, первобытный человек живет в другом мире, не совпадающем с нашим. В итоге его душа кажется неразрешимой загадкой до тех пор, пока мы не увидим мир его глазами. Если это удается, все заметно упрощается. Точно так же мы можем утверждать, что, осознав собственную картину мира, мы сразу перестанем видеть в первобытном человеке загадку.

Наша главная рациональная предпосылка заключается в том, что все на свете имеет свои естественные, материальные причины. В этом мы убеждены априори. Причинность в таком смысле является одной из наших священных догм. В нашем мире нет законного места для невидимых, произвольных и так называемых сверхъестественных сил; тем не менее, мы

вслед за современными физиками опускаемся в темный и тесный мир внутренностей атома, где, по представлениям науки, происходит нечто странное. Однако эта область от нас очень далека. Мы настроены откровенно враждебно в отношении незримых произвольных сил; ибо совсем недавно сумели покинуть тот исполненный страха мир сновидений и суеверий и воздвигли остов, достойный нашего рационального сознания, сознания юного и вновь сотворенного человека. Нас окружает космос, подчиняющийся разумным законам. Несмотря на то, что не все причины всех явлений нам известны, они неизбежно будут открыты и, несомненно, станут соответствовать нашим разумным ожиданиям. Такова наша не подвергаемая сомнению надежда. Конечно, бывают случайности, но это именно случайности, и мы нисколько не сомневаемся в их безусловной причинности. Случайности противны любящему порядок сознанию. Они смехотворно и потому досадно нарушают закономерный ход мировых событий. Мы возмущаемся случайностями точно так же, как негодуем на незримые произвольные силы. Случайности слишком сильно напоминают нам пресловутых бесов — или самоволие бога из машины. Это злейшие враги наших тщательных расчетов, они несут постоянную угрозу всем нашим предприятиям и начинаниям. Они, как признается, неразумны, заслуживают всяческого порицания, но нельзя не обращать на них внимания. Араб в этом отношении более уважителен. В каждом письме он пишет: «Иншалла», — подразумевая, что, если Богу будет угодно, письмо дойдет до адресата. Вопреки всякому возмущению, всем обидам, всей нерушимости физических законов, мы всегда и всюду подвержены действию непредвиденных случайностей. Но что может быть более невидимым и непроизвольным, нежели случайность? Что может быть неизбежнее и фатальнее?

Мы могли бы — с чем все согласны — с тем же успехом сказать: закономерность, причинное течение событий — это теория, которая соблюдается лишь на пятьдесят процентов, а остальные пятьдесят процентов приходятся на волю демонического случая. Несомненно, однако, что и случайности имеют вполне естественные причины, банальность которых мы, к великому сожалению, открываем слишком часто. Но мы в этих случаях охотно пренебрегаем причинностью, ибо самое раздражающее в случайности есть нечто совершенно другое; а именно то, что она необходимо происходит здесь и сейчас, иными словами, что она, так сказать, произвольна. По крайней мере, действует она именно так, и при известных обстоятельствах ее проклинает и самый прожженный рационалист. Предпочтительное толкование случайности ни в коей мере не отменяет факта ее власти и могущества. Чем больше упорядочены условия бытия, тем сильнее исключается из жизни случайность и тем меньше нужда в защите от нее. Однако практически каждый человек остерегается случайности или, наоборот, надеется на нее, хотя наш официальный символ веры не имеет оговорок относительно случайностей.

Такова наша предпосылка: положительная убежденность в том, что все воспринимаемое нами должно иметь, хотя бы в теории, так называемые естественные причины. Но предпосылка первобытного человека иная: все возникает благодаря невидимой произвольной силе, иными словами, все на свете происходит случайно; правда, первобытный человек называет это не случайностью, а умыслом. Естественная причинность — лишь видимость, поэтому она не заслуживает даже упоминания. Если три женщины идут к реке, чтобы зачерпнуть воды, и крокодил хватает среднюю из них и уволакивает под воду, то, с нашей точки зрения, выбор конкретной женщины определяется случаем, а вот сам факт на-

падения представляется естественным, потому что крокодилы иногда пожирают людей. Этим объяснением ситуация полностью исчерпывается. Но оно ничего не говорит о подоплеке этой ужасной истории. С полным правом архаический человек находит это объяснение поверхностным, если не вовсе абсурдным, ибо при таком взгляде на мир можно с равным успехом сказать, будто вообще ничего не произошло, и такое объяснение вполне годилось бы здесь. Европеец попросту не видит и не понимает, как мало говорит такое объяснение. Он подвержен предрассудкам.

Первобытный человек в этом отношении более требователен. Для него в том, что мы называем случайностью, всегда таится умысел. Поэтому очевидным умыслом крокодила было схватить именно среднюю из трех женщин, что очевидно любому. Если бы у крокодила не было такого умысла, он схватил бы какую-то другую из женщин. Но откуда у крокодила такое намерение? Обычно крокодилы не едят людей. Это истина, такая же истина, что в Сахаре обычно не бывает дождей. Крокодилы — робкие и пугливые создания. В сравнении с огромным числом крокодилов число погубленных ими людей пренебрежимо мало. Значит, гибель в пасти крокодила неестественна и неожиданна. Это нужно каким-то образом объяснить: от кого крокодил получил приказ убить эту женщину? Ибо по своей воле он, как правило, так не поступает.

Первобытный человек во многом обосновывает свое мнение фактами окружающего мира и с полным правом удивляется и спрашивает о специфических причинах, когда происходит что-то неожиданное. В общем, он ведет себя точно так же, как мы. Правда, он заходит дальше нашего. У него есть одна или даже несколько теорий относительно произвольных сил, стоящих за случайностями. Мы говорим: это лишь случайность. Он же говорит о расчетливом произволе. Глав-

ный упор он делает на другие пятьдесят процентов происходящего в мире, то есть не на каузальные зависимости естественных наук, а на запутанные и непонятные пересечения цепей причинности, каковые принято именовать случайностями. Первобытный человек давно приспособился к природным закономерностям и потому боится могущества непредвиденной случайности, в коей усматривает произвол некоего деятеля, предусмотреть поступки которого невозможно. В этом он прав. Это вполне объяснимо и понятно, ибо все необычное вселяет в него страх. В местностях к югу от горы Элгон, где мне пришлось пробыть достаточно долго[1], во множестве водятся муравьеды. Это довольно пугливые ночные животные, уже по одной этой причине они редко попадаются человеку на глаза. Если же вдруг среди бела дня люди видят муравьеда, его появление сочтут совершенно противоестественным событием, столь же удивительным, как удивительно было бы обнаружить ручей, который вдруг начал течь в гору. Если бы внезапно обнаружилось, что вода может порой как бы показывать отрицательную силу тяжести, это стало бы открытием, вызывающим большие опасения. Мы знаем, сколь невообразимое количество воды нас окружает, а потому без труда можем вообразить страшную картину того, что произойдет, если вода вдруг поведет себя вопреки законам природы. Именно в таком положении находится первобытный человек. Он очень хорошо знаком с повадками муравьедов, но не знает, каково влияние того факта, что муравьед вдруг нарушает миропорядок. Первобытный человек настолько подвержен сущему, что нарушение миропорядка действует

[1] В 1925–1926 гг. автор предпринял «большую психологическую экспедицию» в Восточную Африку, чтобы пополнить на практике свои познания о «первобытной психологии» на примере «дикарей» Кении и Уганды. Гора Элгон расположена на границе Уганды и Кении. — *Примеч. ред.*

на него подобно непредвиденной и обладающей неведомой силой возможности. Он словно получает знамение, предвестие, как если бы засек комету или солнечное затмение. Такая противоестественность не имеет в глазах первобытного человека естественной причины, следовательно, он предполагает наличие незримой произвольной силы, которая заставила муравьеда показаться людям средь бела дня. Устрашающее проявление произвола, нарушающего миропорядок, требует защиты или умилостивления. Призывают жителей окрестных деревень — и муравьеда, не жалея сил, ловят и убивают. После этого старший дядя по материнской линии того человека, который первым увидел муравьеда, должен принести в жертву быка. Этот человек первым подходит к жертвенной яме и получает первый кусок мяса принесенного в жертву животного.

Мы испытаем немалое замешательство, если вода вдруг по неизвестной причине начнет течь в гору, но ничуть не смутимся, если днем увидим муравьеда, если в какой-то семье родится альбинос, или если случится солнечное затмение. Мы понимаем смысл этих событий и область их влияния — в отличие от первобытного человека. Все, что происходит обычно, является для него прочно спаянной цельностью, в которую он включен всем своим существом. Поэтому он в высшей степени консервативен и делает только то, что делалось всегда. Если же где-то происходит то, что ломает эту привычную цельность, то для него тем самым в привычном миропорядке возникает разрыв. Что будет далее, ведомо лишь богам. Тотчас все более или менее заметные события ставят во взаимосвязь с этим происшествием. Например, один миссионер установил перед своим домом флагшток, чтобы по воскресеньям поднимать британский флаг. Это невинное действие дорого ему обошлось, ибо спустя короткое время налетел опустошительный ураган, который местное население не-

медленно связало с установкой флагштока, и данного факта оказалось достаточно для начала восстания.

Надежность и безопасность мира для первобытного человека зиждется на регулярной повторяемости повседневных событий. Каждое исключение воспринимается им как опасный произвольный акт, требующий искупления, ибо это не просто единичное нарушение обычного течения жизни, но предзнаменование других неприятных событий. Нам это кажется полным абсурдом, но мы совершенно забываем, как вели себя в недавнем прошлом наши собственные прадедушки и прабабушки: где-то родился теленок с двумя головами и пятью ногами; в соседней деревне петух снес яйцо; какой-то старухе приснился вещий сон; в небе появилась комета; в городе случился страшный пожар, — по прошествии года началась война. Такое отношение к жизни, если верить истории, господствовало у нас с седой древности вплоть до восемнадцатого столетия. Бессмысленная для нас сегодняшних группировка событий является полностью осмысленной и убедительной для человека первобытного. *Со своей точки зрения он безусловно прав*. Его наблюдения точны и надежны. На основании древнейшего опыта он знает, что такая связь существует на самом деле. Современный человек обращает внимание только на смысл и причинность отдельно взятых событий, значит, видит во всем вокруг лишь бессмысленное нагромождение не связанных между собой случайных событий, а для первобытного человека это вполне логичный ряд предзнаменований и вызванных ими событий, фатальный, но совершенно последовательный образчик демонического произвола. Теленок с двумя головами и война — ипостаси одного и того же явления, причем теленок предвещает войну. Эта связь представляется первобытному человеку столь надежной и убедительной, поскольку для него случайная произвольность является намного более значимым

фактором, нежели подчиненное закону и порядку течение мировых событий; именно поэтому с таким вниманием он следит за необычными явлениями, и закон группировки и выстраивания последовательности случайностей был открыт уже очень давно. Каждая клиника на собственном опыте знает этот «закон повторения». Один старый профессор психиатрии Вюрцбургского университета регулярно повторял, демонстрируя в клинике больного с каким-то редким заболеванием: «Господа! Это совершенно уникальный случай. Завтра мы получим еще один такой же». Я и сам часто наблюдал нечто подобное в ходе восьмилетней работы в психиатрической больнице. Однажды нам доставили пациента с редчайшим случаем помраченного сознания. Это был первый случай подобной патологии в моей практике. Через два дня в больницу поступил второй такой же больной, и с тех пор я больше не видел ни одного подобного случая. С одной стороны, «повторяемость случаев» есть своего рода врачебная шутка, но, с другой стороны, это основная модель первобытной науки. Один из современных ученых отчеканил: «Magic is the science of the jungle» («Магия — наука джунглей»)[1]. Известно, что астрология и другие обожествляющие природу дисциплины были основой науки в древности.

То, что происходит регулярно, очевидно каждому. К обычному привыкают и приспосабливаются. Наука и искусство окупаются лишь тогда, когда темный произвол нарушает привычную данность. Часто и многократно одному из самых умных и хитрых мужчин племени, знахарю, поручали разбираться в метеорологии. Он должен был с помощью своих познаний объяснить неслыханное и победить его своим искусством. Этот человек является ученым, специалистом, экспертом по

---

[1] Эти слова приписываются английскому путешественнику Д. Ливингстону. — *Примеч. ред.*

случайностям, а также хранителем научных традиций племени. Окруженный уважением и страхом, он наслаждается своим авторитетом, но авторитет этот мог быть еще больше, не будь племя втайне убеждено в том, что колдун соседнего племени сильнее местного. Лучшая медицина не здесь, она где-то далеко, и чем она дальше, тем она лучше. Невзирая на чрезвычайный трепет и благоговение, с каким племя, где мне пришлось некоторое время жить, относилось к своему старому целителю, соплеменники обращались к нему только в случаях легких болезней скота и людей, а во всех более серьезных случаях взывали к чужому м'банге (колдуну), которого за высокую плату приглашали из Уганды, — partout comme chez nous (*здесь*: «приходите в наш дом»).

Случайности происходят преимущественно в виде меньших или больших последовательностей, они группируются. Старинное правило прогноза погоды гласит, что если на протяжении многих дней шел дождь, то он будет идти и завтра. Согласно поговоркам, «беда не приходит одна», а «то, что случилось дважды, произойдет и трижды». Эти поговорки суть древняя первобытная наука: в народе в них до сих пор верят и таких предсказаний опасаются, а образованный человек над ними смеется — в предположении, что для него ничего особенного не происходит. Здесь я, кстати, хочу рассказать одну неприятную историю. Некая знакомая дама проснулась в семь часов утра от странного дребезжания на ночном столике. После недолгих поисков она обнаружила причину: от стакана с водой откололся верхний край — приблизительно на один сантиметр. Ей это показалось странным. Она вызвала прислугу и попросила принести другой стакан. Через пять минут дребезжание повторилось, и у нового стакана тоже отломился краешек. Встревоженная дама потребовала принести третий стакан. Прошло двадцать минут, опять что-то задребез-

жало, и стакан снова пострадал. Три случайности подряд — это было слишком для образованного человека. Дама забыла о всякой вере в естественные причины и вспомнила о своем коллективном представлении, то есть верх взяло убеждение во вмешательстве некоей произвольной силы. Так случается со многими не слишком последовательными современными людьми, когда они сталкиваются с событиями, каковым не могут приписать естественную причину. Поэтому такие события обычно отрицают. Они неприятны, поскольку — здесь проявляется наша живучая первобытность — разрывают наши представления об устройстве мира. Если подобное возможно, что тогда прикажете считать невозможным?

Со своей верой в произвольную силу первобытный человек не подвисает в воздухе, как полагали раньше, но опирается на опыт. Групповое появление случайностей оправдывает и подтверждает этот опыт, который мы называем суеверием, ибо на самом деле имеется высокая вероятность того, что необычные события совпадут по времени и месту. Не будем забывать, что наш опыт здесь не поможет. Мы мало наблюдаем сами, ибо у нас другая установка. Например, нам никогда не придет в голову считать логически связанной следующую последовательность событий: утром в комнату некоего человека залетает птица, через час этот человек становится свидетелем уличного происшествия, днем умирает его близкий родственник, вечером кухарка роняет тарелку с супом, а ночью, возвращаясь домой, этот человек обнаруживает, что потерял ключи от дома. Дикарь же выведет из этой цепочки событий важные следствия. Каждое следующее звено цепочки подтверждает его ожидания, и в этом он прав, намного более прав, чем мы способны признать. Его страшные предчувствия полностью оправданы и целесообразны. Выдался зловещий день, в который нельзя ничего предпринимать. В нашем мире подобное мнение сочли бы недопу-

стимым и предосудительным суеверием, но в мире первобытных людей такое поведение посчитают проявлением высшей мудрости, ибо там человек предоставлен воле случая в намного большей степени, чем в нашем защищенном и урегулированном бытии. Нельзя рисковать случайностями, когда живешь в дикой природе. Там это чувствуют и европейцы.

Если индеец пуэбло ощущает себя не в ладу с самим собой, то он не пойдет в собрание мужчин. Если древний римлянин, выходя из дома, спотыкался о порог, то он отказывался от задуманного дела и оставался дома. Нам это представляется полной бессмыслицей, но среди первобытных людей такие знаки, по меньшей мере, напоминали о необходимости соблюдать осторожность. Если, например, мне не по себе, то движения мои могут стать неловкими, внимание легко отвлекается, я становлюсь немного рассеянным, натыкаюсь на мебель, спотыкаюсь, роняю вещи и что-то забываю. В цивилизованном мире это сущие пустяки, но в диком девственном лесу такое состояние может быть сопряжено с величайшими опасностями! Споткнуться там — это значит, к примеру, упасть с мокрого от дождя бревна, перекинутого на высоте пяти метров над речкой, кишащей крокодилами. Я потерял компас в высокой траве. Я забыл зарядить ружье и оказался в джунглях на тропе, по которой ходят на водопой носороги. Я был занят своими невеселыми мыслями и наступил на ядовитую змею. Вечером я забыл заранее надеть противомоскитные сапоги, а через одиннадцать дней умру от тропической малярии. Можно еще зазеваться и открыть рот, купаясь в реке, и заболеть смертельной дизентерией. Конечно, случайности такого рода имеют в наших глазах вполне отчетливые естественные причины, например, несколько рассеянное психологическое состояние, но для первобытного человека это объективно обусловленные знамения — или колдовство.

Но все может протекать и по-другому. В местности Китоши, к югу от горы Элгон, я однажды отправился на прогулку в девственный лес Кабрас. Там, в густой траве, я едва не наступил на змею, лишь в самый последний миг сумел через нее перепрыгнуть. После полудня мой друг вернулся с охоты на куропаток бледный, как смерть, его била дрожь: в лесу на него напала семифутовая мамба, которая вынырнула из-за термитника и едва не укусила (а укус этой змеи смертелен). По счастью, он смог с расстояния нескольких шагов ранить ее из ружья. В девять часов вечера на наш лагерь напала стая голодных гиен, которые за день до этого обнаружили спящего человека и растерзали беднягу. Несмотря на костер, они проникли в домик нашего повара, который с криком спасался от зверей, перескочив через забор. После этого, на протяжении всего нашего путешествия, не происходило ничего необычного. Но для моих негров этот день дал повод к множеству выводов. Для нас это было просто нагромождение случайностей, а для них — естественное исполнение предзнаменования, которое имело место в первый день после выхода в джунгли. На нашем «Форде» мы упали с моста в ручей. Мои бои выглядели так, словно хотели сказать: «Хорошенькое начало!» К тому же хлынул тропический ливень, и мы промокли до нитки, а я заболел лихорадкой, растянувшейся на много дней. Вечером того дня мы, белые, посмотрели друг на друга, и я, не удержавшись, сказал своему спутнику-охотнику: «Кажется, все началось гораздо раньше. Помнишь сон, о котором ты рассказывал мне еще в Цюрихе, перед нашим отъездом?» Тогда ему действительно приснился в высшей степени удивительный сон: будто в Африке, на охоте, на него напала огромная мамба. Он проснулся с криком ужаса. Тот сон произвел на него сильное впечатление, и он признался мне, что, по его мнению, это сулило гибель кому-то из нас. Он имел в виду, конечно,

мою смерть, ибо хороший товарищ всегда думает прежде о своем ближнем. Но именно он потом заболел малярией, которая едва не свела его в могилу.

Этот разговор, о котором я упомянул, состоялся там, где нет змей и малярийных комаров, ничуть нас не взволновал и не насторожил. Но подумайте о бархатистой синеве тропической ночи, гигантских, нависающих над головой черных деревьях девственного тропического леса, таинственных криках, доносящихся откуда-то издалека, о положенных рядом заряженных ружьях, москитных сетках, кипяченой воде из болот; вспомните, кроме того, убежденность, которую старый опытный африканец выразил следующими словами: «You know, this isn't man's — it's God's country» («Это ведь не страна людей, а страна Бога»). Там царь не человек, а природа, животные, растения и микробы. Именно это определяет настроение, и вполне осознаешь, откуда берутся те связи, над которыми ты раньше смеялся. Это мир ничем не ограниченных произвольных сил, с которыми первобытному человеку ежедневно приходится иметь дело. Необычное для него — не шутка. Он делает из необычного свои выводы — «это нехорошее место», «день сегодня неблагоприятный»; кто знает, скольких опасностей он сможет избежать благодаря таким предостережениям!

Magic is the science of the jungle. Знамения становятся причиной немедленного отказа от производимых до того действий, отмены запланированных предприятий, изменения психологической установки. Это совершенно целесообразные шаги ввиду группировки случайностей и ввиду полного незнания первобытными людьми психологической причинности. Мы научились, благодаря одностороннему предпочтению так называемых естественных причин, отделять субъективно-психическое от объективно-естественного. Первобытный человек, напротив, полагает свое психическое вовне, в окру-

жающих предметах. Его не удивляет, что предмет обладает маной, колдовской силой, и отсюда проистекают все невидимые влияния, которые нам представляются следствиями внушения и воображения; для него это воздействие извне. Его ландшафт не является ни географическим, ни геологическим, ни политическим. Он содержит мифологию, религию, все мысли и чувства в той степени, в какой остается непознаваемым. Страх дикаря локализован в известном месте, которое представляется ему «нехорошим». В том лесу обитают духи умерших. В той пещере живет бес, который душит всякого, кто туда войдет. В той горе обитает змея, в том холме могила легендарного царя; искупавшись вон в том источнике, на той скале или под тем деревом, всякая женщина беременеет; в том броде подстерегают демоны в облике змей, а у того большого дерева есть голос, которым оно зовет известных ему людей. У первобытного человека нет психологии. Его психика объективна и развертывается вовне. Собственно, его сновидения являются реальностью, если он вообще обращает на них внимание. Мои спутники у горы Элгон, например, вполне серьезно утверждали, что не видят никаких снов, что сны приходят только колдуну. Когда я спросил об этом колдуна, тот ответил, что перестал видеть сны с тех пор, как в их страну пришли англичане. Да, его отец видел великие сны, он знал, на какие пастбища надо отгонять скот, где пасти коров с телятами, когда начнется война или чума. Теперь все знает окружной комиссар, а они, местные, не знают ничего. Он смирился с этим, как известный папуас, который верит в то, что бóльшая часть крокодилов перешла на работу в английскую администрацию. Дело в том, что однажды местный заключенный бежал из-под охраны и при попытке перейти вброд реку был сильно покалечен крокодилом. Из этого папуасы заключили, что на него напал, должно быть, полицейский крокодил. Теперь

Бог говорит в сновидениях именно с англичанами, но не с колдуном, поскольку вся власть — у англичан. Функция сновидца, следовательно, сместилась. Души от случая к случаю ускользают, и знахарь-колдун ловит их в клетки, как птиц. Или помогает, когда в местных вселяются чужие души и вызывают болезни.

Эта *проекция психического* естественным образом порождает отношения между людьми, животными и предметами, что кажется нам абсолютно непостижимым. Белый охотник убивает крокодила. Сразу же после этого из близлежащей деревни прибегают люди и в сильнейшем возбуждении требуют возмещения ущерба. Дескать, этот крокодил был одной деревенской старухой, которая умерла в тот миг, когда прозвучал выстрел. Ее бушменская душа, очевидно, обитала в этом крокодиле. Другой человек застрелил леопарда, который угрожал его скоту. В то же время в соседней деревне умерла женщина. Она была тождественна этому леопарду.

Леви-Брюль придумал для таких странных отношений термин participation mystique (мистическая сопричастность). Мне кажется, что слово «мистическое» он выбрал не вполне удачно, ибо для первобытного сознания тут нет ничего мистического: эти явления вполне естественные. Нам они кажутся чем-то особенным только потому, что нам подобное психическое расщепление, видимо, сложно, представить. Но на самом деле оно встречается и у нас, но в не столь наивной, а в более цивилизованной форме. Например, практически само собой разумеется, что мы приписываем другим людям наши собственные психологические особенности, воображая, что другим нравится или дорого то, что нравится и дорого нам; что дурное для нас должно быть дурным и для них. Наше судопроизводство, скажем, лишь в Новейшее время набралось смелости и признало психологическую ограниченность приговоров и су-

дебных решений. Равенство перед законом является очень ценным достижением. Все плохое и низменное, чего человек не желает видеть в себе, он приписывает, разумеется, другим, которых надо критиковать и которым надлежит противостоять, хотя в действительности мы имеем дело с переселением низменной души из одного человека в другого. Мир до сих пор полон «злых гениев» и козлов отпущения, как раньше он кишел ведьмами и оборотнями.

Психологическая проекция или, по Леви-Брюлю, «мистическая сопричастность» (заслуга Леви-Брюля в том, что он выделил этот признак как выдающееся свойство первобытного человека) видится вполне обыденным психическим явлением, которое мы называем по-другому и которое, как правило, не хотим признавать. Все, что не осознаем в себе, мы обнаруживаем у ближнего и ведем себя по отношению к нему соответствующим образом. На ближнем не испытывают действие ядов, не сжигают на костре, не ломают кости, но ему с полной убежденностью приписывают моральную ущербность. То, чему противостоят в ближнем, является между тем собственной неполноценностью.

Вследствие отсутствия дифференциации сознания и обусловленного этим фактом полного отсутствия самокритики, первобытный человек проецирует больше, чем мы. Поскольку это проецирование кажется ему совершенно объективным, постольку он характеризует свои проекции довольно образно. Шутки ради можно вообразить кого угодно на месте женщины-леопарда — с тем же успехом, что и на месте гуся, коровы, курицы, змеи, быка, осла, верблюда и т.д. (каждый подберет эпитеты по собственному разумению). Только моральные терзания с их ядом целиком чужды бушменской душе, для этого архаический человек слишком натуралистичен, находится под слишком сильным воздействием сущего, которое побуждает его к суждениям на-

много слабее, чем нас. Индейцы пуэбло деловито объясняли мне, что я принадлежу тотему медведя, то есть являюсь медведем, потому что спускаюсь с горы за проводником не как свободный человек, на двух ногах, а как медведь, на четырех. Если бы в Европе кто-нибудь объявил меня пещерным медведем, это случилось бы, наверное, в каком-то ином контексте. Мотив первобытной души, столь странный для нас у дикарей, сделался фигурой речи, как и многое другое. Если мы переведем метафоры в конкретику, то получим первобытное мировоззрение. Возьмем для примера выражение «оказывать врачебную помощь». На языке первобытных людей оно прозвучит как «наложение рук», то есть будет полностью соответствовать действиям шаманов и знахарей.

Затруднение понимания бушменской души заключается в том, что нас озадачивает и сбивает с толка конкретное представление о полном расщеплении души и вселении ее части в дикое животное. Если мы называем кого-то верблюдом, то при этом ни в коем случае не имеем виду, что данный человек во всех отношениях является млекопитающим из семейства верблюдовых, а подразумеваем образное соотнесение с повадками верблюда. Тем самым мы расщепляем личность, или душу, человека, о котором идет речь, и персонифицируем одну из ее частей как верблюда. То же самое происходит и в случае женщины-леопарда — она человек, только второй частью души владеет леопард. Поскольку для первобытного человека все неосознаваемое конкретно, он говорит о леопарде, душе леопарда, а при более глубоком понимании расщепления посчитает, что душа леопарда в виде настоящего зверя живет в буше.

Действующее за счет проекции обозначение тождества порождает мир, в котором человек обитает не только физически, но и душевно; в некоторой степени он

растворяется вместе с этим миром. Человек не является властелином мира, он — его часть. То есть первобытному человеку далеко до современного партикуляризма. Этот человек не мечтает стать венцом творения. В зоологической классификации первобытных племен венчает ее не Homo sapiens; высшим существом является слон, затем идет лев, потом гигантский удав или крокодил, за ними человек, а дальше располагаются низшие животные. Человек включен в природу. Он не думает, что может повелевать природой, поэтому самые смелые его устремления обусловлены желанием защититься от опасных случайностей. Цивилизованный человек, напротив, пытается подчинить себе природу, поэтому его главное стремление состоит в том, чтобы познать причины, которые дадут ему ключ в тайную мастерскую природы. Ему в высшей степени противна мысль о произвольности и возможности существования произвола, ибо он с полным правом усматривает в том доказательство тщетности любых попыток взять верх над природой.

Подытоживая, я бы хотел сказать вот что: принципиальной особенностью архаического человека является его установка на случайную произвольность, этот фактор для него куда важнее, нежели естественные причины. Имеет место произвольность случайности, проявляющаяся, с одной стороны, в фактическом группировании событий, а с другой стороны, в проекции бессознательной психики, в так называемой мистической сопричастности. Для архаического человека, разумеется, этой разницы не существует, ибо психическое у него проецируется настолько полно, что он не отличает его от объективного физического события. Для него случайности являются вмешательством одушевленных сил, то есть намеренными произвольными актами. Он не чувствует, будто нечто чрезвычайное потрясает его только по той причине, что он сам придает

ему силу своим удивлением или страхом. Здесь мы, конечно, ступаем на весьма опасную почву. Красива какая-то вещь потому, что я наделяю ее красотой? Или объективная красота вещи заставляет меня считать ее красивой? Известно, что величайшие умы пытались решать эту задачу: священное ли солнце освещает мир или мы видим тот освещенным благодаря устройству наших глаз? Архаический человек верит в солнце, а цивилизованный — в глаза, если он не страдает поэтической болезнью или если вообще об этом задумывается. Современный человек должен лишить природу души, чтобы властвовать над нею; иными словами, он устраняет все архаические проекции, по крайней мере, там, где хочет быть объективным.

В архаическом мире все имеет душу: перед нами душа человека, или, лучше сказать, душа человечества, коллективное бессознательное; ибо индивидуум еще лишен души. Не будем забывать, что христианское таинство крещения стало вехой, знаменующей величайший переход в душевном развитии человечества. Крещение дает человеку истинную душу; это не единичный магический ритуал окунания в воду, это вырывание человека из архаического единства с миром, превращение в существо, осмысляющее мир. Тот факт, что человек достиг высот этой идеи, является в глубочайшем смысле крещением и рождением духовного, а не природного человека.

В психологии бессознательного имеется фундаментальное положение о том, что каждая относительно самостоятельная часть души носит личностный характер, то есть она тотчас олицетворяется, едва получая возможность самостоятельного внешнего проявления. Самые великолепные примеры можно найти в галлюцинациях душевнобольных и в коммуникации медиумов. Там, где проецируется самостоятельная часть души, возникает невидимая личность. В спиритизме, как

и в первобытных обществах, возникают духи. Если существенная часть души проецируется на какого-то человека, он получает ману, обретает необычную влиятельность, признается колдуном, ведьмой, оборотнем и т.д. Наиболее отчетливо иллюстрирует сказанное первобытная идея о том, что колдун ловит в клетки бродящие по ночам части душ, как птиц. Эти проекции несут колдуну ману, заставляют зверей, деревья и камни говорить и совершать насилие, поскольку они тоже — частички душ, находящиеся в безусловном подчинении у этого человека. По этой причине душевнобольной неминуемо подпадает под влияние своих внутренних голосов, ибо эти проекции являются его собственной душевной деятельностью, осознающим субъектом которой он выступает в той же степени, что и слушающим, видящим и повинующимся.

С точки зрения психологии первобытная теория о том, что произвольная власть случайности есть результат деятельности духов и колдунов, вполне естественна и неизбежна. Но не будем обманываться в этом отношении! Если мы представим умному первобытному человеку наше совершенно научное объяснение какого-либо феномена, он тут же обвинит нас в смехотворном суеверии и в ужасном отсутствии логики, ибо он убежден, что солнце, а не глаза, освещает мир. Однажды мой друг Горное Озеро, вождь племени пуэбло[1], дал мне достойную отповедь, когда я угостил его августинским аргументом о dominus noster (Господе нашем): «Non est hic sol dominus noster, sed qui illum fecit» («Не солнце наш господин, а тот, кто его сотворил»). Он возмутился. «Тот, кто ходит там, — заявил он, ука-

[1] В 1924–1925 гг. автор совершил продолжительную поездку по США и побывал, в частности, у индейцев пуэбло в штате Нью-Мексико. В последней своей книге «Воспоминания. Сновидения. Размышления» он подробно воспроизвел несколько бесед с вождем Горное Озеро. — *Примеч. ред.*

зывая на солнце, — и есть наш отец. От него исходит весь свет, вся жизнь; нет ничего такого, что не было бы его творением». Он сильно разволновался и воскликнул: «Даже человек, одиноко странствующий в горах, не сможет без солнца добыть огонь!» Лучше, чем такими словами, трудно охарактеризовать архаический взгляд на мир. Вся власть находится вовне, только благодаря ей возможно все сущее. Нетрудно увидеть, что религиозное мышление и в наше безбожное время поддерживает и содержит архаическую духовность. Так думают и мыслят до сих пор миллионы людей.

Когда мы выше обсуждали основополагающую первобытную установку на произвольность случая, я высказал мнение, что подобное умонастроение надо признать целесообразным и полезным. Давайте — по крайней мере, на мгновение — отважимся выдвинуть гипотезу о том, что первобытная теория о произвольной власти случая имеет не только психологическое, но и вещественное обоснование. Я не собираюсь ломать двери и крушить мебель, убеждая слушателей в истинности и материальности колдовства. Я просто хочу вместе со слушателями подумать, к каким выводам можно прийти, если вместе с первобытными людьми принять, что весь свет исходит от солнца, что вещи красивы сами по себе и что часть человеческой души может быть леопардом, — то есть признать верной первобытную теорию маны. Согласно этой теории, красота движет *нами*, а не *мы* сами ее создаем. Дьявол — кто-то другой, не мы проецируем на него наше зло, превращая другого тем самым в дьявола. Существуют внушающие почтение люди, так называемые личности, наделенные маной; они таковы сами по себе и своим существованием никоим образом не обязаны силе нашего воображения. Теория маны утверждает, что должна существовать всеобщая, всепроникающая сила, объективно проявляющая свое действие. Она может *быть* (существовать)

лишь благодаря своей энергии. Все сущее является силовым полем. Первобытная идея маны тем самым выражает психическую энергетику.

Пока мы без особых затруднений следовали за первобытным мышлением. Если же этот взгляд, сам по себе вполне последовательный, развить дальше, то психические проекции, о которых мы говорили, превратятся в свою противоположность: не мое воображение или эмоция делают из знахаря чародея, он в самом деле *является* чародеем и проецирует свое магическое воздействие на меня; это не я порождаю галлюцинации духов, а они сами являются мне по собственному побуждению. Когда мы сталкиваемся с такими утверждениями, логическими производными теории маны, то вынуждены оглядываться по сторонам в поисках наших чудесных теорий о психологических проекциях. В реальности тут подразумевается следующий вопрос: возникает ли психическая функция, душа, дух или бессознательное, во *мне*, или психика в начале формирования сознания существует вовне в форме целесообразных и произвольных сил, а далее постепенно врастает в человека по мере его душевного развития? Были ли так называемые отщепленные части души на самом деле частями целостной индивидуальной души — или, скорее, это существующие в себе психические единицы (в первобытном определении — духи, души предков и тому подобным), которые в ходе развития внедрялись в человека, составляя в нем тот мир, который мы теперь обозначаем как психику?

Этот ход рассуждения выглядит, разумеется, сомнительным парадоксом. Но если принять во внимание его основания, он покажется достаточно здравым. Это подход не просто религиозный, но отчасти педагогический, поскольку мы можем посеять в человеке нечто психическое, чего в нем до этого не было. Существуют внушение и влияние, а наисовременнейший би-

хевиоризм[1] в этом отношении питает весьма экстравагантные надежды. Идея комплексного совокупного развития психики оказывает влияние на первобытные воззрения в различных формах, например, в виде широко распространенной веры в одержимость, инкарнацию предков, переселение душ; да и мы, поднимая бокал «за здравие», произносим фразу, имеющую смысл: «Будем надеяться, что новая душа тебе не повредит». О комплексном совокупном развитии напоминает и то наше ощущение, когда мы чувствуем, что в процессе собственного развития достигаем единства и цельности личности, избавляясь от множества противоречивых ипостасей. Наше тело состоит из множества менделевских единиц[2]; нельзя исключать, что психика разделяет с телом эту участь.

Материалистические воззрения нашего времени лелеют сходное убеждение и выказывают сходное с архаическими устремление, то есть приводят к тем же окончательным выводам, к признанию, что индивидуум выступает в первом случае результатом слияния естественных причин, а во втором — возникает из произвольных случайностей. В обоих случаях человеческая индивидуальность признается несущественным и случайным плодом воздействия субстанций окружающей среды. Это воззрение вполне укладывается в архаическую картину мира, где обычный отдельный человек нисколько не значим: он заменяем и преходящ. Материализм на обходном пути строжайшей причинности вернулся к первобытному восприятию. Однако материалист радикальнее, так как взгляд его более систематический, нежели взгляд первобытного человека. Последний обладает преимуществом непоследовательно-

---

[1] Психологическая концепция, предполагающая, что всякое поведение обусловлено рефлексами. — *Примеч. ред.*

[2] То есть наследуемых признаков (по имени основоположника теории наследственности Г. Менделя). — *Примеч. ред.*

сти: он исключает личностей, наделенных маной. В ходе исторического развития те достигли положения божественных фигур, героев и богоподобных царей, которые питаются неиссякаемой пищей богов и обрели бессмертие. Да, идея бессмертия индивидуума, его непреходящей ценности, обнаруживается уже на ранних этапах архаики, прежде всего в вере в духов; затем в мифах о временах, когда не существовало смерти, что явилась в мир в результате какого-то глупого недоразумения или чьей-то небрежности.

Первобытный человек не осознает этой противоречивости своего мировоззрения. Мои негры уверяли меня в том, что не знают, что с ними произойдет после смерти. Они умрут, перестанут дышать, их отнесут в буш, где трупы сожрут гиены. Так они думают днем; ночами же мир наполняется духами умерших, которые наводят порчу и болезни на людей и скот, нападают на ночных путников и душат их, и т.д. Европеец мог бы просто разорваться от подобных противоречий, присущих первобытному мышлению. Есть университеты, в которых мысль о божественном вмешательстве объявляется непререкаемой истиной, а при них существуют богословские факультеты. Ученый-материалист, который посчитал бы недостойным для себя приписывать даже мельчайшее изменение какого-либо вида животного акту божественной воли, может придерживаться установленной христианской религии, которая каждое воскресенье доказывает свое влияние. Тогда к чему нам возмущаться первобытной непоследовательностью?

Из первобытного мышления человечества попросту невозможно вывести какую-то философскую систему — лишь прозрачные антиномии, которые, однако, образуют неисчерпаемую основу всей духовной проблематики. Являются ли коллективные представления архаического человека глубокими или только кажутся та-

ковыми? Существовал ли смысл с самого начала или он был сотворен человеком позднее? Я не могу ответить на эти сложнейшие вопросы, но хотел бы — в заключение — рассказать еще об одном наблюдении, которое сделал у горы Элгон. Я расспрашивал всех подряд о каких-нибудь следах религиозных идей и церемоний, но на протяжении многих недель не обнаружил ровным счетом ничего. Мне позволяли ходить куда угодно и охотно отвечали на мои вопросы. Я мог общаться без неуклюжей помощи туземного переводчика, ибо многие старики говорили на суахили. Сначала люди стеснялись и были весьма сдержанными и скрытными, но, когда лед удалось сломать, принимали меня вполне дружелюбно. Они ничего не знали о религиозных обычаях. Я не унимался, и однажды, в конце очередной бесплодной беседы, один старик вдруг воскликнул: «Утром, когда встает солнце, мы выходим из хижин, плюем на ладони и подставляем их солнцу». Я упросил показать мне церемонию и точно ее описать. Местные плюют или изо всех сил дуют на приставленные ко рту ладони, а затем поворачивают их к солнцу. Я спросил, что это значит, зачем они это делают, зачем дуют или плюют на ладони. Но все было напрасно: ответ был один — так делали всегда. Получить какое-либо вразумительное объяснение было решительно невозможно, и мне стало совершенно ясно, что туземцы и вправду знали, что они это делают, но не понимали, что именно делают. Они не видели никакого смысла в этом действе. Таким же образом приветствуют они и новую луну.

Давайте вообразим, что я — полный чужак и приезжаю в этот город, чтобы исследовать местные обычаи. Сначала я поселяюсь вблизи от нескольких вилл на Цюрихберге, с жителями которых регулярно сталкиваюсь. Теперь я спрашиваю господ Мюллера и Мейера: «Расскажите мне, пожалуйста, что-нибудь о ваших религиозных обычаях». Оба господина немало озадачены.

Они не ходят в церковь, ни о чем не знают и отрицают, что соблюдают какие бы то ни было обычаи. На дворе весна, скоро наступит Пасха. Однажды утром я застаю господина Мюллера за странным занятием: он с деловым видом ходит по саду, втыкая в землю раскрашенные яйца и странные фигурки зайчиков. То есть я застукал его на месте преступления. «Почему вы не рассказали мне об этой чрезвычайно интересной церемонии?» — спрашиваю я. Он отвечает: «Какой еще церемонии? Это не церемония. Просто так всегда делают на Пасху». — «Но что тогда означают яйца, фигурки и ваши действия?» Господин Мюллер явно озадачен и растерян. Он сам этого не знает, в такой же мере, в какой не знает, что означает рождественская елка, но он ставит и украшает ее точно так же, как первобытные люди плюют на ладони. Может быть, предки первобытных людей лучше понимали происходящее? Это весьма маловероятно. Архаический человек делает так, как заведено, и только цивилизованный человек знает, что именно он делает. Что же, в таком случае, означает упомянутая мной церемония туземцев? Очевидно, что это жертвоприношение восходящему солнцу, которое только в этот миг становится «мунгу», исполняется маны, божественности. Слюна — субстанция, которая по воззрениям первобытного человека обладает целительной, колдовской и жизненной силой. Дыхание, или зохо (по-арабски «рух», на иврите «руах», по-гречески «пневма») — это ветер и дух. Действо как бы говорит: я предлагаю своему богу мою живую душу. Это немая молитва, молитва действия, и звучать она могла бы так: «Боже, в руки твои предаю дух мой».

Случайно ли все описанное или мысль о нем была продумана и осознана еще до появления человека? Этим вопросом, на который у меня нет ответа, и хотелось бы закончить мой доклад.

Стадии жизни[1]

Рассмотрение этапов человеческого развития — это крайне ответственная задача, которая предполагает не что иное, как представление картины психической жизни человека во всей ее полноте, от колыбели до могилы. В рамках данной лекции такую картину возможно нарисовать лишь широкими мазками, и следует отдавать себе отчет в том, что мы не будем описывать нормальные психические явления на различных стадиях развития человека. Мы ограничимся, скорее, рядом «проблем», то есть явлений сложных, спорных и неоднозначных; коротко говоря, мы рассмотрим вопросы, допускающие несколько ответов, и любой из этих ответов неизбежно оставит сомнения. Так что многое из сказанного надлежит мысленно сопровождать вопросительными знаками. Хуже того, кое-что придется попросту принять на веру, а время от времени и вовсе предаваться спекуляциям.

Если бы психическая жизнь состояла только из самоочевидных жизненных фактов — этот взгляд присущ неразвитому сознанию, — то мы смогли бы удоволь-

---

[1] Лекция, впервые опубликованная в газете «Нойе Цюрихер цайтунг» под названием «Психические проблемы человеческого возраста» (14–16 марта 1930 г.). В переработанном и дополненном виде вошла под названием «Стадии жизни» в сборник «Проблемы души нашего времени» (Цюрих, 1931).

ствоваться здоровым эмпиризмом. Впрочем, психическая жизнь цивилизованного человека полна забот и проблем; даже думать о ней мы не можем иначе, нежели через выявление проблем. Наши психические процессы по большей части представляют собой размышления, сомнения и эксперименты, практически чуждые бессознательному, инстинктивному разуму первобытного человека. Именно развитие сознания мы должны поблагодарить за возникновение проблем; это, можно сказать, данайский дар цивилизации. Когда человек порвал с инстинктами, когда противопоставил себя инстинкту, тогда и появилось сознание. Инстинкт — суть природы, он ищет способы ее увековечить, тогда как сознание способно лишь стремиться к культуре или к ее отрицанию. Даже когда мы сами возвращаемся к природе, вдохновленные руссоистской тоской, то «облагораживаем» природу. Поскольку мы погружены в природу, постольку лишены сознания и продолжаем жить под защитой инстинкта, которому проблемы неведомы. Все то в нас, что принадлежит природе, избегает проблем, ибо они чреваты сомнениями, а там, где есть место сомнениям, властвуют неопределенность и возможность выбора. А где есть выбор между несколькими вариантами, там человек отвергает направляющую силу инстинкта — и подчиняется страху. Ведь теперь уже сознанию предстоит делать то, что ранее совершала для своих детей природа, — принимать конкретные, бесспорные и безошибочные решения. В таких условиях нас охватывает слишком человеческий страх: мы боимся, что сознание — наша прометеева победа — в конечном счете не сможет послужить нам так же хорошо, как служила природа.

Тем самым проблемы приводят к состоянию сиротливого одиночества, в котором мы ощущаем себя брошенными природой и влекомыми к повиновению сознания. Иного пути у нас нет, мы вынуждены прибегать

к сознательным решениям и действиям там, где ранее полагались на естественный ход событий. Следовательно, всякая проблема сулит шанс на расширение сознания, но одновременно заставляет забывать о детской неосознанности поступков и вере в природу. Эта необходимость есть чрезвычайно важный психический факт, который превратился в сущность одного из символических столпов христианского вероучения. Мы жертвуем простым, естественным человеком, тем бессознательным и бесхитростным существом, чья трагическая карьера началась с поедания райского яблока. Библейский рассказ о падении человека показывает обретение сознания как проклятие. Действительно, так оно и есть, ибо именно в таком свете мы первоначально воспринимаем каждую проблему, расширяющую наше сознание и все сильнее отдаляющую нас от рая бессознательного детства. Все мы охотно поворачиваемся спиной к собственным проблемам; стараемся, если получается, вообще не упоминать о них или, лучше, отрицать их существование. Мы хотим жить просто, гладко и уверенно, а потому проблемы для нас — запретная тема. Мы желаем определенности, а не сомнений; результатов, а не экспериментов, словно не замечая, что определенность возникает только через сомнение, а результат есть следствие эксперимента. Искусное отрицание проблем не означает твердой веры; напротив, требуется более широкое и глубокое осознание, чтобы наделить нас определенностью и ясностью, в которых мы настоятельно нуждаемся.

Это вступление, пускай оно слегка затянулось, кажется мне необходимым для прояснения предмета нашего обсуждения. Сталкиваясь с проблемами, мы инстинктивно сопротивляемся желанию вступать на путь, что ведет сквозь неизведанный мрак. Нам нужны только несомненные результаты, но мы совсем забываем, что такие результаты возможно приобрести, лишь войдя

в темноту и снова из нее выйдя. Для проникновения во мрак следует собрать все силы просвещения, доступные сознанию; как уже отмечалось, не исключено, что придется даже предаться спекуляциям. Ведь мы, изучая психическую жизнь, неизбежно натыкаемся на принципиальные вопросы в частных «владениях» самых разнообразных областей знания. Теологов мы беспокоим и раздражаем ничуть не меньше, чем философов; врачей — ничуть не меньше, чем воспитателей; отваживаемся даже двигаться на ощупь во владениях биологов и историков. Столь экстравагантное поведение объясняется не самоуверенностью, а тем обстоятельством, что человеческая психика есть уникальная комбинация факторов, которые одновременно выступают предметами исследования для разных направлений науки. А последняя как таковая порождается самим человеком и его специфической психической конституцией. Она является *симптомом* нашего психического.

Потому, стоит нам задаться неизбежным вопросом «Почему человек, вопреки повадкам животного мира, вообще имеет проблемы?», как мы запутываемся в затейливом переплетении идей, что создавались на протяжении столетий усилиями многих тысяч проницательных умов. Не стану взваливать на себя сизифово бремя и стараться распутать этот клубок противоречий; постараюсь только внести свой скромный вклад в копилку способов, какими человек отвечает на этот важный вопрос.

Без сознания проблем не существует вовсе. Значит, нужно поставить вопрос иначе и спросить: «Как вообще возникает сознание?» На этот вопрос никто не может ответить с уверенностью, зато мы имеем возможность наблюдать за малыми детьми, у которых формируется сознание. Это по плечу любому внимательному родителю. Видим мы следующее: когда ребенок начинает узнавать кого-либо или что-либо, то есть когда он

«познает» человека или предмет, нам он кажется сознательным. Недаром, уж поверьте, в раю именно древо познания вырастило «запретный» плод.

Но что такое узнавание или «знание»? Мы говорим о «знании» чего-либо, когда успешно добавляем новое впечатление в уже существующий контекст, когда в сознании оказывается не только само это впечатление, но и фрагменты данного контекста. Выходит, что «знание» опирается на постигаемую связь между психическими элементами. Мы не можем иметь знания об элементе, который не связан с другими; не можем осознать его присутствие, пока наше сознание пребывает на первоначальном уровне развития. Соответственно, первая стадия сознания, доступная для наблюдения, состоит в простом установлении связи между двумя и более психическими элементами. На этом уровне сознание спорадично, оно ограничивается восприятием нескольких связей, а элементы не сохраняются в памяти. Очевидно, что в первые годы жизни непрерывной памяти нет, есть только (в лучшем случае) островки сознания, подобные отдельным огонькам или освещенным объектам в кромешной тьме. Но эти островки памяти не тождественны тем ранним связям, которые просто воспринимаются; в них присутствует новое, очень важное содержание, принадлежащее самому воспринимающему субъекту, так называемому эго. Такое содержание, подобно исходной последовательности психических элементов, поначалу просто воспринимается, из-за чего ребенок вполне естественно говорит о себе как об объекте в третьем лице. Лишь позже, когда содержание эго, так называемый эго-комплекс, приобретает собственную энергию (по-видимому, в результате обучения и практики), возникает ощущение субъективности, иначе ощущение себя. Должно быть, как раз тогда ребенок и начинает говорить о себе в первом лице, а вместе с тем, полагаю, и его память становится не-

прерывной. Фактически перед нами непрерывная последовательность эго-воспоминаний.

На этой детской стадии сознания проблем еще нет: ничто не зависит от субъекта, ведь ребенок целиком и полностью зависит от своих родителей. Он словно еще не до конца родился, он пребывает внутри родительской психической атмосферы. Психическое рождение, наряду с осознанным отчуждением от родителей, обычно происходит в период полового созревания, когда начинает бушевать сексуальность. Это физиологическое изменение сопровождается психической революцией, ведь различные телесные проявления настолько сказываются на эго, что нередко оно принимается самоутверждаться безо всяких ограничений. Вот почему эту стадию иногда называют «невыносимым возрастом» (*flegeljahre*).

До этой стадии психическая жизнь индивидуума подчиняется преимущественно инстинктам, то есть проблем почти не возникает. Даже когда внешние ограничения сдерживают субъективные устремления, они не ввергают индивидуума в разлад с самим собой. Он подчиняется этим ограничениям или обходит их, оставаясь внутренне цельным. Ему пока неизвестно состояние внутреннего напряжения, вызываемое проблемами. Такое состояние — следствие превращения внешнего ограничения во внутреннее, результат противодействия двух побуждений. На языке психологии мы говорим о проблематичном состоянии, о внутреннем разладе с собой, который возникает тогда, когда рядом с последовательностью элементов эго появляется вторая последовательность — равной интенсивности. Эта вторая последовательность благодаря своей энергетической ценности обладает функциональным значением, сопоставимым со значением эго-комплекса; можно назвать его другим, вторым эго, которое при случае способно отбирать власть у первого. В итоге

случается внутренний разлад, состояние, предвещающее проблему.

Подытожим сказанное: первая стадия сознания — простое распознавание или «узнавание» — есть стадия анархическая или хаотическая. Вторая стадия — или стадия развитого эго-комплекса — является монархической или монистической. Третья же стадия оказывается новым шагом к углублению сознания и подразумевает осознание разделенного, дуалистического состояния.

Наконец мы подошли к теме, о которой собирались рассуждать, то есть к проблеме стадий жизни. Прежде всего следует изучить период юности. Он охватывает приблизительно годы непосредственно после полового созревания вплоть до середины жизни, которая начинается между тридцать пятым и сороковым годами.

Меня, конечно, могут спросить, почему я начинаю со второй стадии жизни, словно нет никаких проблем, связанных с детством. Сложная психическая жизнь ребенка есть, разумеется, проблема первостепенной важности для родителей, воспитателей и врачей, но нормальный ребенок сам не испытывает ни малейших собственных проблем. Ведь сомневаться в себе и быть в разладе с собой — это удел взрослого человека.

Все мы знакомы с источником проблем, возникающих в период юности. Для большинства людей это требования жизни, которые сурово обрывают детские мечтания. Если индивидуум достаточно подготовлен, то овладение профессией или построение карьеры идет довольно гладко. Но если он цепляется за иллюзии, расходящиеся с реальностью, у него наверняка появятся проблемы. Никто не входит во взрослую жизнь, не лелея определенных предположений, а те порой оказываются ложными, то есть не соответствуют условиям, в которые мы попадаем. Зачастую стоит говорить о преувеличенных ожиданиях, недооценке трудностей, не-

обоснованном оптимизме или о негативной установке. Любой способен составить целый список ложных предположений, которые становятся источником первых осознанных проблем.

Но далеко не всегда проблемы проистекают из противоречия между субъективными предположениями и внешними факторами; не менее часто вина ложится на внутренние, психические затруднения. Последние возможны, даже когда во внешнем мире дела идут вполне успешно. Нередко причиной возникновения проблем выступает нарушение психического равновесия, вызванное половым инстинктом; столь же часто проявляет себя чувство неполноценности, плод непереносимой чувствительности. Эти внутренние конфликты разгораются и тогда, когда адаптация к внешнему миру достигается без видимых усилий. Порой кажется, что молодые люди, которым пришлось вести непростую борьбу за существование, лишены внутренних проблем, тогда как те, кто по какой-либо причине не испытывал трудностей с адаптацией, сталкиваются с сексуальными проблемами или с конфликтами из-за чувства неполноценности.

Людей, чей темперамент чреват проблемами, принято относить к невротикам, но было бы серьезной ошибкой путать существование проблем с неврозом, ведь между тем и другим налицо четкое различие: невротик болен потому, что он не осознает своих проблем, тогда как «проблематик» страдает от осознанных проблем, не будучи больным.

Если попытаться выделить общие и наиболее существенные факторы из почти неисчерпаемого разнообразия индивидуальных проблем, свойственных периоду юности, то во всех случаях мы увидим одну универсальную черту: пациент более или менее явно цепляется за детский уровень сознания, сопротивляется судьбоносным силам внутри и вокруг нас, вовлекающим людей

во взрослый мир. Что-то внутри желает оставаться ребенком, сохранять бессознательность или, в лучшем случае, сознавать только свое эго, отвергать все незнакомое или подчинять его своей воле, ничего не делать либо потворствовать тяге к удовольствиям и власти. Во всем этом есть что-то от инерции материи: налицо влияние предыдущего состояния, где сознание меньше, у́же и эгоистичнее, чем в дуалистической фазе. Здесь индивидуум сталкивается с необходимостью познавать и принимать нечто непривычное и незнакомое в собственную жизнь, мириться со своего рода «вторым Я».

Существенной особенностью дуалистической фазы является расширение жизненного горизонта, которое, к слову, и встречает столь яростное сопротивление. Разумеется, такое расширение — или диастола, как выражался Гете, — начинается намного раньше: оно идет с рождения, с того самого мгновения, когда младенец покидает тесную оболочку материнского тела, и устойчиво нарастает, пока не достигает предела в проблематическом состоянии, то есть пока индивидуум не начинает противиться.

Что случится, если человек просто-напросто сольется с этим своим будто бы чуждым «вторым Я» и позволит предыдущему эго кануть в прошлое? Можно предположить, что это был бы вполне практичный шаг. Сама цель всего религиозного образования, от изгнания древнего Адама и до ритуалов возрождения у первобытных племен, заключается в преобразовании человеческого существа в нового, будущего человека, и в исчезновении старого.

Психология учит, что — в некотором смысле — в психическом нет ничего старого, ничего такого, что могло бы действительно и окончательно умереть. Даже апостол Павел остался с жалом во плоти[1]. Любой, кто

[1] См. 2 Кор. 12:7-9. — *Примеч. ред.*

оберегает себя от нового и чуждого, обращаясь в прошлое, впадает в то же невротическое состояние, что и человек, отождествляющий себя с новым и убегающий от прошлого. Единственное различие здесь состоит в том, что один отделяет себя от прошлого, а другой — от будущего. Но, по существу, оба заняты одним и тем же: они укрепляют узкую преграду сознания, вместо того чтобы сломать ее в борьбе противоположностей и достичь более широкого и глубокого сознания.

Подобный результат был бы идеальным, сумей мы прийти к нему на второй стадии жизни, однако тут обнаруживается препятствие. Начнем с того, что природе нет никакого дела до более высоких уровней сознания. А общество не слишком-то ценит эти духовные свершения и всегда вознаграждает за достижения, а не за индивидуальность (как правило, последняя чаще всего оценивается лишь посмертно). Все перечисленное как бы подталкивает нас к специфическому решению: мы вынуждены ограничивать себя достижимым, выделять те способности, посредством которых общественно активный индивидуум может раскрыть свое истинное «Я».

Достижения, полезность и тому подобное суть идеалы, которые якобы указывают выход из путаницы проблематического состояния. Это путеводные звезды, которые направляют наше стремление расширить и укрепить наше психическое существование; они помогают нам пустить корни в этом мире, но бессильны направить к тому более широкому сознанию, которое принято именовать культурой. Впрочем, в период юности вести себя так вполне естественно и — при всех обстоятельствах — будет предпочтительнее, чем метаться среди круговорота проблем.

Потом данная дилемма нередко разрешается следующим образом: все, что дается нам прошлым, приспосабливается под возможности и требования буду-

щего. Мы ограничиваемся достижимым, а это означает отказ от всех прочих потенциальных психических возможностей. Кто-то утрачивает ценную часть своего прошлого, другой расстается с ценной частью своего будущего. Все мы наверняка припомним своих друзей или школьных товарищей, подававших большие надежды юных идеалистов, которые, когда мы встречаем их спустя много лет, выглядят так, словно их выжали досуха в суровых тисках. Это примеры решения, упомянутого выше.

Однако по-настоящему серьезные жизненные проблемы никогда не решаются до конца. Если и складывается впечатление, что проблема решена, это верный признак того, что нечто было упущено. Кажется, что значение и цель проблемы заключаются не в ее решении, а в нашей непрестанной работе над ней. Только это спасает нас от окаменения, от остановки в развитии. Значит, разрешение проблем в юности через ограничение себя достижимыми целями есть способ, действенный лишь временно и недолговечный с точки зрения перспектив. Конечно, отвоевание места в обществе и преобразование своего характера ради сравнительного соответствия общепринятой норме бытия во всех случаях будет немалым достижением. Борьба ведется как внутри человека, так и вовне, и ее можно сопоставить с борьбой ребенка за обладание эго. Большей частью она протекает незримо, поскольку ведется во мраке, но, когда мы видим, с каким упорством детские иллюзии, фантазии и эгоистические привычки продолжают проявляться в последующие годы, становится отчасти понятным объем энергии, затраченной на их формирование. Точно так же обстоит дело с идеалами, убеждениями, принципами и установками, которые в юности выводили нас в жизнь, за которые мы сражались, страдали и одерживали победы. Они росли вместе с нашими личностями, мы явно менялись, их воспринимая, пы-

тались их увековечить и сделать повседневными, — молодые люди утверждают свое эго вопреки окружающему миру и зачастую вопреки самим себе.

Чем ближе мы подходим к середине жизни и чем тверже укрепляемся в наших личных установках и общественном положении, тем сильнее нам кажется, что мы сумели выбрать верный курс, выбрать правильные идеалы и принципы поведения. По этой причине мы принимаем их за вечные ценности и похваляемся неизменной приверженностью всем таким ценностям. Однако мы упускаем из вида тот существенный факт, что общественно значимая цель достижима только за счет умаления индивидуальности. Многие, слишком многие проявления жизни, которые мы как будто должны были бы испытать, таятся в пыльных кладовых памяти; но порой они оказываются угольками, что тлеют под серой золой.

Статистика свидетельствует об учащении психических депрессий у мужчин в возрасте около сорока лет. У женщин невротические затруднения начинаются несколько раньше. Мы видим, что в этой фазе жизни — между тридцатью пятью и сорока годами — подготавливается важнейшее изменение в человеческой психике. Поначалу нельзя говорить об осознаваемой и поразительной перемене; скорее налицо косвенные признаки перемены, которая словно зреет в бессознательном. Зачастую наблюдается постепенное изменение характера; в иных случаях могут проявиться привычки и повадки, не дававшие о себе знать с детства, или же, наоборот, прежние склонности и интересы ослабевают, пропадают, а их место занимают другие. Наоборот (это происходит довольно часто), заветные убеждения и принципы, в особенности нравственные, начинают «затвердевать» и становятся все более жесткими, а в возрасте около пятидесяти лет наступает период нетерпимости и фанатизма. Такое впечатление, словно существова-

ние этих принципов оказывается под угрозой и возникает насущная потребность их отстаивать.

Вино юности не всегда улучшается с годами: порой оно мутнеет. Все явления, отмеченные выше, наиболее отчетливо наблюдаются у довольно односторонних людей, причем у кого-то раньше, а у кого-то позже. На мой взгляд, их возникновение зачастую задерживается из-за того, что родители людей, о которых идет речь, еще живы. В подобных случаях кажется, будто период юности чрезмерно затягивается. Четче всего это бросается в глаза у мужчин, чьи отцы живут долго. Смерть отца обычно вызывает у таких мужчин внезапное, едва ли не катастрофическое взросление.

Я знавал благочестивого мужчину, церковного старосту, который с сорока лет начал проявлять растущую нетерпимость в вопросах морали и религии (в конце концов эта его черта сделалась поистине невыносимой). Одновременно и его характер заметно портился. В итоге он словно превратился в этакую согбенную и потемневшую от времени опору храма. Дожив так до пятидесяти пяти лет, он как-то среди ночи сел в постели и сказал своей жене: «Наконец-то я все понял! Я просто обыкновенный негодяй!» Это осознание не осталось без последствий. На склоне лет он предавался порокам и промотал бóльшую часть своего состояния. Перед нами милый и привлекательный человек, явно склонный к обоим крайностям.

Очень часто невротические расстройства, возникающие во взрослые годы, объединяет общая черта: они отражают стремление перенести психологию юношеской фазы через порог так называемого возраста зрелой осмотрительности. Кто из нас не встречал трогательных старцев, которым по-прежнему не терпится воскресить наяву бурное студенческое прошлое, которые поддерживают в себе пламя жизни лишь воспоминаниями о своей героической юности, но которые

в остальном погрязли в безнадежно косном филистерстве? Как правило, им всем присуще одно достоинство, которое нельзя недооценивать: это не невротики, им попросту скучно, и они поддались стереотипам. Невротик же — это человек, у которого в настоящем никогда не складывается так, как бы ему хотелось, а потому он и своим прошлым не в силах наслаждаться.

Раньше невротик не мог выйти из детства, и точно так же теперь он не в состоянии расстаться со своей юностью. Он избегает грустных мыслей о приближающейся старости и, ощущая весь трагизм неизбежного старения, упорно норовит оглядываться назад. Подобно тому как «детская» личность страшится неведомого в этом мире и в человеческом существовании, взрослый человек пугается второй половины жизни. Его словно ожидают некие непредсказуемые и опасные испытания, или ему словно грозят жертвы и утраты, с которыми он не готов мириться, или словно прожитые годы начинают ему казаться настолько прекрасными и бесценными, что он не может их отринуть.

Возможно, что виной всему страх смерти? Этот вывод не кажется мне достаточно убедительным, поскольку, как правило, до смерти еще довольно далеко, а потому она выглядит чем-то абстрактным. Опыт подсказывает, что основную причину всех трудностей этого перехода следует, скорее, искать в глубоких и специфических изменениях внутри психического. Чтобы охарактеризовать это состояние, я хотел бы провести сравнение с суточным движением солнца, причем такого солнца, которое наделено человеческими чувствами и ограниченным сознанием. Утром оно поднимается из ночного моря бессознательного и взирает на обширный и яркий мир, что простирается перед ним в пространстве, которое постоянно расширяется по мере того, как светило поднимается выше по небесно-

му своду. В этом расширении поля деятельности благодаря возвышению над миром солнце обнаруживает свое значение: достижение максимально возможной высоты и максимально широкое распространение света и тепла представляется ему предельной целью. Исходя из такого убеждения, солнце торит путь к зениту — тот непредвидим, ибо восхождение всякий раз уникально и своеобычно, высшую точку нельзя вычислить заранее. В полдень начинается спуск, и это означает опровержение всех идеалов и ценностей, которые превозносились с утра. Солнце противоречит самому себе. Оно словно втягивает лучи, а не испускает их, как ему следовало бы поступать. Света и тепла становится все меньше, и наконец они исчезают полностью.

Все сравнения неидеальны, но данное сопоставление, по крайней мере, ничуть не хуже других. Французский афоризм цинично итожит эту мысль: «*Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait*»[1].

К счастью, мы, люди, не являемся восходящими и заходящими солнцами, ведь в противном случае это плохо сочеталось бы с нашими культурными ценностями. Но в нас все-таки имеется нечто солнцеподобное, и разговоры о заре и весне, о сумерках и осени жизни — не просто сентиментальные слова. Так мы выражаем психологические истины, более того, выражаем физиологические факты, ибо переход солнца от подъема к спуску в полдень сказывается даже на телесных характеристиках человеческих организмов. У южных народов очень заметно, что голоса пожилых женщин становятся ниже и грубее, что у них пробиваются усики и появляются другие мужские признаки. А вот в облике мужчин, напротив, проступают женственные признаки, например, полнота или оплывшие черты лица.

[1] «Если бы молодость знала, если бы старость могла» (*фр.*). — *Примеч. ред.*

Вспоминается любопытный отчет из этнологической литературы об индейском воине-вожде, которому в среднем возрасте явился во сне Великий Дух. Тот сообщил вождю, что отныне ему надлежит сидеть среди женщин и детей, носить женскую одежду и питаться женской пищей. Вождь подчинился указанию сновидения, причем его влияние на племя нисколько не пострадало. Это видение есть подлинное выражение психической революции на переломе человеческой жизни, когда та начинает клониться к закату. Ценности мужчины и даже его тело норовят превратиться в свою противоположность.

Можно сравнить мужественность и женственность, в том числе их психические элементы, с неким запасом веществ, который в первой половине жизни расходуется неодинаково. Мужчина обильно расходует мужские вещества и остается в итоге с малой толикой женских, которые теперь необходимо задействованы. А женщина пускает в оборот неиспользованный запас мужественности.

Эта перемена даже более заметна в психическом, чем в физическом. Часто случается, что мужчина в сорок пять или пятьдесят лет сворачивает дело, которым занимался, а его жена, образно выражаясь, надевает брюки и открывает небольшую лавочку, где мужчина, в лучшем случае, выполняет подсобную работу. Многие женщины словно просыпаются к социальной ответственности и общественному сознанию лишь после сорока лет. В современной деловой жизни, особенно в Америке, нередко наблюдаются нервные расстройства в возрасте старше сорока лет. Если изучить, кто становится жертвой таких расстройств, станет ясно, что к срывам приводит мужской образ жизни, преобладавший ранее, и что после срыва мужчины делаются женоподобными. Наоборот, в тех же самых областях деловой активности женщины во второй половине сво-

ей жизни выказывают непривычную, сугубо мужскую твердость мышления, которая заставляет забывать о чувствах и сострадании. Очень часто такие перемены сопровождаются различными потрясениями в браке: нетрудно вообразить, что может произойти, когда муж принимается выказывать нежность чувств, а жена — остроту мышления.

Хуже всего то, что разумные и образованные люди проводят жизнь, даже не подозревая о возможности подобных метаморфоз. Они вступают во вторую половину жизни совершенно неподготовленными. Или, может быть, имеются такие школы для сорокалетних, хотя бы средние, которые готовят их к наступающей жизни и ее требованиям, как обычные школы приобщают молодежь к познанию мира? Нет, мы вступаем во вторую половину жизни совершенно, повторюсь, неподготовленными; хуже того, мы предпринимаем этот шаг с ложной уверенностью, будто наши истины и идеалы станут служить нам и впредь так, как служили ранее. Но нельзя жить «послеполуденной» жизнью в соответствии с тем, как ты проживал зарю, ведь великое утром умаляется на закате, а то, что было истинным поутру, вечером становится ложью. Мне довелось лечить немало людей преклонного возраста, и я слишком часто заглядывал в тайники их душ, чтобы проявлять равнодушие к этой фундаментальной истине.

Стареющим людям следует знать, что их жизнь более не расширяется, не идет вверх; увы, неумолимый внутренний процесс ведет к прекращению жизни. Молодому человеку почти грешно — по крайней мере, опасно — уделять себе чрезмерное внимание, но стареющий человек должен и обязан к себе прислушиваться и присматриваться. Солнце, пролив свой благой свет на мир, прячет лучи, дабы осветить самое себя. Вместо того чтобы поступать сходным образом, многие пожилые люди впадают в ипохондрию, становятся скрягами

или педантами, восхваляют прошлое или притворяются вечными юнцами, но все это лишь жалкая замена усилиям по освещению самого себя, неизбежное следствие заблуждения, что вторая половина жизни должна подчиняться принципам первой.

Я только что сказал, что у нас нет школ для сорокалетних, но это не совсем верно. В прошлом такими школами всегда выступали для нас религии, но сколько людей считают их таковыми сегодня? Сколь многие из нас, пожилых, посещали подобные школы и вправду подготовились ко второй половине жизни, к старости, смерти и вечности?

Разумеется, человеческие существа не доживали бы до семидесяти или восьмидесяти лет, не обладай такое долголетие каким-то особым значением для человечества в целом. Закат человеческой жизни должен иметь собственное значение, он не может быть просто жалким придатком к заре нашего бытия. Значимость рассвета человеческой жизни, несомненно, состоит в развитии индивидуальности, в утверждении во внешнем мире, в размножении и в заботе о наших детях. Это очевидная цель природы. Но когда эта цель достигнута — более чем достигнута, — неужели добыванию денег, расширению завоеваний и продлению жизни суждено продолжаться далеко за все границы благоразумия и здравого смысла? Всякий, кто привносит в сумерки закон утра, или естественную цель, наносит урон своей душе — как и подрастающий юноша, который пытается распространить свой детский эгоизм на взрослую жизнь и платит за эту ошибку неудачей в общественной жизни. Добывание денег, общественные достижения, семья, потомство — все это природа в чистом виде, но никак не культура. Последняя располагается за пределами природных целей. Однако не может ли именно культура быть значением и целью второй половины жизни?

В первобытных племенах мы видим, что старики почти всегда являются хранителями тайн и законов, а эти законы выражают культурное наследие племени. Но как обстоят дела у нас? Где мудрость наших стариков, где их драгоценные секреты и видения? В большинстве своем наши старики пытаются состязаться с молодыми. В Соединенных Штатах Америки для отца считается почти идеалом быть братом своим сыновьям, а для матери — по возможности быть младшей сестрой своей дочери.

Не знаю, до какой степени эта путаница является реакцией на предыдущее чрезмерное восхваление достоинств пожилого возраста; не знаю, насколько она пропитана ложными идеалами. Очевидно, что ложные идеалы существуют, и цели тех, кто их лелеет, обращены назад, а не вперед. Вот почему такие люди всегда норовят пойти вспять. Можно соглашаться с ними в том, что действительно трудно понять, какова цель второй половины жизни, если не отталкиваться от целей первой ее половины. Продление жизни, полезность, продуктивность, обретение положения в обществе, умелое направление потомства через выгодный брак или достойные занятия — разве этого не достаточно? К несчастью, все это лишено смысла и цели для тех, кто видит в приближении старости просто сокращение срока оставшейся жизни и воспринимает свои прежние идеалы лишь как нечто увядшее и износившееся. Конечно, сумей такие люди раньше наполнить кубок жизни и осушить его до дна, они ощущали бы себя совершенно по-другому: они ничего не оставили бы позади, все, что могло перегореть, давно бы отгорело, и они с нетерпением ожидали бы спокойной и тихой старости. Но нельзя забывать о том, что крайне немногочисленные люди по-настоящему склонны к творческой жизни (*lebenskünstler*), что такая жизнь — самое выдающееся и редчайшее среди всех искусств. Кому

когда-либо удавалось опустошить чашу до дна с достоинством? Для многих людей чересчур большая часть жизни остается непрожитой; порой это потенциал, который им так и не удалось реализовать, несмотря на все старания, и потому они приближаются к порогу старости с неудовлетворенными потребностями, которые неумолимо заставляют их оглядываться на прошлое.

Но таким людям оглядываться особенно опасно. Для них принципиально необходимы наличие перспективы и цели в будущем. Вот почему все великие религии обещают загробную жизнь, ставят сверхмировую цель, которая позволяет смертному человеку проживать вторую половину жизни не менее осмысленно, чем первую. Для современного человека продление жизни и ее достойное завершение являются вполне реальными целями, тогда как идея жизни после смерти кажется ему спорной и не заслуживающей доверия. Прекращение жизни, то есть смерть, возможно принять как разумную цель либо когда существование настолько ужасно, что мы рады положить ему конец, либо когда мы убеждены, что солнце клонится к закату, «чтоб страны дальние согреть», с тем же логическим постоянством, какое выказывало при подъеме к зениту. Но вера стала сегодня столь редким искусством, что оказалась за гранью возможного для большинства людей, в особенности для образованной части человечества. Последняя слишком уж свыклась с мыслью о том, что применительно к бессмертию и тому подобным вопросам существует несчетное множество противоречивых мнений, зато отсутствуют убедительные доказательства. А слово «наука» вошло в моду и как будто приобрело статус абсолютного довода в нашем бренном мире, и посему мы требуем «научных» доказательств. Но образованные люди, способные мыслить, очень хорошо знают, что доказательства такого рода суть философская невозможность. Нам попросту не дано знать о таких явлениях.

Позволю себе заметить, что по тем же самым причинам мы не можем знать, происходит ли что-либо вообще с человеком после смерти. Здесь недопустим ни утвердительный, ни отрицательный ответ, ибо мы не обладаем достоверными научными знаниями на сей счет, а потому с равным успехом могли бы спрашивать, обитаем Марс или нет. Жителям Марса, если таковые там имеются, наверняка безразлично, подтверждаем мы или отрицаем их существование. Может, они там есть, а может, и нет. Точно так же обстоит дело с предполагаемым бессмертием — на чем можно было бы завершить обсуждение этой проблемы.

Но тут во мне просыпается врачебная совесть, которая побуждает сделать важное замечание по данному поводу. Я не раз наблюдал, что целенаправленная жизнь в целом лучше, богаче и здоровее, нежели жизнь бесцельная, и что лучше двигаться вперед вместе с потоком времени, чем назад, против его течения. Психотерапевту старик, не желающий прощаться с жизнью, кажется таким же слабым и болезненным, как и молодой человек, неспособный эту жизнь принять. Во многих случаях, кстати, вину следует возлагать на ребяческую жадность, страх, неуемное тщеславие и своенравие, присущие молодым и старикам. Как врач я убежден, что будет гигиеничнее — если разрешите употребить такое слово — признавать в смерти цель, к которой можно стремиться, а желание ее отсрочить есть нечто нездоровое и аномальное, лишающее вторую половину жизни ее цели. Поэтому для меня все религии со сверхмировой целью в высшей степени убедительны с точки зрения психической гигиены. Если я живу в доме, который, как я знаю, обрушится мне на голову в ближайшие две недели, все мои жизненные функции будут ослабляться этим знанием; зато, чувствуя себя в безопасности, я смогу жить в этом доме нормально и комфортно. Следовательно, с точки зрения психоте-

рапии желательно воспринимать смерть как переходное состояние или как часть жизненного процесса, протяженность и интенсивность которого находятся за пределами наших знаний.

Хотя большинство людей не знают, почему организму нужна соль, все мы употребляем ее в силу инстинктивной потребности. То же самое верно для психических явлений. С незапамятных времен бóльшая часть человечества ощущала потребность верить в продолжение жизни после смерти. Значит, требования терапии ведут нас не на обочину, а на самую середину торного пути, проложенного человечеством. По этой причине мы мыслим правильно и в гармонии с жизнью, пусть даже мы не понимаем, о чем думаем.

Всегда ли мы понимаем, о чем думаем? Для нас постижимо только такое мышление, которое выстраивает простые уравнения, из которого проистекает ровно то, что мы сами в него вкладываем. Такова природа и работа интеллекта. Но помимо этого существует мышление примордиальными образами, символами, более древними, чем исторический человек; они запечатлены в нас с изначальных времен, остаются вечно живыми, передаются из поколения в поколение и до сих пор составляют основу человеческой психики. Прожить полноценную жизнь возможно лишь при достижении гармонии с этими символами; мудрость — это возвращение к ним. Дело не в вере и не в знании, речь о согласованности нашего мышления с примордиальными образами бессознательного. Они суть непредставимые материнские лона всех наших мыслей, о чем бы ни помышлял наш сознательный разум. Одним из таких примордиальных образов является идея жизни после смерти. Научные данные и примордиальные образы несоизмеримы. Это иррациональные данные, априорные условия воображения, которые просто существуют, а их цель и обоснование наука может изучать лишь a posteriori, как

изучает, например, функцию щитовидной железы. До начала девятнадцатого столетия щитовидка считалась бесполезным органом, поскольку ее функций не понимали. В равной мере было бы недальновидным считать бессмысленными примордиальные первообразы. Для меня они подобны психическим органам, и я отношусь к ним с величайшим уважением. Порой мне приходится сообщать пожилому пациенту: «Ваше представление о Боге или ваша идея о бессмертии ослабели, вот почему нарушился ваш психический метаболизм». Древний φάρμακον ἀθανασίας, эликсир бессмертия, есть нечто куда более содержательное и значимое, чем нам казалось.

В заключение я хотел бы снова вернуться к нашему сравнению жизни с ходом солнца. Сто восемьдесят градусов дуги жизни делятся на четыре части. Первая четверть, лежащая к востоку, — это детство, состояние, в котором мы создаем проблемы для других, но еще не сознаем собственных проблем. Осознанные проблемы заполняют вторую и третью четверти, а вот в последней четверти, которая соответствует глубоко преклонному возрасту, мы вновь впадаем в такое состояние, когда, независимо от своего сознания, опять начинаем доставлять проблемы другим. Период детства и преклонный возраст, конечно, полностью противоположны, однако у них есть кое-что общее — это погруженность в бессознательные психические явления. Поскольку ум ребенка вырастает из бессознательного, его психические процессы, пусть и еле уловимые, не так трудно распознать, как психические процессы у глубоких старцев, которые снова погружаются в бессознательное, все более в нем исчезая. Детство и старость — это стадии жизни, свободные от каких-либо осознанных проблем, и по этой причине я не затрагивал их в своем выступлении.

Брак как психологическое отношение[1]

Как психологическая связь, брак представляет собой сложное явление. Он состоит из целого ряда субъективных и объективных признаков, которые имеют весьма гетерогенную природу. В своем докладе я хотел бы ограничиться психологической проблемой брака, поэтому мне придется исключить факторы правового и социального характера, которые, по сути, объективны, хотя эти факты значимо влияют на психологические отношения между супругами.

Всякий раз, когда говорим о психологических отношениях, мы выдвигаем на первый план *сознание*. Не существует психологического отношения между двумя людьми, находящимися в бессознательном состоянии. С точки зрения психологии, такие люди не могут находиться в каких бы то ни было отношениях. С каких-либо иных точек зрения, например с точки зрения физиологии, такие люди могут находиться в отношениях, но едва ли позволительно называть их психологическими. Разумеется, тотального отсутствия сознания в этой ситуации быть не может, но не исключается заметное частичное его отсутствие. Психологическое отношение

---

[1] Впервые опубликовано в: «*Ehe-Buch. Eine neue Sinngebung im Zusammenklang der Stimmen führender Zeitgenossen.* Kampmann», Celle, 1925 г., позднее в виде отдельной статьи: «*Seelenprobleme der Gegenwart*», Rascher, Цюрих, 1931. — *Примеч. ред.*

ограничено в той мере, в какой имеет место такое бессознательное состояние.

У ребенка сознание всплывает из глубин бессознательной душевной жизни, сначала в виде отдельных островков, которые постепенно сливаются в «континент», то есть в связное сознание. Поступательный процесс духовного развития подразумевает *расширение сознания*. Возможность психологического отношения реализуется в момент возникновения связного сознания. Сознание, насколько нам позволяет судить наш опыт, всегда есть осознание «Я». Для того чтобы осознать самость, я должен отличать себя от других. Отношение наличествует, только когда существует способность к такому различению. Хотя в норме такое различение наблюдается всегда, оно тем не менее предусматривает множество лакун, а значительные области душевной жизни попросту не осознаются. Различение отсутствует на уровне бессознательных содержаний; это значит, что на данном уровне и в данной области невозможно установление отношений: там господствует первоначальное бессознательное состояние *примитивного тождества* «Я» с другими, то есть полное отсутствия всяческих отношений.

Молодой человек, вступивший в брачный возраст, и вправду обладает осознанным «Я» (причем девушки в большей степени, чем юноши), но оно существует в таком качестве лишь недавно, после выхода из мглы начальной бессознательности. Следовательно, в таком сознании имеется множество областей, находящихся в тени бессознательного, и при достаточной их обширности установление психологического отношения становится невозможным. На практике это означает, что молодому человеку доступно лишь неполное понимание другого и самого себя, то есть он в недостаточной степени способен усваивать как чужие, так и собственные мотивы. Такой человек действует по большей ча-

сти из неосознанных мотивов. Естественно, субъективно ему кажется, что он поступает вполне осознанно; дело в том, что людям свойственно переоценивать осознаваемое содержание психики, для них становится великим и удивительным открытием, что мнимая вершина на самом деле — лишь нижняя ступенька очень длинной лестницы. Чем шире область бессознательного, тем меньше вероятность свободного выбора при вступлении в брак, что субъективно становится заметным при влюбленности, когда возникает ощущение отчетливого *давления судьбы*. В тех случаях, когда влюбленность отсутствует, давление тем не менее все равно может проявляться — разумеется, в менее приятной форме.

Неосознаваемые мотивации обладают личностной и всеобщей природой. В первую очередь, это мотивы, обусловленные *родительским влиянием*. В этом отношении определяющими для молодого мужчины будут отношения с матерью, а для девушки — отношения с отцом. Прежде всего на выбор супруга подсознательно влияет степень привязанности к родителям — она может как облегчить, так и осложнить выбор. Осознанная любовь к отцу и матери способствует выбору супруга, похожего на отца или мать. Неосознаваемая связь (которая вовсе не обязательно проявляется в сознании как любовь), напротив, осложняет выбор и вынуждает к своеобразным модификациям. Чтобы понять последние, нужно для начала выяснить, откуда возникает неосознаваемая связь с родителями и при каких условиях она принуждает к модификации выбора (или даже препятствует ему). *Как правило, не удавшаяся по искусственным причинам жизнь передается детям в извращенной форме — как жизнь, которую могли бы прожить их родители*. Фактически детей бессознательно принуждают идти в жизни тем путем, какой позволит родителям компенсировать то, что не удалось и не исполнилось в их собственной жизни. Отсюда у сверхпорядочных

родителей вырастают так называемые аморальные дети, у безответственного и распутного отца вырастает отличающийся болезненным честолюбием сын и т.д. Наихудшие последствия характерны для *искусственного бессознательного* родителей. Например, мать, которая искусственно поддается бессознательному, чтобы сохранить видимость удачного брака, привязывает к себе сына — как своего рода замену мужу. В результате ее сын, даже не став открытым гомосексуалистом, все равно будет принужден к какой-то не соответствующей его собственному характеру модификации выбора. Скажем, он может жениться на девушке, которая без возражений подчинится его матери и не будет с той конкурировать; или выберет женщину с тираническим характером, которая сумеет оторвать его от матери. При сохранении здоровых инстинктов выбор брачного партнера может остаться свободным от этих влияний; правда, они все же рано или поздно проявят свои подавляющие свойства. В большей или меньшей степени чисто инстинктивный выбор может, конечно, быть наилучшим с точки зрения сохранения вида, но с психологической точки зрения он вполне способен оказаться несчастливым, поскольку между инстинктивной и индивидуально дифференцированной личностью налицо существенные отличия. В таком случае результат сугубо инстинктивного выбора может улучшить породу или влить в потомство свежую кровь, но личное счастье окажется уничтоженным. (Понятно, что под инстинктом я подразумеваю не что иное, как общее собирательное понятие, охватывающее всевозможные органические и душевные факторы, природа которых нам по большей части неизвестна.)

Если рассматривать индивидуума только как орудие сохранения вида, то чисто инстинктивный брачный выбор следует признать наилучшим. Однако, поскольку основания такого выбора неосознаваемы, на них

можно выстраивать лишь обезличенные отношения, что мы наглядно наблюдаем у первобытных людей. Если в данном случае вообще можно говорить об «отношении», то это лишь бледное и отдаленное его подобие — очевидно, безличной природы, полностью регулируемое обыденными привычками и предрассудками, прообраз традиционного брака.

При условии, что брак детей не устраивается согласно пониманию, хитрости или так называемой заботливой любви родителей, и при условии, что первобытные инстинкты детей не изуродованы ни неправильным воспитанием, ни скрытым влиянием подавленных или игнорируемых родительских комплексов, выбор будет обусловлен неосознаваемыми инстинктивными мотивациями. Бессознательное — причина неразличимости, неосознаваемого тождества. Практическим следствием здесь будет следующее: один человек исправно предполагает в другом ту же самую психологическую структуру. Нормальная сексуальность как общее и, по всей видимости, однонаправленное переживание усиливает чувство единства и тождества. Это состояние обозначают как полную *гармонию* и восхваляют как великое счастье («единение душ и сердец»); похвала обоснована, ибо возвращение в изначальное состояние бессознательного, в состояние неосознаваемого единения сильно напоминает возвращение в детство (отсюда детское поведение влюбленных), а также возвращение в утробу матери, в изобилующее смутными ожиданиями море неосознанной до поры творческой полноты. Да, это истинное, неоспоримое переживание божественности, мощь которого гасит и проглатывает все индивидуальное. Перед нами подлинное причащение жизни и безличной судьбе. Ломается остаток собственной воли, женщина становится матерью, мужчина — отцом, оба лишаются свободы и превращаются в орудие продолжающейся жизни.

Отношение остается заключенным внутри границ инстинктивной биологической целенаправленности — направленности к сохранению вида. Поскольку эта цель имеет коллективную природу, она с точки зрения психологии не может рассматриваться как *индивидуальное отношение*. О таковом можно говорить только тогда, когда познается природа неосознанных мотиваций и уничтожается начальное единение. Редко случается (почти никогда), чтобы брак развивался в индивидуальное отношение без кризисов. Осознание никогда не бывает безболезненным.

Путей, ведущих к осознанию, много, но все они следуют известным законам. В целом изменение наступает с *наступлением второй половины жизни*. Середина жизни является временем наивысшей психологической важности. Ребенок начинает свою жизнь в узкой области влияния матери и семьи. По мере созревания расширяется горизонт и сама область влияния. Надежды и намерения направляются на расширение личной власти и владения, притязания охватывают мир во все большей степени. Воля индивидуума становится более сходной с естественными целями бессознательных мотиваций. Человек как бы вдыхает свою жизнь в обстоятельства до тех пор, пока они не начинают жить собственной жизнью и множиться, перерастая «воодушевителя» в итоге. Дети обгоняют мать, мужчин перерастают их творения, и уже невозможно удержать то, что было создано величайшим напряжением сил. Сначала это страсть, затем обязанность, затем невыносимый груз, как вампир, высасывающий жизнь из своего создателя. Середина жизни — миг наибольшего развертывания, когда человек со всеми своими силами, со всей своей волей находится в гуще дел. Однако именно тогда рождается вечер, начинается вторая половина жизни. Увлечение меняет маску и отныне начинает называться обязанностью, воля неумолимо превращается в прину-

ждение, а повороты пути, которые прежде вызывали удивление и приводили к открытиям, становятся привычными. Вино перебродило и начинает отстаиваться. Если все идет хорошо, человек проявляет склонность к консерватизму. Вместо того, чтобы смотреть вперед, непроизвольно оглядываются назад и начинают постигать, как и почему жизнь до сих пор развивалась именно так. Ведутся поиски истинных мотиваций и делаются открытия. Критический анализ своего «Я» и своей судьбы позволяет человеку познать своеобразие личности. Но это познание не обходится без последствий. Оно достается человеку ценой сильного потрясения.

Поскольку цели второй половины жизни отличаются от целей начальных, постольку возникает, в результате застревания на юношеской установке, расщепление воли. Сознание стремится вперед, подчиняясь в известной мере своей деятельности; бессознательное же задерживается на месте, ибо сила и воля уже исчерпали возможности к расширению. Само по себе это отсутствие единства воли создает неудовлетворенность, а раз такое состояние не осознается, его проецируют, как правило, на супруга. Тем самым возникает критическая атмосфера, необходимая предпосылка осознания. Как правило, это состояние возникает у супругов не одновременно. С такой полнотой даже самый совершенный брак не может устранить различия с тем, чтобы состояния супругов были все время одинаковыми. Обычно, кто-то один находит себя в браке раньше. Один, опираясь на позитивное отношение к родителям, сможет без особого труда приспособиться к супругу, другой же, напротив, может задержаться в развитии за счет глубокой и неосознаваемой связи с родителями. Поэтому он позже полностью приспосабливается к браку, а с учетом того, какой ценой далось ему приспособление, крепче держится за брак.

Разница в темпе, с одной стороны, и *духовный охват личности*, с другой стороны, — вот те факторы, которые порождают типичные трудности, полностью проявляющие себя в кризисах. Надо уточнить, пожалуй, что под «духовным охватом личности» я имею в виду вовсе не особое богатство или щедрость натуры. Этого я не хочу сказать ни в коем случае. Я вкладываю сюда, скорее, представление об известной *сложности* духовной природы; можно уподобить мое понимание сравнению камня со многими гранями и простого куба. Некоторые многосторонние, как правило, проблематичные натуры обладают более или менее трудно совместимыми унаследованными психическими свойствами. Приспособление к таким натурам или их приспособление к натурам более простым всегда затруднено. Такие люди с диссоциированным, если угодно, характером часто наделены способностью надолго отщеплять несовместимые черты нрава и представать в образе простых натур — а в других случаях их «многосторонность» и «яркость» как раз выступают притягательной силой. В таких запутанных, как лабиринт, натурах можно легко заблудиться и потеряться, то есть другой человек находит такую полноту возможностей переживания, что его личные интересы оказываются полностью поглощенными; это не всегда бывает приятно, ибо мало кому нравится нащупывать возможные окольные дороги и тропинки. Иногда обнаруживается такое обилие возможностей переживания, что более простая личность попросту втискивается в пределы личности более сложной. Это явление встречается повсеместно: женщина, духовно пребывающая в своем муже, или мужчина, эмоционально полностью зависимый от своей жены. Можно обозначить такое отношение как *проблему содержащего и содержимого*.

Содержимый фактически целиком поглощен браком. Он нераздельно обращен к другому, вне брака

у такого человека не существует ни значимых обязательств, ни привязывающих интересов. Неприятной стороной такого «идеального» состояния является тревожная, беспокоящая зависимость от другой, отчасти необозримой, а потому не заслуживающей доверия и не вполне надежной личности. Преимуществом же является собственная цельность — для душевного равновесия этот фактор просто неоценим!

Содержащий, который в силу своего частично диссоциированного склада характера может испытывать потребность соединиться с другим в цельной и нераздельной любви, в своем стремлении будет превзойден (поскольку немало затрудняется в этом) натурой более простой. Он постоянно ищет в другом тонкости и сложности, которые могли бы послужить продолжением и отражением его собственных граней, и тем нарушает простоту другого. Так как простота в обычных условиях имеет преимущество перед сложностью, то ему приходится очень скоро прекратить попытки побудить простую натуру к тонким и проблематичным реакциям. Также другой, который в согласии с простотой своей натуры ищет у него простых ответов, доставит ему немало хлопот, ибо уже в силу ожидания простых ответов он упорядочивает сложности содержащего (для обозначения такого упорядочения существует технический термин «констелляция»[1]). Первому волей или неволей приходится отступить перед убедительной силой простоты. Духовное (в целом это почти всегда осознанный процесс) означает для человека такое напряжение, что он при всех обстоятельствах предпочитает простое решение, даже пусть оно в данном случае оказывается неверным. А если простой ответ хотя бы частично верен,

[1] Понятие «констелляция» широко применяется в аналитической (юнгианской) психологии; под ним подразумевается совокупность психических состояний и сопровождающих эти состояния аффектов. — *Примеч. ред.*

содержащий невольно подпадает под влияние простоты. Простая натура воздействует на более сложную, как чересчур тесная комната, где для сложной натуры слишком мало пространства. Напротив, более сложная натура дает более простой слишком много просторных комнат, так что эта последняя никогда толком не знает, где она, собственно, находится. Так совершенно естественным путем выходит, что более сложная натура содержит более простую. Первая не может раствориться в последней, она ее окружает и поэтому не может окружить себя. Однако вследствие того, что более сложная натура испытывает бо́льшую потребность быть окруженной, она ощущает себя вне брака и всегда поэтому исполняет проблематичную, скажем так, роль. Чем больше владения простоты, тем более вытесняемым ощущает себя содержащий. Своим упорством простота сильно давит, и чем сильнее она вытесняет, тем в меньшей степени содержащий способен отвечать тем же. Поэтому содержащий всегда в той или иной мере начинает, как говорится, посматривать в окно. Когда же он достигает середины жизни, в нем просыпается стремление к тому единению и нераздельности, каковые ему, в силу диссоциированной натуры, особенно необходимы; тогда наблюдается обыденное явление, перемещение в сознание наличествующего конфликта. Он осознает, что ищет дополнение, ищет принадлежности и нераздельности, которых ему все время не хватало. Для содержимого это событие означает в первую очередь подтверждение болезненно воспринимаемой неуверенности; он обнаруживает, что в комнатах, которые вроде бы принадлежали ему, живут и другие, нежеланные гости. Надежда на определенность улетучивается, и это разочарование возвращает его к самому себе, если он, ценой отчаянных и насильственных мер, не преуспевает в желании поставить другого на колени, довести до его сведения и убедить, что томление по

единению есть не что иное, как детская или болезненная фантазия. Если это насилие не приносит успеха, то примирение с отказом от подавления дарует несказанное благо, внушает понимание того, что определенность, которую он всегда искал в другом, надо найти в себе. Так он обретает себя и открывает в своей простой натуре все те сложности, которые напрасно искал в нем содержащий.

Если содержащий при виде такой картины не разрушит, как принято выражаться, заблуждения брака, если он будет верить во внутреннюю оправданность своего стремления к единению, то он с самого начала возьмет на себя это внутреннее противоречие. Диссоциация излечивается не отщеплением, а разрывом. Все силы, стремящиеся к единению, вся здоровая воля собственного «Я» восстают против разрыва, из-за чего осознается возможность внутреннего объединения, столь чаемая прежде. Нераздельность он находит внутри себя, как свое собственное достояние.

Таково это явление, свойственное середине жизни; именно таким путем осуществляет удивительная натура человека переход из первой во вторую половину жизни, превращение состояния, в котором человек был лишь орудием своей инстинктивной природы, в другое состояние, в котором он перестает быть орудием, становится самим собой, когда природа превращается в культуру, а влечение — в дух.

Надо остерегаться попыток прервать ход этого естественного развития насильственной моральной деятельностью, ибо создание духовной установки за счет отщепления и подавления влечений будет *подделкой*. Нет ничего более отвратительного, чем исподволь сексуализируемая духовность: она так же порочна, как и гипертрофированная чувственность. Переход — это долгий путь, и большинство людей на нем застревает. Если кто-то сможет духовное развитие в браке и за счет

брака оставить в бессознательном, как случается у первобытных людей, то эти изменения происходят без существенного трения и более полно. Среди так называемых примитивных народов встречаются духовные личности, к которым испытывают глубокое почтение как к совершенным образцам незамутненного предопределения. Я говорю об этом, опираясь на личный опыт. Где среди нынешних европейцев найдем мы не изуродованные моральным насилием натуры? Мы все еще слишком близки с варварству, чтобы верить в аскезу и ее противоположность. Но колесо истории невозможно повернуть вспять. Мы можем стремиться только вперед, к той установке, которая позволит нам жить так, как того желает нетронутая определенность первобытного человека. Лишь при таком условии мы перестанем извращать дух в чувственности и чувственность в духе, поскольку оба имеют право на жизнь, обе эти стороны бытия взаимно питают друг друга.

Очень кратко описанное здесь изменение является сущностным содержанием психологического отношения в браке. Можно было бы многое сказать об иллюзиях, которые служат природной цели, а также влекут за собой изменения, знаменательные для середины жизни. Присущая первой половине жизни гармония брака (в случае, если такая адаптация вообще осуществляется) опирается на самом деле (как потом выясняется в критической фазе) на проекции известных типических образов.

Каждый мужчина носит в себе с давних пор образ женщины, не образ конкретной, а образ *какой-то* определенной женщины. Этот образ вбирает в себя неосознаваемую, пришедшую из глубины веков и внедренную в живую систему наследственность, «тип» («архетип») всего опыта длинного ряда предков о познании женщин, осадок всех впечатлений от женщин, унаследованную систему психической адаптации. Если реаль-

ной женщины рядом нет, то из этого бессознательного образа можно в любой миг узнать, как в душевном отношении она должна выглядеть. То же самое можно сказать о женщине: у нее тоже есть врожденный образ мужчины. Опыт учит, что можно выразиться точнее: образ *мужчин*, в то время как у мужчины присутствует образ *одной* женщины. Поскольку этот образ является неосознаваемым, постольку он бессознательно проецируется на фигуру возлюбленной и является одной из причин страстного влечения к его противоположности. Этот образ я обозначил термином *анима* и поэтому нахожу очень интересным схоластический вопрос «Habet mulier animam?» («Есть ли у женщины душа?»), причем придерживаюсь того мнения, что этот вопрос в равной мере обоснован и сомнителен. У женщины нет анимы, зато есть *анимус*. Анима носит эротико-эмоциональный характер, анимус — характер резонерствующий, потому большая часть того, что имеют сказать мужчины о женской эротике и вообще о женской чувственной жизни, опирается на проекцию собственной анимы и является, следовательно, искаженным представлением. Поразительные допущения и фантазии женщин о мужчинах основаны на влиянии анимуса, каковой неисчерпаем в порождении нелогичных умозаключений и ложной причинности.

Анима и анимус характеризуются необычайной многосторонностью. В браке всегда есть содержимый, который проецирует образ на содержащего, а последнему лишь отчасти удается проецировать свой образ на супруга. Чем более однозначен и прост содержимый, тем хуже обстоит дело с этой проекцией. В высшей степени чарующий образ как бы повисает в пустом пространстве и ждет заполнения реальным человеком. Но имеются женские типы, которые, кажется, самой природой предназначены для того, чтобы принимать проекции анимы. Можно даже говорить об определенном

типе характера. Необходимым признаком выступает характер «сфинкса», двуличность или даже многозначность; не та смутная неопределенность, в которую невозможно ничего вложить, а многообещающая неопределенность с красноречивым молчанием Моны Лизы — перед нами ведь женщина молодая и старая, мать и дочь, со спорной целомудренностью, с детским и обезоруживающим мужчин умом[1]. Не всякий мужчина с подлинно мужским духом может притягивать анимус, он должен располагать не столько хорошими идеями, сколько хорошими, многозначительными словами, в которых допустимо угадывать многое невысказанное. Он должен быть в какой-то степени непонятым, по меньшей мере, каким-то образом должен противопоставлять себя своему окружению, чтобы его окутывал ореол жертвенности. Он должен быть двусмысленным героем с немалыми возможностями, причем нет никакой уверенности в том, что проекция анимуса многим ранее и с большей вероятностью уже не нашла настоящего героя, предпочтя его длительному постижению так называемого среднего человека[2].

Для мужчины, как и для женщины, если они являются содержащими, выведение этого образа является переживанием, чреватым последствиями, ибо здесь возникает возможность откликнуться на собственную сложность соответствующим многообразием. Как кажется, здесь открываются те обширные пространства, в которых можно себя окружить и содержать. Я подчеркиваю слово «кажется», ибо эта возможность неоднозначна и двусмысленна. Как женская проекция анимму-

[1] Отличные описания этого типа можно найти у Райдера Хаггарда в романе «Она» и в «Атлантиде» Бенуа. — *Примеч. авт.*

[2] Достаточно внятно анимус описан в романе Мэри Хэй «Злой вертоград». Кроме того, описания анимуса встречаем у Элинор Уайли в романе «Дженнифер Лорн» и у Сельмы Лагерлеф в романе «Сага о Йосте Берлинге». — *Примеч. авт.*

са фактически выделяет из массы неопознанных одного-единственного мужчину, более того, своей моральной поддержкой может помочь ему определиться в жизни, так и мужчина способен за счет проекции анимы разбудить для себя «вдохновительницу». Но чаще это оказывается иллюзией с разрушительными последствиями. Неудача случается из-за того, что вера была недостаточно сильной. Пессимистам я должен сказать, что в этих изначальных душевных образах заложена исключительная позитивная ценность; оптимистов, напротив, надо предостеречь от ослепительных фантазий и самых абсурдных заблуждений.

Ни в коем случае нельзя понимать эти проекции как индивидуальное и осознанное отношение. Это ни в коем случае не так. Проекция порождает принудительную зависимость на основании неосознанных, отнюдь не биологических мотивов. В романе «Она» Райдер Хаггард в некотором приближении показал, мир каких удивительных представлений лежит в основе проекций анимы. Там присутствует, по сути, духовное содержание, часто в эротической «обертке», фрагменты примитивной мифологической ментальности, проявления архетипов, совокупно образующие так называемое *коллективное бессознательное*. Соответственно, подобное отношение, если взять его основу, тоже коллективно, а не индивидуально. (Бенуа, создавший в «Атлантиде» фантастическую фигуру, которая в мельчайших подробностях накладывается на женский образ Хаггарда, обвинял последнего в плагиате.)

Если у одного из супругов имеет место такая проекция, то коллективное биологическое отношение выступает против коллективного духовного и ведет к описанному выше разрыву в душе содержащего. Если ему удается справиться, то именно благодаря этому конфликту он обретает самого себя. В этом случае проекция, опасная сама по себе, помогает перейти от коллективного

к индивидуальному отношению, что равнозначно полному осознанию отношения в браке. Поскольку целью этой статьи является разбор психологии брака, постольку я опущу рассуждения о психологии проекционных отношений и ограничусь только упоминанием самого факта.

Едва ли возможно рассуждать о психологическом отношении в браке без хотя бы краткого упоминания природы критических переходов и указания на опасность неправильного понимания. Ясно, что нельзя психологически понять то, что не было пережито на собственном опыте. Этот факт, увы, никому не мешает утверждать, будто его суждение является единственно верным и правильным. Это поразительное обстоятельство проистекает из переоценки соответствующего содержания сознания. (Без накопления внимания человек не смог бы ничего сознавать.) Так получается, что каждый возраст обладает своей психологической истиной, так сказать, своей программной истиной, то есть определенной ступенью психологического развития. Есть ступени, которых достигают лишь немногие — это вопросы расы (породы), семьи, воспитания, дарований и страстей. Природа аристократична. Нормальный человек — это фикция, хотя существуют, конечно, общепризнанные закономерности. Душевная жизнь есть развитие, которое может остановиться на самых нижних ступенях. Дело обстоит так, как если бы каждый индивидуум обладал специфическим весом, соответственно которому он поднимается или опускается на ту ступень, где достигает своих границ. Соответственно этому формируются его познания и убеждения. Нет поэтому ничего удивительного в том, что большинство всех браков с биологической определенностью достигает высших психологических границ без вреда для духовного и нравственного здоровья. Относительное меньшинство оказывается в глубоком разла-

де с самими собой. Там, где велика внешняя потребность, конфликт из-за недостатка энергии может не обрести драматического напряжения. Но пропорционально росту социальной уверенности нарастает психологическая неопределенность и неуверенность: исходно неосознаваемая, она вызывает неврозы, затем осознается и ведет к отчуждению, ссорам, разводам и прочим «ошибкам брака». На более высокой ступени познаются новые возможности психологического развития, которые затрагивают религиозную область, где критическое суждение достигает своего предела.

На всех этих ступенях возможны длительные остановки с полным отсутствием осознания того, что может последовать на следующем этапе развития. Как правило, даже подход к следующей ступени преграждают мощнейшие предрассудки и суеверные страхи (это исключительно полезное явление, ибо человек, которому волей случая позволяется занять слишком высокую для него ступень, начинает выглядеть как ущербный глупец).

Природа не только аристократична, но еще полна эзотерики. Ни один разумный человек не даст соблазнить себя сокрытием тайны, ибо он слишком хорошо знает, что тайну душевного развития невозможно выдать, просто потому что развитие заложено и сосредоточено в самом индивидууме.

Аналитическая психология и мировоззрение[1]

Немецкое слово *Weltanschauung*[2] вряд ли можно перевести на другой язык. Исходя из этого, мы сразу понимаем, что оно должно иметь некое психологическое своеобразие. Это слово выражает не только понятие о мире — подобное значение вполне поддается переводу, — но вместе с тем и отношение к миру. Слово «философия» подразумевает нечто схожее, однако оно затрагивает лишь интеллектуальную область, тогда как слово *Weltanschauung* охватывает все способы восприятия мира, включая в том числе философский. Так, существуют эстетическое, религиозное, идеалистическое, реалистическое, романтическое, практическое *Weltanschauung*, если перечислить всего несколько разновидностей. В этом смысле понятие *Weltanschauung* сопоставимо с понятием *установки,* которое выражено понятийно.

Что в таком случае следует понимать под установкой? Установка — это психологический термин, характеризующий особое расположение психических эле-

[1] Доклад, прочитанный в 1927 г. в Карлсруэ. В переработанном и расширенном виде напечатан в сборнике «Проблемы души нашего времени» (Цюрих, 1931).

[2] Букв. «мировоззрение», но вторая часть этого слова также имеет значение «верование». — *Примеч. пер.*

ментов, направленное на какую-то цель или подчиненное некоему руководящему принципу. Если сравнить наши психические элементы с воинством, а различные формы установки — с боевым расположением частей, то внимание, например, можно было бы представить как состояние полной боеготовности в окружении разведывательных групп. Едва численность и позиция неприятеля становятся известными, диспозиция изменяется: войско начинает движение в направлении заданной цели. Абсолютно так же изменяется психическая установка. В состоянии внимания господствует бдительность, собственные мысли человека подавляются, насколько это возможно, заодно с прочими субъективными элементами, но при переходе к активной установке субъективные элементы проявляются в сознании — это представления о цели и побуждение к действию. У войска имеется командующий и штаб, а у психической установки есть своя общая направляющая идея, которую подкрепляет обширный материал — впечатления, принципы, различные аффекты и т.п.

Надо сказать, что никакое человеческое действие не является сугубо простым — изолированной, если угодно, реакцией на определенный раздражитель. Всякое наше действие или поступок обусловливается сочетанием психических факторов. Снова обращаясь к аналогии с войском, мы могли бы сравнить эти процессы с деятельностью штаба. Для солдата в окопе все выглядит так, будто войско отступает, потому что враг атаковал, или наступает, потому что врага заметили. Наш сознательный разум всегда расположен примерять на себя роль простого солдата и верить простым решениям. Но на самом деле сражение дают в конкретном месте и в конкретное время потому, что таков общий план наступления, согласно которому простых солдат уже несколько дней перебрасывали к нужной точке. А этот общий план, опять-таки, представляет

собой не спонтанную реакцию на донесения разведки, а результат творческой инициативы командующего; более того, он обусловливается действиями противника и, возможно, невоенными, политическими соображениями, о которых простой солдат, разумеется, не осведомлен. Последние факторы также обладают крайне сложной природой и лежат за пределами понимания простого солдата, притом что они могут быть предельно ясны командиру. Но и командующий тоже кое-чего наверняка не знает: речь о его собственных, персональных убеждениях и предпочтениях. В итоге войско находится как будто под прямым и четким командованием, но само командование есть результат скоординированного взаимодействия бесконечно сложных факторов.

Психическое действие совершается на столь же сложных основаниях. При всей мнимой простоте раздражителя любая его особенность, сила и направление, временное и пространственное, цель и пр. опосредуются конкретными психическими условиями, иными словами, установкой; эта установка, в свою очередь, состоит из сгруппированных элементов, столь многочисленных, что их невозможно пересчитать. Эго выступает в качестве главнокомандующего, штабом будут его рассуждения и решения, доводы и сомнения, намерения и ожидания, а зависимость эго от внешних факторов равнозначна зависимости командующего от почти непредсказуемого влияния генштаба и закулисных политических махинаций.

Полагаю, мы не усложним избыточно нашу аналогию, если дополним ее отношением человека к миру. Индивидуальное эго может считаться командиром небольшого войска, которое сражается против окружающей реальности (эта битва нередко ведется на два фронта — тут и борьба за существование, и подавление собственной мятежной и инстинктивной натуры). Даже тем из нас, кого не причислишь к пессимистам, наше

бытие кажется прежде всего борьбой, схваткой. Состояние мира видится желательным, и, когда человеку удается примириться с собой и с мирозданием, это становится поистине замечательным достижением. Потому, откликаясь на более или менее постоянное нахождение в состоянии войны, мы нуждаемся в тщательно упорядоченной установке; если же кто-то сумел все-таки обрести душевное равновесие, его установка по-прежнему требует дальнейшего развития, если он намерен сохранить такое состояние хотя бы ненадолго. Для души куда проще находиться в постоянном движении, в непрерывном потоке событий, чем пребывать в длительном покое, ибо в последнем случае — каким бы возвышенным и идеальным это состояние ни казалось — ей грозит удушье и невыносимая скука. Значит, мы не станем обманывать себя, если предположим, что состояние душевного умиротворения — то есть бесконфликтный, гармоничный, созерцательный и сбалансированный настрой — всегда, покуда он длится, зависит от наличия особенно развитой установки.

Быть может, кого-то удивит, что я предпочитаю говорить об «установке», а не о «мировоззрении». Дело в том, что, рассуждая об установке, я благополучно избегаю вопроса о том, определяется ли она сознательным или бессознательным мировоззрением. Человек способен командовать собственной армией и успешно биться за существование вовне и внутри себя, добиваться даже сравнительно длительного состояния мира, не обладая сознательным мировоззрением, но нельзя достичь того же самого без установки. Мы вправе говорить о мировоззрении только тогда, когда предпринимается сколько-нибудь серьезная попытка выразить установку, понятийно или наглядно, чтобы стало ясно, почему и для чего мы так поступаем и живем.

К чему тогда, могут спросить, мировоззрение, если без него вполне можно обойтись? На тех же основаниях

можно спрашивать, к чему нам сознание, если оно не обязательно. Ведь мировоззрение, в конце концов, есть не что иное, как *расширенное или углубленное сознание*. Причина, по которой существует сознание и по которой налицо потребность его расширять и углублять, очень проста: без сознания жить хуже. Вот почему мать-Природа наделила человека сознанием, этим причудливейшим среди всех ее странных творений. Даже почти лишенный сознания дикарь способен приспосабливаться и утверждаться — в своем первобытном мире, а при других обстоятельствах становится жертвой бесчисленных опасностей, которых мы, находясь на более высокой ступени сознания, без труда избегаем. Конечно, более развитому сознанию грозят опасности, неведомые первобытному человеку, но не подлежит сомнению, что именно сознательный, а не бессознательный человек покорил планету. Считать это преимуществом или бедой, со сверхчеловеческой, если угодно, точки зрения, — решать не нам.

Развитое сознание обусловливает мировоззрение. Всякое осознанное понимание мотивов и намерений есть зачаток мировоззрения; любое накопление опыта и знания есть шаг в направлении мировоззрения. Создавая образ мира, мыслящий человек одновременно изменяет самого себя. Человек, для которого Солнце по-прежнему вращается вокруг Земли, принципиально отличается от того, для которого Земля является спутником Солнца. Размышления Джордано Бруно о бесконечности пространства не пропали втуне: из них зародилось одно из важнейших начал современного сознания. Человек, космос которого висит в эмпиреях, ничуть не похож на того, чей разум озарен видением Кеплера. Тот, кто по-прежнему сомневается, сколько будет дважды два, не такой, как тот, для которого нет ничего убедительнее априорных истин математики. Иными словами, нам не безразлично, каким именно

мировоззрением мы обладаем, поскольку не только мы создаем картину мира, но и она исподволь нас изменяет.

Представление, которое складывается у нас о мире, есть образ того, что мы называем миром. В соответствии с этим образом мы ориентируемся в жизни и приспосабливаемся к реальности. Уже говорилось, что это происходит неосознанно. Простой солдат в окопах не осведомлен о деятельности штаба. (Правда, мы сами для себя есть и штаб, и командующий.) Почти всегда требуется волевое решение для того, чтобы отвлечь разум от сиюминутных неотложных забот и направить его на более общие заботы, связанные с установкой. Если этого не сделать, мы, естественно, не осознаем собственную установку и не обретем, следовательно, мировоззрения, но получим бессознательную установку. Мотивы и намерения, которые не принимаются во внимание, остаются бессознательными, и все кажется чрезвычайно простым, происходит как бы само собой. В действительности же здесь протекают очень сложные процессы, которые опираются на мотивы и намерения, изощренные до предельной степени. По этой причине многие ученые отказываются от мировоззрения, которое признают ненаучным. По всей видимости, этим людям и в голову не приходит, что именно они делают. Фактически имеет место следующее: умышленно оставляя себя в неведении относительно руководящих идей, они цепляются за более низкую, первобытную ступень сознания, нежели та, что соответствует их истинным возможностям. Критика и скепсис далеко не всегда служат признаком интеллекта — нередко бывает наоборот, особенно когда ими прикрывают отсутствие мировоззрения. Очень часто это означает нехватку морального, а не интеллектуального мужества, ведь нельзя смотреть на мир и не видеть в нем себя, а раз человек видит мир и видит себя, для этого необходима изрядная

смелость. Поэтому отсутствие мировоззрения безусловно пагубно.

Обладать мировоззрением — значит создать образ мира и образ самого себя, знать, каков мир и каков я сам. В буквальном смысле это, пожалуй, чересчур. Никто не может знать, каков мир или кем является он сам. Но *cum grano salis*[1] это значит наилучшее знание, которое почитает мудрость и чурается необоснованных предположений, произвольных утверждений и назидательных поучений. Такое знание ищет хорошо обоснованные гипотезы, но не забывает о своей ограниченности и подверженности заблуждениям.

Если бы образ мира, создаваемый нами, не воздействовал на нас самих, то можно было бы довольствоваться какой-нибудь красивой и приятной картинкой (*scheine*). Но подобный самообман бьет по нам рикошетом, делает нас нереальными, глупыми и бесполезными. Склоняясь к ложной картине мира, мы поддаемся превосходящим силам реальности. Опыт учит, насколько важно иметь тщательно обоснованное и упорядоченное мировоззрение.

Мировоззрение есть гипотеза, а не предмет веры. Мир меняет свое лицо — *tempora mutantur et nos mutatur in illis*[2], — ибо он познаваем для нас лишь как внутренний психический образ, и не всегда легко понять, что изменилось в образе: сам мир, или только мы, или же все вместе. Образ мира может измениться когда угодно, как и наше представление о самих себе. Всякое новое открытие, всякая свежая мысль способны придать миру новый облик. Это необходимо учитывать, не то мы внезапно обнаружим себя в устаревшем мире, пережитке более низкой ступени сознания. Рано или поздно все

[1] Букв. «с крупинкой соли» (*лат.*), т. е. иронически или критически. — *Примеч. ред.*

[2] Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними (*лат.*). — *Примеч. ред.*

умирают, даже при жизни, но крайне важно отодвигать этот миг как можно дальше, и единственный способ тут — это не позволять нашему образу мира застывать в неподвижности. Каждую новую мысль нужно оценивать с той точки зрения, привносит она что-либо в нашу картину мира или нет.

Приступая теперь к обсуждению взаимоотношений аналитической психологии с мировоззрением, я намерен рассматривать их с той точки зрения, которую изложил выше, а именно — пытаться понять, вносит ли аналитическая психология нечто новое в наше мировоззрение. Чтобы получить полноценный ответ, нужно сначала коротко определить сущность аналитической психологии. Под этим термином я подразумеваю особое направление психологии, которое занимается преимущественно так называемыми комплексными психическими феноменами, в отличие от физиологической или экспериментальной психологии, каковая норовит разложить, насколько это возможно, комплексные феномены на их составляющие. Употребляя слово «аналитическая», мы показываем, что это направление психологии выросло из первоначального фрейдовского психоанализа. Фрейд отождествил психоанализ со своей теорией сексуальности и вытеснения и тем самым возвел его в доктрину. Потому-то я стараюсь избегать слова «психоанализ» вне обсуждения чисто технических вопросов.

Психоанализ Фрейда представляет собой, прежде всего, методику возвращения в сознание так называемых вытесненных элементов психического, которые таятся в бессознательном. Эта методика лежит в основе терапевтического способа, призванного обеспечить толкование и лечение неврозов. Она позволяет трактовать болезнь так, как если бы невроз возникал вследствие того, что отдельные неприятные воспоминания

и склонности, так называемое неприемлемое содержание, вытесняются из сознания и становятся бессознательными под влиянием своего рода морального отвращения, результата воспитания. При такой трактовке бессознательная психическая деятельность — то, что мы называем бессознательным — оказывается вместилищем (*rezeptakel*) всех тех элементов, которые претят сознанию, наряду со всеми забытыми впечатлениями. С другой стороны, нельзя не учитывать, что эти несовместимые элементы порождаются бессознательными влечениями, из чего следует, что бессознательное — не просто вместилище, оно также есть источник всего того, что отвергается сознанием. Можно, конечно, сделать следующий шаг и заявить, что бессознательное на самом деле порождает новое содержание. Все, что когда-либо сотворял человеческий разум, обязано своим происхождением тем семенам, что посеяло и прорастило бессознательное. Фрейд особо подчеркивал первое качество бессознательного, я же, не отрицая его значения, больше выделяю второе. Разумеется, достаточно важно то обстоятельство, что человек старается избегать неприятностей и потому охотно забывает все то, что ему не нравится, однако мне представляется, что куда важнее прояснить *позитивную* деятельность бессознательного. С такой точки зрения бессознательное видится совокупностью всех находящихся *in statu nascendi*[1] психических элементов. Эта позитивная функция бессознательного нарушается из-за вытеснения элементов (впрочем, не только из-за этого), и подобное нарушение естественной деятельности бессознательного мы должны признать, как я полагаю, наиглавнейшей причиной так называемых психогенных заболеваний. Мы лучше поймем бессознательное, если станем воспринимать его как некий внутренний орган

[1] В зачаточном состоянии (*лат.*). — *Примеч. ред.*

со своей специфической творческой энергией. Если в результате вытеснения какие-либо психические элементы не могут проникнуть в сознание, то возникает нечто вроде запруживания, когда целенаправленная функция упирается в преграду; точно так же может возникнуть преграда для желчи, естественного продукта функции печени, на пути оттока в кишечник. Вследствие вытеснения психическое находит «неправильные» каналы распространения. Желчь попадает в кровь, а вытесненные элементы прорываются в иные психические и физиологические области. При истерии нарушаются в первую очередь физиологические функции; при других неврозах, будь то фобии, обсессии или неврозы навязчивых состояний, нарушаются в основном психические функции, например сновидения. Активность вытесненных элементов проявляется в физических симптомах истерии и в психических симптомах прочих неврозов (а также психозов), и точно так же она сказывается на сновидениях. Сама по себе способность видеть сны есть нормальная функция, но ее возможно нарушить через возведение преграды, как и любую другую функцию. Фрейдовская теория сновидений рассматривает и даже объясняет сновидения только под этим углом зрения, как будто перед нами всего-навсего симптом болезни. Иные направления активности психоанализ, что хорошо известно, трактует подобным же образом; это касается, к примеру, произведений искусства. Но здесь слабость теории Фрейда становится очевидной, ибо совершенно ясно, что художественное произведение — никак не симптом, а подлинное творение. Вообще творческие достижения возможно оценивать только по их собственным качествам. Если понимать творчество как патологическое недоразумение и соотносить его с неврозом, такая попытка объяснения вскоре приведет к достойным сожаления курьезам.

То же самое справедливо и в отношении сновидений. Перед нами типичное творение бессознательного, попросту искаженное, извращенное вследствие вытеснения из сознания. Значит, всякое объяснение, усматривающее в снах лишь симптом вытеснения, бьет мимо цели.

Прервем ненадолго наше изложение и остановимся на плодах фрейдовского психоанализа. Согласно теории Фрейда, человек — существо, обуреваемое инстинктами; он множеством способов вступает в конфликт с законами, нравственными заповедями и собственными воззрениями; поэтому он вынужден вытеснять некоторые влечения целиком или частично. Задача состоит в том, чтобы переместить эти инстинктивные элементы в сознание и с помощью сознательной коррекции сделать их вытеснение ненужным. Угрозе, которую сулит их высвобождение, противопоставляется следующее разъяснение: это лишь инфантильные фантазии и желания, которые легко подавляются, причем уже осознанно. Также предполагается, что их можно «сублимировать», если воспользоваться техническим термином, то есть как бы преобразовать в подходящую адаптивную форму. Но если кто-то верит, что этого возможно добиться силой воли, то увы, придется, его разочаровать — лишь насущная необходимость действенно препятствует естественным инстинктам. В отсутствие такой нужды или острой необходимости «сублимация» будет откровенным самообманом, новой и чуть более изощренной формой вытеснения.

Содержит ли эта теория, с ее своеобразным пониманием человека, что-либо ценное для нашего мировоззрения? На мой взгляд, едва ли. Не подлежит сомнению, что руководящим принципом толковательной психологии, воплощенной во фрейдовском психоанализе, выступает хорошо известный рационалистический материализм минувшего девятнадцатого столетия.

Он не создает новой картины мира и не порождает у людей новой установки. Правда, нельзя забывать о том, что теории крайне редко оказывают влияние на установку. Гораздо более действенны в этом отношении чувства. Сухое теоретизирование не способно вызвать эмоциональный отклик. Возьмись я зачитывать подробный статистический отчет по тюрьмам, вы бы наверняка заснули. Но, проведи я вас по тюрьме или по приюту для душевнобольных, вы не заснете ни в коем случае, поскольку получите неизгладимые впечатления. Разве теория сделала Будду тем, кем он стал? Нет, его душу воспламенило зрелище старости, болезни и смерти.

Выходит, что частично односторонние, частично ошибочные положения психоанализа ничего полезного нам, по сути, не дают. Но если ознакомиться с психоаналитическими разборами конкретных случаев невроза и оценить, какой урон причинили так называемые вытеснения, какими разрушениями обернулось пренебрежение элементарными инстинктивными процессами, то нас ожидает, мягко говоря, сильное впечатление. Любые человеческие трагедии в определенной степени являются следствиями этого конфликта эго с бессознательным. Всякий, кому доводилось хотя бы раз увидеть воочию ужасы тюрьмы, приюта для душевнобольных или даже больниц, ощутит, несомненно, под воздействием увиденного, сильное изменение своего мировоззрения. То же ожидает человека, который отважится заглянуть в бездну человеческого страдания, лежащую за неврозами. Сколько раз я слышал: «Ведь это ужасно! Кто бы мог подумать, что подобное возможно!» Нет смысла отрицать, что человек действительно испытывает глубочайшее впечатление от деятельности бессознательного, когда пытается, с должной добросовестностью и надлежащим тщанием, исследовать структуру невроза. Если провести ко-

го-либо по лондонским трущобам[1], то люди, которые их увидели, смогут сказать, что знают о мире гораздо больше тех, кто этих трущоб не видел. Впрочем, это лишь сильное потрясение, и вопрос «Что нужно с этим делать?» по-прежнему остается без ответа.

Психоанализ сбросил покров тайны с фактов, ранее известных немногим, и даже предпринял попытку с этими фактами работать. Но предложил ли он какую-либо новую установку? Приносят ли сильные впечатления сколько-нибудь длительные и плодотворные результаты? Меняется ли наша картина мира, пополняется ли тем самым наше мировоззрение? Психоанализ в своем мировоззрении придерживается рационалистического материализма, то есть фактически это мировоззрение практических естественных наук, которое, как нам кажется, нельзя признать удовлетворительным. Если объяснять стихотворения Гете материнским комплексом поэта, воспринимать историю Наполеона как случай мужского протеста, а судьбу святого Франциска[2] сводить к подавлению сексуальности, нас ожидает неподдельное разочарование. Такие объяснения попросту недостаточны, они не воздают должного реальности и значению объектов. Где красота, где величие и святость? Ведь это жизненные реалии, без которых человеческое бытие сделалось бы сиюминутной нелепостью. Каков правильный ответ на вопрос о причинах неслыханных страданий и конфликтов? Этот ответ, по крайней мере, должен затронуть некую струнку в наших душах, напомнить о масштабах страданий. Но сугубо рассудочная, практическая установка рационализма, сколь бы желательной она ни казалась в иных обстоятель-

---

[1] До радикальной перестройки лондонских трущоб (Ист-Энд и другие рабочие районы города) на момент публикации статьи в 1931 г. оставалось более полувека. — *Примеч. пер.*

[2] Имеются в виду Франциск Ассизский и его проповедь «нищего жития», отшельничества и аскезы. — *Примеч. пер.*

ствах, игнорирует истинное значение страданий. От них попросту отстраняются и объявляют несущественными: мол, много шума из ничего. Под эту категорию подпадает многое, но не все.

Ошибка, как я уже сказал, заключается в том, что психоанализ тяготеет к научной, но сугубо рационалистической трактовке бессознательного. Рассуждая об инстинктах, мы воображаем, будто говорим о чем-то известном, но на самом же деле мы судим о чем-то неведомом. Вообще-то все, что мы знаем, это следующее: темная сфера психического оказывает на нас воздействие, которое так или иначе нужно примирить с сознанием, чтобы не допустить губительного нарушения других функций. Совершенно невозможно установить сразу, какую природу имеют эти воздействия, проистекают ли они из сексуальности, из стремления к власти или из какого-то иного влечения. У них столько же значений и граней, сколько есть у самого бессознательного.

Я уже разъяснял ранее, что бессознательное, будучи вместилищем всего забытого, минувшего и вытесненного сознанием, одновременно является областью, в которой протекают все сублиминальные процессы. Оно содержит чувственные восприятия, слишком слабые для того, чтобы достичь сознания; кроме того, это материнское лоно, из которого возникает всякое психическое будущее. Человек способен подавить беспокоящее желание и тем самым перенаправить его энергию в какую-то другую функцию, и точно так же он может отринуть новую, чуждую ему идею, энергия которой перетечет в другие функции, вызывая их нарушения. Я неоднократно наблюдал, как аномальные сексуальные фантазии исчезают неожиданно и полностью, когда осознавалась новая идея, или как пропадала вдруг мигрень, когда пациент осознавал некое стихотворение, до того таившееся в бессознательном. Сексуаль-

ность может иносказательно выражаться в фантазиях, а творческая фантазия может иносказательно выражаться через сексуальность. Как однажды заметил Вольтер, «En étymologie n'importe quoi peut désigner n'importe quoi»[1], и то же самое мы должны сказать о бессознательном. Во всяком случае, мы никогда не знаем заранее, что есть что. Применительно к бессознательному мы располагаем только даром запоздалой мудрости, ведь у нас нет возможности узнать что-либо об истинном положении дел. Любой вывод о бессознательном подразумевает собой допущение («если... то»).

С этой точки зрения бессознательное выглядит как великое неизвестное (Икс), о котором достоверно ведомо только то, что его деятельность чревата значительными последствиями. Обращение к истории мировых религий показывает, сколь значительны эти последствия для человечества. А взгляд на страдания современного человека демонстрирует то же самое — просто сегодня мы выражаем себя несколько иначе. Пятьсот лет назад говорили: «Она одержима дьяволом», а теперь говорят, что у женщины истерия; раньше твердили, что мужчина околдован, а ныне ставят диагноз невротической диспепсии. Факты не меняются, но с психологической точки зрения прежнее объяснение было, пожалуй, более точным, а наше нынешнее рационалистическое описание симптомов на самом деле бессодержательно. Ведь если я говорю, что кто-то одержим

[1] «В этимологии что угодно может означать все что угодно» (*фр.*). Перед нами вариант апокрифического высказывания, которое приписывается Вольтеру: «Этимология есть наука, в которой гласные ничего не значат, а согласные значат еще меньше». Разыскания последнего десятилетия подтвердили, что Вольтер ничего подобного не писал; вероятно, этот миф возник и распространился в XIX столетии, когда понадобилось легимитизировать этимологию как раздел сравнительно-исторического языкознания. — *Примеч. пер.*

злым духом, то подразумеваю, что данный человек не болен по-настоящему, что он страдает из-за незримого психического воздействия, над которым нисколько не властен. Это незримое нечто есть так называемый *автономный комплекс*, бессознательный элемент вне пределов досягаемости сознательной воли. Анализируя психологию невротических состояний, мы обнаруживаем комплексы, элементы бессознательного, которые ведут себя отлично от прочих, появляются и исчезают не по нашему хотению, а по собственным правилам; иными словами, они самостоятельны, или, как мы говорим, автономны. Перед нами словно какие-то кобольды[1], которые ловко от нас уворачиваются. Когда комплекс осознается — что и является целью анализа, — то пациент облегченно восклицает: «Ах, вот что меня так беспокоило!» По всей видимости, чего-то мы добиваемся: симптомы исчезают, комплекс, как говорится, разрешается. Можно повторить за Гете: «Исчезните! Ведь я же разъяснил!», но вместе с Гете мы должны и продолжить: «Мы так умны — а в Тегеле есть духи!»[2]. Нам впервые открылось истинное положение дел, мы осознали, что этот комплекс не мог бы существовать, не надели его наша натура скрытой движущей силой. Это утверждение я объясню посредством примера.

Пациент страдает нервическими желудочными симптомами, которые проявляются в болезненных спазмах, как при состоянии голода. Анализ выявляет у него инфантильную тоску по матери, так называемый материнский комплекс. Благодаря обретенному пониманию симптомы исчезают, но остается тоска, которую не победить простым объяснением — мол, это не что

---

[1] В фольклоре народов Северной Европы зловредные горные духи, которых, согласно поверьям, очень трудно изловить. — *Примеч. пер.*

[2] *Фауст*. Ч. 1. Сцена двадцать первая / Перевод Н. Холодковского. — *Примеч. ред.*).

иное, как инфантильный материнский комплекс. Прежняя разновидность квази-физического голода и квази-физической боли теперь превращается в психический голод и психическую боль. Человек тоскует по чему-то, но осознает, что было бы совершенно ошибочно принимать это чувство за тоску по матери. Неумолимая и неутоленная тоска его снедает, и справиться с этой задачей куда труднее, чем свести невроз к материнскому комплексу. Тоска настоятельно требует внимания, порождает мучительное ощущение пустоты, которое время от времени забывается, но которое нельзя преодолеть силой воли. Она возникает снова и снова. Поначалу врач не понимает, откуда она берется и о чем пациент, собственно, тоскует. Предполагать можно многое, однако наверняка известно лишь одно: за пределами материнского комплекса нечто бессознательное выражает таким образом свое требование независимо от сознания и продолжает стоять на своем, невзирая на все попытки его унять. Это нечто я и называю автономным комплексом. Это источник той движущей силы, которая прежде поддерживала инфантильные притязания на мать, тем самым вызывая невроз, поскольку сознанию взрослого приходилось отвергать и вытеснять такие детские требования как неприемлемые.

Все инфантильные комплексы в конечном счете оказываются автономными элементами бессознательного. Первобытный разум всегда считал эти элементы странными и непостижимыми и, персонифицируя их в духах, демонах и богах, пытался исполнить их требования посредством сакральных и магических обрядов. Верно признавая тот факт, что этот голод или жажду нельзя утолить ни едой, ни питьем, ни возвращением в материнскую утробу, первобытный разум порождал образы невидимых, ревнивых и назойливых существ, более влиятельных и опасных, нежели человек, обитателей незримого мира, столь тесно все же переплетен-

ного с осязаемой реальностью, что некоторые его духи способны селиться даже в нашей кухонной утвари. Духи и колдовство — почти единственные причины болезней у дикарей. Автономное содержание проецируется первобытным разумом на эти сверхъестественные фигуры. С другой стороны, наш мир полностью освобожден от демонов, однако автономные элементы и их требования никуда не делись. Отчасти они выражают себя в религии, но чем больше религия рационализируется и «размягчается» (а это почти неизбежная ее участь), тем извилистее и таинственнее становятся тропы, по которым в сознание все-таки проникают элементы бессознательного. Чаще всего образчиком выступает невроз, хотя мало кто этого ожидал. Под неврозом обычно понималось нечто незначительное, *quantite negligeable*[1] с медицинской точки зрения. Но, как мы убедились, это большая ошибка. Ибо за неврозом скрываются те могучие психические воздействия, которые определяют нашу установку и ее направляющие принципы. Рационалистический материализм — установка, которая, по-видимому, не вызывает подозрений — есть на самом деле психологическая противоположность мистицизма, тайный противник, которого надо победить. Материализм и мистицизм суть психологическая пара противоположностей, подобно атеизму и теизму. Это враждующие братья, два различных способа справляться с господствующим влиянием бессознательного, и один идет путем отрицания, а другой — путем признания.

Поэтому если меня попросят назвать самый существенный вклад аналитической психологии в наше мировоззрение, я скажу, что это признание наличия бессознательных элементов, которые выставляют требования, не подлежащие отказу, или оказывают влияние,

---

[1] Ничтожная, пренебрежимая величина (*фр.*). — *Примеч. ред.*

с каковым сознательному разуму, *volens nolens*[1], приходится считаться.

Наверняка все мои предыдущие рассуждения покажутся неудовлетворительными, если я оставлю без определения нечто, именуемое мною автономными элементами, и не предприму ни малейшей попытки изложить эмпирические выводы нашей психологии относительно этих элементов.

Если, как считает психоанализ, возможно дать окончательный и удовлетворительный ответ, например установить, что исходная инфантильная зависимость от матери является причиной тоски, тогда такое признание должно повлечь за собой и исцеление. В некоторых случаях инфантильная зависимость действительно исчезает, когда пациенту удается ее осознать. Но отсюда не нужно делать вывод, будто так бывает всегда. В каждом случае остается нечто недосказанное — порой настолько малое, что можно считать такой случай практически исчерпанным, но порой настолько значительное, что ни пациент, ни аналитик не могут быть довольны результатом, и обоим кажется, что вообще ничего не было достигнуто. Кроме того, мне доводилось лечить многих пациентов, осознававших причины своих комплексов вплоть до малейших подробностей, однако это нисколько нам с ними не помогало.

Каузальное объяснение может быть относительно удовлетворительным с научной точки зрения, но психологически оставаться все-таки не вполне исчерпывающим, поскольку мы по-прежнему ничего не знаем о цели той движущей силы, что лежит в основе комплекса, — например, о значении тоски, — и не догадываемся, что делать дальше. Пусть я знаю, что причиной эпидемии тифа является зараженная питьевая вода, одного этого знания мало, чтобы остановить распро-

---

[1] Вольно или невольно (*лат.*). — *Примеч. ред.*

странение болезни. Удовлетворительным наш ответ будет только тогда, когда мы узнаем, что же такое сохраняло в человеке инфантильную зависимость до зрелого возраста и на что оно нацелено.

Будь человеческий разум в миг прихода в мир *tabula rasa*[1], перечисленных затруднений вовсе бы не возникало, ибо в разуме не было бы ничего, не приобретенного или не вложенного извне. Однако в психическом индивида много всего того, что никогда не приобреталось, ведь человек не рождается как *tabula rasa*, а всякий человеческий разум не является предельно уникальным и единственным в своем роде. Мы рождаемся с разумом, который представляет собой плод развития бесконечных поколений предков. Разум и мозг во всем своем дифференцированном совершенстве формируются у каждого эмбриона, и, начиная функционировать, они неизбежно добиваются тех же результатов, которых предки уже добивались бесчисленное множество раз. Вся анатомия человека есть унаследованная система, тождественная конституции предков, и она непременно будет функционировать так, как функционировала у предыдущих поколений. Следовательно, шанс возникновения чего-то нового, существенно отличного от прежнего, бесконечно мал. Потому все факторы, существенные для наших близких и далеких предков, будут существенными и для нас. Это фактически насущные необходимости, заявляющие о себе как потребности.

Не стоит опасаться, что я намерен рассуждать об унаследованных представлениях. Я далек от этой мысли. Автономное содержание бессознательного (или доминанты, как я выражаюсь) не является врожденными представлениями: это врожденные возможности, даже принудительные необходимости воссоздания образов и идей, посредством которых данные доминанты издав-

[1] Здесь: чистым листом (*лат.*). — *Примеч. ред.*

на выражались. Конечно, в каждом уголке планеты и в каждую эпоху говорили на собственном особом языке, который бесконечно варьировался. Но не имеет принципиального значения, побеждает ли мифологический герой дракона, рыбу или какое-то другое чудовище; фундаментальный мотив остается тем же самым — общим достоянием человечества, а не эфемерным воззрением той или иной местности либо эпохи.

Итак, человек рождается со сложной психической предрасположенностью, которая никоим образом не может считаться *tabula rasa*. Даже самые смелые фантазии имеют границы, установленные нашей психической наследственностью, а сквозь вуаль самых необузданных фантазий можно различить доминанты, свойственные человеческой психике с незапамятных времен. Мы крайне изумляемся, обнаруживая, что безумцы порой в своих фантазиях словно уподобляются первобытным людям. Но было бы куда удивительнее, окажись, что это не так.

Я называю область нашего психического наследия коллективным бессознательным. Элементы сознания все без исключения приобретаются индивидуально. Если бы человеческая психика состояла полностью и целиком из одного сознания, не было бы ничего психического, что не возникало бы на протяжении отдельной жизни индивидуума. В таком случае мы тщетно искали бы какие угодно предыдущие обстоятельства и влияния за простым родительским комплексом. В конечном счете все сводилось бы к фигурам отца и матери, первым и единственным источникам влияния на нашу сознательную психику. На самом же деле элементы нашего сознания возникают не только вследствие воздействия среды; на них также влияет и упорядочивает наше психическое наследие коллективное бессознательное. Разумеется, индивидуальный образ матери запечатлевается в памяти, но глубина его воздействия во многом объясняется тем, что он сливается с бессо-

знательной предрасположенностью, с врожденным образом, плодом извечного симбиотического отношения между матерью и ребенком. Если мать конкретного человека в том или ином отношении не соответствует этому образу, то возникает ощущение потери, а потому острее становится потребность в восприятии коллективного материнского образа. Инстинкт здесь сопротивляется. Потому отнюдь не редки невротические расстройства или, по крайней мере, особенности характера. В отсутствие коллективного бессознательного чего угодно можно было бы добиваться через воспитание, уверенно превращать человека в одушевленную машину или взращивать из него идеал. Но подобные затеи наталкиваются на жесткие ограничения, поскольку доминанты бессознательного выступают как почти непреодолимые желания.

Значит, если в случае с пациентом, страдающим от невротической диспепсии, меня попросили бы точно указать, что именно скрывается в бессознательном, что прячется за личным материнским комплексом и вызывает неопределенную, но мучительную тоску, мой ответ был бы таков: это коллективный образ матери, не конкретной матери пациента, а матери вообще.

Но могут спросить, почему этот коллективный образ вызывает такую тоску. Ответить на данный вопрос нелегко. Будь у нас возможность четко представить природу и значение этого коллективного образа, который я технически назвал архетипом, тогда понять его действие было бы просто.

Чтобы пояснить, я хотел бы привести следующее соображение: отношение между матерью и ребенком — самое глубокое и крепкое из всех, какие нам известны, поскольку ребенок на протяжении некоторого времени является, скажем так, частью материнского тела. Позднее он на несколько лет входит неотъемлемой частью в психическое окружение матери, и тем самым все, что

приобретает ребенок, нерасторжимо сливается у него с материнским образом. Это верно для всякого индивидуума и подтверждается исторически. Такова неоспоримая характеристика нашего рода, органическая истина, столь же непреложная, как взаимоотношения полов. В архетипе, то есть в коллективно врожденном образе матери, присутствует та самая экстраординарная интенсивность отношений, которая побуждает ребенка инстинктивно цепляться за мать. С годами человек естественным образом постепенно отдаляется от своей матери (при условии, что он перерастает примитивное, почти животное состояние, обретает определенную сознательность и культуру), но не отдаляется столь же естественно от архетипа. Поддаваясь инстинктам, он лишится выбора в жизни, так как свобода воли всегда предполагает наличие сознания. Его жизнь будет определяться бессознательными правилами, и отклонений от архетипа не возникнет. Но если сознание начнет действовать, то сознательные элементы всегда будут цениться выше остатков бессознательного в разуме, а потому станет казаться, что при отделении от матери случилось ровно вот что — конкретный человек всего лишь перестал быть ребенком конкретной женщины. Сознание мирится только с индивидуально приобретенными элементами, поэтому оно признает только индивидуальную мать и не подозревает в ней носительницу и выразительницу архетипа, так сказать, «вечную» мать. Отделения от матери достаточно разве что в том случае, когда происходит и отделение от архетипа, и то же самое верно для отделения от отца.

Развитие сознания и относительной свободы воли естественным образом обусловливает возможность отступления от архетипа и, как следствие, от инстинкта. При таком отступлении возникает расщепление психики на сознание и бессознательное, а последнее приступает к активной деятельности. Как правило, это крайне

неприятно, ибо бессознательная деятельность принимает форму внутренних, неосознаваемых пристрастий, которые проявляются через симптомы, то есть косвенно. Рано или поздно складываются ситуации, когда кажется, будто бы отделения от матери по-прежнему не произошло.

Хотя первобытный разум не знал этой дилеммы, она ощущалась довольно остро, поэтому переход от детства к взрослому возрасту сопровождался крайне важными обрядами — ритуалами возмужания и посвящения в мужчину, цель которых была вполне очевидной — магически отлучить ребенка от родителей. Инициация стала бы совершенно излишней, не воспринимайся отношение детей с родителями тоже как полностью магическое. Но «магическое» — это все, к чему причастны бессознательные влияния. Впрочем, целью обрядов было не только отделение от родителей, но и переход человека во взрослое состояние. Никакой тоски, никакой оглядки на детство; для этого требовалось удовлетворить требования пострадавшего (*verletzten*) архетипа. Потому через обряды близкая и тесная связь с родителями замещалась другой — а именно, с кланом или с племенем. Этой цели служило нанесение на тело особых знаков, обрезание и нанесение шрамов, заодно с мистическими наставлениями, которые юноша получал в ходе инициации. Нередко такие обряды носили откровенно жестокий характер.

Таким способом первобытный человек, в силу неведомых ему самому причин, пытался соответствовать притязаниям архетипа. Простого отделения от родителей было недостаточно, требовалась некая церемония, довольно схожая с жертвоприношением тем силам, которые способны подчинить себе юношу. Это ясно показывает могущество архетипа: *он заставляет дикаря поступать наперекор природе, чтобы не оказаться ее жертвой*. Таково происхождение всякой культуры, не-

избежный результат обретения сознания и возможности отступать от исполнения бессознательных законов.

Наш мир давно оставил позади такие практики, но отсюда вовсе не следует, что природа хотя бы в малой степени утратила свою власть над нами. Мы попросту научились обесценивать эту власть. Однако мы мгновенно впадаем в растерянность, стоит лишь поставить перед нами вопрос о том, каким образом мы должны справляться с воздействием бессознательных элементов. Ведь для нас невозможны первобытные обряды, они выглядят искусственным и совершенно бесполезным шагом вспять: для их отправления мы успели стать слишком уж критичными и психологичными. Задай кто-нибудь этот вопрос мне, я бы тоже растерялся. Могу сказать лишь следующее: я многие годы подмечал за своими пациентами те способы, какие они инстинктивно выбирали, желая выполнить требования бессознательного. Подробно рассказывать о моих наблюдениях означало бы выйти очень далеко за рамки доклада, и потому я вынужден отослать вас к специальной литературе, где данный вопрос всесторонне обсуждается[1].

Если этим докладом мне удастся помочь вам понять, что в нашей бессознательной психике продолжают действовать те силы, которые издавна проецировались вовне в образах богов и которым приносили жертвы, я сочту свою задачу выполненной. Самим фактом признания мы докажем, что многочисленные религиозные практики и верования, с древнейших времен игравшие столь важную роль в истории человечества, не сводятся к произвольным измышлениям и воззрениям отдельных людей, что они своим происхождением в большей степени обязаны влиянию бессознательных сил, которыми нельзя пренебрегать без угрозы на-

---

[1] См. работы: Юнга «Два очерка по аналитической психологии» (*К. Г. Юнг.* Аналитическая психология. М.: АСТ, 2021) и «Психология и алхимия» (часть вторая). — *Примеч. ред.*

рушения душевного равновесия. Приведенный мною пример материнского комплекса является, конечно, лишь одним из многих случаев. Архетип матери — всего-навсего частный случай, сюда можно легко добавить целый ряд других архетипов. Такое обилие бессознательных доминант объясняет многообразие религиозных представлений.

Все эти факторы по-прежнему действуют в нашем психическом, сменились только их выражение и оценки, но фактическое существование и активность сохранились. То обстоятельство, что сегодня они понимаются как психические величины, представляет собой новую формулировку, новое выражение, которое, возможно, позволит нам выявить новый способ взаимодействия с бессознательным. По моему мнению, такую возможность нельзя упускать, ведь коллективное бессознательное ни в коем случае не отнесешь к темным закуткам психического: это громадное хранилище исторического опыта, накопленного за бесчисленные миллионы лет, отголосок доисторических событий, к которому каждое столетие добавляет беспредельно малую толику вариаций и дифференциаций. Поскольку коллективное бессознательное есть именно отпечаток всех мировых процессов (*weltgeschehens*), запечатленный в структуре мозга и симпатической нервной системы, то в целом оно предстает своего рода вневременным и вечным образом мира, уравновешивающим нашу сиюминутную сознательную картину мира. Это другой, если угодно, зеркальный мир. Но, в отличие от простого зеркального образа, бессознательный образ обладает особой энергией, независимой от сознания; благодаря этой энергии он может оказывать на нас сильнейшие воздействия, незаметные на поверхности, однако тем сильнее сказывающиеся изнутри. Эти воздействия скрыты от всех, кто отказывается критически рассматривать свой сиюминутный образ мира, а пото-

му не в состоянии познать самое себя. Мир имеет не только оболочку, но и изнанку, он не только видим снаружи, но постоянно воздействует на нас в вечносущем настоящем (*zeitloser gegenwart*), из глубочайших и, по-видимому, предельно субъективных уголков психики — все это, несмотря на очевидные признаки древней мудрости, я считаю заслуживает внимания и должно быть признано новым фактором мировоззрения.

Аналитическая психология — не мировоззрение, а наука, и в этом качестве она поставляет материал или инструменты, с помощью которых человек способен создать, ниспровергнуть или восстановить свое мировоззрение. Сегодня многие полагают, будто они способны учуять мировоззрение в аналитической психологии. Хотелось бы и мне быть одним из них, потому что тогда я избавился бы от необходимости проводить исследования и предаваться сомнениям, смог бы ясно и четко указать путь, ведущий в рай. К сожалению, мы еще очень далеки от этого. Я лишь экспериментирую с мировоззрением, пытаясь выяснить, каковы значение и масштаб происходящих сегодня событий. Но этот эксперимент есть в некотором смысле тот самый путь, ибо, когда все сказано и сделано, наше собственное существование — тоже эксперимент природы, попытка нового синтеза.

Наука никогда не будет мировоззрением, она всегда не более чем инструмент. Возьмем мы этот инструмент в руки или нет, зависит от того, каким мировоззрением мы уже обладаем, так как нет на свете человека, вообще лишенного мировоззрения. В крайнем случае он располагает мировоззрением, которое навязано ему воспитанием и окружением. Если ему подсказывают, цитируя Гете, что «счастлив мира обитатель // Только личностью своей»[1], то он без колебаний ухватится за науку и ее выводы, чтобы, используя их в качестве инстру-

[1] Западно-восточный диван. Книга Зулейки / Перевод В. Левика. — *Примеч. ред.*

мента, создать мировоззрение и тем самым собственное воплощение. Но если унаследованные убеждения твердят, что наука — не инструмент, а цель сама по себе, то он последует призыву, который за последние приблизительно сто пятьдесят лет звучит все громче и громче и который на практике подчиняет себе умы. Тут и там отдельные индивидуумы отчаянно ему сопротивляются, поскольку, с их точки зрения, высший смысл жизни заключается в совершенствовании человеческой личности, а не в дифференциации практик, которая неизбежно ведет к крайне одностороннему развитию конкретной склонности, например, потребности в познании. Если наука выступает самоцелью, то *raison d'etre*[1] человека будет развитие интеллекта. Если самоцель — искусство, то превыше всего окажется творческая способность, а интеллект отправляют в чулан. Когда самоцель — деньги, науке и искусству остается лишь тихо сойти со сцены. Никто не будет отрицать того, что современное сознание почти безнадежно расколото этими взаимоисключающими самоцелями. В результате человека обучают развивать какое-то качество, и он сам становится инструментом.

За последние сто пятьдесят лет мы стали свидетелями избытка мировоззрения, и это доказывает, что сама идея мировоззрения дискредитирована: ведь чем труднее лечить болезнь, тем больше предлагается лекарств, а чем больше лекарств, тем сомнительнее каждое из них. Создается впечатление, что мировоззрение постепенно превращается в нечто устаревшее.

Вряд ли можно посчитать подобное развитие событий простой случайностью, досадным и бессмысленным заблуждением, ведь нечто, само по себе прекрасное и ценное, обычно не исчезает из вида столь подозрительным образом. Значит, что-то бесполезное и предосудительное было изначально в нем самом. Поэтому

[1] Смыслом существования (*фр.*). — *Примеч. ред.*

мы должны задаться следующим вопросом — а что не так с мировоззрением?

Мне кажется, что фатальная ошибка любого мировоззрения вплоть до наших дней заключалась в притязании на статус объективно ценной истины, в конечном счете на статус научного обоснования этой истины. Как следствие, возник, к примеру, парадоксальный вывод, будто один и тот же Бог должен помогать и немцам, и французам, и англичанам, и туркам, и даже язычникам — коротко говоря, всем против всех. Современное сознание в своем широком осмыслении мировых явлений с содроганием отвернулось от столь чудовищного предположения, но не нашло ничего лучше, чем выдвинуть вместо этого различные философские теории. Правда, и те немедленно начали притязать на статус объективной истины. Это обстоятельство дискредитировало все теории, и в итоге мы пришли к дифференцированным фрагментам сознания и крайне нежелательным последствиям такого расщепления.

Главной ошибкой любого мировоззрения является примечательная склонность считать, что оно выражает предельную истину, тогда как в действительности это всего лишь имена, которые мы даем объектам. Согласится ли всякий ученый с тем, что название планеты Нептун выражает сущность этого небесного тела и потому будет единственно «правильным» названием? Вовсе нет; потому-то наука выше обыденного знания, ведь она вовлечена только в изучение рабочих гипотез. Одно первобытное сознание верит в «правильность» имен. В сказке, если Румпельштицхена[1] назвать настоя-

[1] В сказке братьев Гримм лесной дух (или бес), имя которого нужно угадать, чтобы освободить принцессу от колдовских чар. Случайно подслушанная похвальба духа позволяет героям сказки справиться с этой задачей. Аналогичный сюжет известен у многих народов (в Великобритании, Ирландии, России и других странах). — *Примеч. пер.*

щим именем, он разлетается вдребезги. Племенной вождь скрывает свое настоящее имя и подбирает для повседневного употребления имя экзотерическое, чтобы никто не смог его заколдовать. В гробницу египетского фараона клали предметы с истинными именами и изображениями богов, чтобы в загробном мире фараон мог их победить. Для каббалистов знание истинного имени Бога означало абсолютную магическую власть. Коротко говоря, для первобытного разума имя представляет сам объект. «Его слова — сущее», — гласит древнее изречение о Пта[1].

Эти пережитки бессознательной первобытности — проклятие всякого мировоззрения. У астрономов нет способов узнать, сетовали ли обитатели Марса на присвоенное нами их планете название, и точно так же мы вправе полагать, что миру абсолютно все равно, что мы о нем думаем. Но это не значит, что нужно перестать о нем думать. Мы и не прекращаем; наука продолжает существовать как наследница мировоззрений, пришедших в упадок. Только человек обнищал при такой «смене власти». В мировоззрениях старого стиля он наивно вкладывал собственную душу в объекты, воспринимал свое лицо как лик мира, видел в себе подобие Божье (мания величия, за которое даже муки ада не кажутся чрезмерным наказанием). Но в науке думают не о себе — только о мире, об объекте, отстраняются от себя и жертвуют своей личностью на благо духа исследований. Поэтому научный дух этически стоит выше старого мировоззрения.

Тем не менее мы начинаем ощущать последствия этой атрофии человеческой личности. Повсеместно слышен призыв вернуть мировоззрение, и все спрашивают о смысле жизни и мироздания. В наше время

[1] В египетской мифологии Пта (Птах) божество — творец мира, покровитель правды и порядка. — *Примеч. пер.*

предпринимаются многочисленные попытки повернуть время вспять и погрузиться в мировоззрение старого стиля, через теософию, или, как ее уместнее называть, антропософию. Ощущается потребность в мировоззрении, во всяком случае, у молодого поколения. Но если мы не хотим двигаться в обратном направлении, то новое мировоззрение должно покончить с притязаниями на объективную ценность, должно признать себя картиной, которую мы рисуем на потеху нашему разуму, а не волшебным именем, дающим нам власть над миром. Мировоззрение формируется нами не для мира, а для себя. Если не воображать картину мира как целого, мы не увидим и себя, верных отображений этого мира. Только в зеркале нашей картины мира мы видим себя целиком. Только в творческих актах мы выходим на свет и сами становимся цельными. Никогда мы не придадим миру иного лика, кроме своего собственного, и потому должны это сделать, чтобы отыскать себя. Выше науки или искусства стоит человек как таковой, создатель своих орудий. Нигде мы не оказываемся ближе к познанию подлинной тайны всех начал, нежели в познании себя, кого, как принято считать, досконально знаем. Но глубины космоса известны нам лучше, чем собственные глубины, где мы, сами того не ведая, можем внимать непосредственно пульсу творения.

В этом отношении аналитическая психология открывает перед нами новые возможности. Она привлекает наше внимание к существованию образов-фантазий, что возникают из темных глубин психики и сообщают о процессах, протекающих в бессознательном. Элементы коллективного бессознательного, то есть, как я уже объяснял, плоды психического функционирования всех наших предков, в совокупности составляют природный образ мира, сжатый воедино опыт человечества за миллионы лет. Эти образы мифологичны и потому символичны; они выражают гармонию между по-

знающим субъектом и познаваемым объектом. Вся мифология и все откровения исходят из этой матрицы опыта, всем нашим будущим идеям о мире и человеке также суждено вырасти из нее. Но было бы недоразумением считать, что образы-фантазии бессознательного возможно использовать непосредственно, подобно откровениям. Они лишь исходный материал, который для обретения значения требует перевода на язык настоящего. Если такой перевод удается, то мир, каким мы его воспринимаем, воссоединяется с примордиальным опытом человечества посредством символа мировоззрения; исторический, универсальный человек внутри нас протягивает руку новорожденному индивидууму. Данный опыт сближает нас с первобытными людьми, которые символически соединялись с предками-тотемами через ритуальную трапезу.

С этой точки зрения аналитическая психология есть реакция на чрезмерную рационализацию сознания, которое, пытаясь подчинить себе природу, изолируется от последней и таким образом лишает человека его естественной истории. Человек словно перемещается в ограниченное настоящее, в короткий промежуток между рождением и смертью. Это ограничение внушает ему, что он — случайное и бессмысленное порождение; именно это чувство мешает нам жить с той полнотой, которая необходима для полноценного наслаждения жизнью. Наша жизнь будто замирает, она больше не принадлежит человеку полностью. Вот почему немалая часть непрожитой жизни попадает в бессознательное. Люди живут так, словно ходят в слишком тесной обуви. Качество вечности, столь характерное для жизни первобытного человека, в нашей жизни отсутствует. Окружив себя стеной рациональности, мы отделились от вечности природы. Аналитическая психология пытается разрушить эту стену, заново извлекая образы-фантазии бессознательного, когда-то отринутые рациональ-

ным разумом. Эти образы находятся по ту сторону стены, они часть нашей природы, глубоко погребенная в нашем прошлом, часть, от которой мы укрылись за стенами рационализма. Аналитическая психология стремится разрешить возникший конфликт с природой, не через возвращение к природе вместе с Руссо, а через сохранение уровня сознания, которого мы благополучно достигли, и через обогащение нашего сознания пониманием психических оснований нашей натуры.

Тот, кому удалось совершить подобный прорыв, всегда говорит о громадном облегчении. Но ему не дано долго наслаждаться, поскольку сразу же встает вопрос о том, каким образом новоприобретенное знание может быть ассимилировано. Объекты по обе стороны стены поначалу кажутся несовместимыми. Необходим перевод на современный язык или, пожалуй, даже создание нового языка. Тем самым мы возвращаемся к вопросу о мировоззрении, которое должно помочь в установлении гармонии с историческим человеком внутри нас, чтобы глубокие аккорды прошлого не заглушались резкими криками рационализма; чтобы бесценный свет индивидуального духа не погас в беспредельном мраке природного психического. Едва затронув этот вопрос, мы вынуждены покинуть область науки, ибо теперь нам требуется творческая решимость доверить нашу жизнь той или иной гипотезе; иными словами, здесь начинается территория этики, без которой мировоззрение немыслимо.

Полагаю, что своим докладом мне удалось ясно показать — аналитическая психология не является мировоззрением, но способна внести значительный вклад в его формирование.

Дух и жизнь[1]

Связь духа и жизни относится к числу явлений, столь неоднозначных по своему характеру, что необходимо постоянно соблюдать бдительность, иначе мы рискуем запутаться в сети слов, к которым прибегаем в попытках разрешить эту величайшую загадку. Ведь как еще осмыслять те почти безграничные комплексы фактов, которые мы называем «духом» или «жизнью», если не облачать их в словесные одеяния, которые сами суть лишь инструменты интеллекта? Такое недоверие к словам доставляет, конечно, определенные неудобства, но мне оно представляется вполне уместным при обсуждении основополагающих явлений. Слова «дух» и «жизнь» хорошо нам знакомы, известны с незапамятных времен; они как пешки на шахматном поле, которые тысячи лет мыслители перемещали вперед и назад. Пожалуй, затруднения возникли уже в седой древности, когда кто-то с изумлением обнаружил, что живое дыхание, покидающее тело с последним хрипом, означает нечто большее, чем простое движение воздуха. По-

[1] Лекция, прочитанная 29 октября 1926 г. на заседании Литературного общества в г. Аугсбург. В печатном виде была опубликована в журнале «Форма и содержание», вып. 2 (1926), затем вошла в авторский сборник «Проблемы души нашего времени» (Цюрих, 1931).

этому вряд ли случайно, что ономатопоэтические слова — *ruach*, *ruch*, *roho* (на древнееврейском, арабском и суахили, соответственно) — обозначают дух ничуть не менее ясно, чем греческое πνεῦμα или латинское *spiritus*.

Но знаем ли мы, знакомые с этим выраженным в словах понятием, что такое на самом деле дух? Уверены ли мы, что, употребляя это слово, все люди подразумевают одно и то же? Разве слово «дух» не является наиболее — и раздражающе — многозначным среди всех слов? Одно и то же вербальное выражение, «дух», используется для описания невыразимой, трансцендентной идеи всеобъемлющего значения, а также для обыденных целей — и здесь оно оказывается синонимом английского слова «*mind*»; последнее может означать мужество, интерес к жизни, остроумие или призрака, представлять бессознательный комплекс, который вызывает спиритические явления: скажем, верчение столов, автоматическое письмо, стук и т.д. В переносном смысле это слово употребляют для характеристики преобладающего умонастроения конкретной социальной группы («духа», который в ней правит). Наконец это слово описывает материальные явления, когда мы говорим о винных или нашатырных парах или об алкоголе (*spirit*) как таковом. Перед нами не дурная шутка, а достойное уважения наследие нашего языка; с другой стороны, оно парализует движение мысли, встает трагическим препятствием на пути всех, кто жаждет достичь горних высот чистоты идей по лестнице из слов. Когда я произношу слово «дух», то, даже предельно тщательно подбирая точный его смысл, который желаю передать, не в моих силах все же полностью исключить многочисленные прочие значения.

Поэтому мы должны задать себе принципиальный вопрос: что именно обозначает слово «дух», когда его употребляют в связи с понятием жизни? Ни при каких обстоятельствах нельзя по умолчанию допускать, что

каждый человек будто бы точно знает смысл слов «дух» или «жизнь».

Будучи не философом, а эмпириком, я во всех сложных вопросах склонен принимать решение на опыте. Когда отыскать прочную основу в опыте не представляется возможным, я предпочитаю оставить вопрос без ответа. Поэтому я всегда стремлюсь сводить абстрактные понятия к их эмпирической основе, чтобы удостовериться, насколько это получится, в том, что я знаю, о чем говорю. Должен признаться, что о сути «духа» мне известно ничуть не больше, чем о сути «жизни». Последнюю я знаю лишь в облике живого тела, а вот о том, какова она сама по себе, в абстрактном состоянии, не могу даже смутно догадываться по форме слова. Выходит, что вместо «жизни» надлежит рассуждать о живом теле, а вместо «духа» — о психических факторах. Это нисколько не означает, что я пытаюсь уклониться от ответа на исходный вопрос и предаться размышлениям о взаимоотношениях тела и разума. Напротив, я надеюсь, что эмпирический подход поможет отыскать реальные основания духа — причем не за счет жизни.

Понятие живого тела в рамках нашей задачи доставляет меньше затруднений, нежели общее понятие жизни, ибо тело принадлежит к зримой и осязаемой реальности и не ускользает от нашего восприятия. Полагаю, все согласятся с тем, что тело есть внутренне цельная (*zusammenhängendes*) система материальных элементов, приспособленная для жизни, и потому выступает проявлением живого существа, доступным чувственному восприятию. Если упрощать, оно представляет собой целесообразно упорядоченную материю, которая обеспечивает бытие живого существа. Чтобы избежать двусмысленности, хочу обратить внимание на то, что в приведенное мною определение тела не включается нечто, расплывчато охарактеризованное как «живое су-

щество». Данное разграничение двух явлений (я не желаю в настоящий момент ни отстаивать его, ни критиковать) призвано лишь подчеркнуть, что тело нельзя понимать как «скопище» инертной материи; его следует трактовать как материальную систему, готовую к жизни и позволяющую жить, но при условии, что, несмотря на всю свою готовность жить, оно не в состоянии обойтись без «живого существа». Ведь, даже если оставить в стороне всякую ценность «живого существа», тело само по себе лишено кое-чего, необходимого для жизни, а именно — психического фактора. Мы постигаем это, прежде всего, на собственном непосредственном опыте, а косвенно узнаем из опыта других людей. Кроме того, это знание мы черпаем из научного изучения высших позвоночных, и потому, при полном отсутствии противоречащих доводов, должны признавать наличие такого фактора у низших животных и даже у растений.

Нужно ли нам теперь согласиться с тем, что «живое существо», о котором я говорил выше, равнозначно психическому фактору, непосредственно воспринимаемому нами в человеческом сознании, — а тем самым вновь прийти к древнему дуализму души и тела? Или же некие основания все-таки оправдывают отделение «живого существа» от психического? Тут нам придется и психическое рассматривать как целеполагающую систему, как скопление материи, не просто готовой жить, но уже живой, или, точнее, как скопление жизненных процессов. Я вовсе не уверен, что эта точка зрения встретит всеобщее одобрение, поскольку люди настолько привыкли представлять разум и тело как цельный живой организм, что будет непросто впредь усматривать в психическом всего-навсего совокупность жизненных процессов, протекающих в теле.

Насколько наш опыт вообще позволяет делать выводы о сущности психического, он показывает психи-

ческие процессы как явления, зависимые от нервной системы. Мы можем утверждать достаточно смело, что нарушения в работе тех или иных участков мозга влекут за собой соответствующие психические расстройства. Спинной и головной мозг, по сути, состоят из взаимосвязей между сенсорными и моторными путями, так называемых рефлекторных дуг. Что конкретно имеется в виду, лучше всего объяснить на примере. Предположим, что человек дотрагивается пальцем до горячего предмета; ожог мгновенно возбуждает нервные окончания в теле. Это ощущение изменяет состояние всех проводящих путей вплоть до спинного мозга и далее до головного мозга. В спинном мозгу клетки нервных узлов, воспринимающие тактильное раздражение, передают измененное состояние соседним клеткам моторных узлов, которые, в свою очередь, направляют сигнал мышцам руки, из-за чего происходит внезапное сокращение мышц — и рука отдергивается. Все случается настолько быстро, что осознанное восприятие боли зачастую приходит лишь тогда, когда рука уже отдернута. Реакция осуществляется автоматически и фиксируется сознанием впоследствии. Но события в спинном мозге достигают воспринимающего эго в форме записи, или образа, который возможно снабдить понятиями и наименованиями. Если отталкиваться от этой схемы рефлекторной дуги, то есть движения раздражителя извне вовнутрь и следования сигнала изнутри наружу, можно представить себе процессы, лежащие в основе разума.

Возьмем теперь менее простой пример. Мы слышим неясный звук, который поначалу только побуждает нас прислушаться, чтобы понять, что он означает. В этом случае слуховой раздражитель вызывает в мозгу целый ряд представлений, связанных с этим раздражителем. Частично это будут звуковые образы, частично зрительные, частично чувственные. Слово

«образ» я употребляю исключительно в значении представления. Психическая сущность может быть осознаваема, то есть может быть представлена лишь в том случае, если она обладает свойствами образа и потому *представима*. Далее я буду называть все сознательные элементы образами, поскольку они суть отображения мозговых процессов.

Череда образов, вызванных слуховым раздражителем, внезапно дополняется хранящимся в памяти звуковым образом, который связан со зрительным образом, например со звуком, издаваемым гремучей змеей. За этим немедленно поступает сигнал тревоги ко всем мышцам тела. Рефлекторная дуга завершена, но в данном случае она будет отличаться от предыдущей — мозговой процесс, последовательность мыслительных образов, вклинивается между чувственным раздражителем и моторной реакцией. Спонтанное напряжение тела, в свою очередь, воздействует на сердце и кровяные сосуды, стимулируя процессы, которые мыслительно воспринимаются как чувство страха.

Таким образом, мы можем получить представление о природе психического. Оно состоит из отображенных образов простых мозговых процессов и воспроизведения этих образов в почти бесконечной последовательности. Указанные образы обладают свойством осознанности. Природа сознания представляет собой загадку, решения которой я не знаю. Впрочем, можно сказать, что всякое психическое становится осознанным тогда, когда оно вступает в отношения с эго. Если этих отношений нет, то оно остается бессознательным. Явление забывчивости показывает, насколько часто и легко элементы психического утрачивают связь с эго. Потому можно уподобить сознание лучу прожектора. Только те объекты, на которые падает сноп света, оказываются в поле нашего восприятия. Объект, таящийся в темноте, при этом не перестает существовать: его попросту не

замечают. Значит, то, чего я не осознаю, находится где-то там, в состоянии, пожалуй, не сильно отличном от того, в котором оно доступно для эго.

Выходит, что сознание можно трактовать как состояние соотнесенности с эго. Но критически важным здесь является само эго. Что мы должны под ним понимать? При всей его видимой цельности ясно, что эго есть чрезвычайно сложное образование. Оно складывается из образов чувственных восприятий (органы чувств передают раздражения как изнутри, так и извне) и, кроме того, из огромного количества накопленных образов прошлых процессов. Все эти разнообразные элементы нуждаются в могущественной объединяющей силе, которая сцепляла бы их вместе, и способность к этому мы уже определили как свойство сознания. То есть сознание как будто выступает необходимой предпосылкой существования эго. Но ведь без эго сознание немыслимо. Это очевидное противоречие возможно, полагаю, разрешить, если считать эго отображением не одного-единственного, а множества процессов и их взаимодействий; по сути, мы говорим о всех процессах и элементах, которые и составляют эго-сознание. Их разнообразие фактически формирует единство, поскольку связь с сознанием действует как своего рода сила притяжения и стягивает вместе отдельные элементы — в направлении того, что можно было бы назвать мнимым центром. Посему я говорю не просто об эго как таковом, но об *эго-комплексе*, обоснованно предполагая, что эго, обладая изменчивой структурой, является непостоянным и не может именоваться просто «эго». (К сожалению, здесь не место для обсуждения классических вариаций, возникающих у душевнобольных или в сновидениях.)

Взгляд на эго как на скопление психических элементов логически подводит нас к следующему вопросу: является ли эго центральным образом и, следователь-

но, единственным выразителем человеческой личности в целом? Все ли элементы и функции с ним связаны и в нем выражаются?

На этот вопрос мы должны ответить отрицательно. Эго-сознание есть комплекс, который не охватывает человеческую личность целиком: оно забывает бесконечно больше, чем знает. Оно слышит и видит многое, но лишь малая толика из этого осознается. Есть мысли, которые возникают и обретают завершенную форму за пределами сознания, а эго о них не подозревает. Эго вряд ли имеет хотя бы смутное представление о чрезвычайно важной регулятивной функции симпатической нервной системы применительно к внутренним телесным процессам. Пожалуй, эго обнимает собой всего-навсего мизерную часть того, что должно было бы постигать совершенное сознание.

Поэтому эго может быть лишь фрагментарным комплексом (*teilkompex*). Не исключено, что это единственный в своем роде комплекс, внутренняя связность которого и порождает сознание. Но разве не всякое сочетание элементов психического ведет к осознанности? Непонятно, почему комбинация некоей части сенсорных функций и некоей части материала памяти формирует сознание, а объединение других частей психического этого результата не достигает. Комплекс зрительных, слуховых и т.п. образов обладает крепкой, хорошо организованной внутренней связностью. Нет оснований считать, что этот комплекс тоже не может сделаться сознанием. Как показывает случай слепоглухонемой Хелен Келлер[1], человеку достаточно осязания и телесных ощущений, чтобы обрести сознательность, пусть

[1] Американская писательница, в возрасте чуть старше полутора лет перенесла скарлатину и полностью лишилась слуха и зрения. Вопреки обстоятельствам, сумела получить среднее и высшее образование, в дальнейшем опубликовала множество статей, читала публичные лекции и т.д. — *Примеч. пер.*

даже ограниченную указанными чувствами. Поэтому для меня эго-сознание есть синтез различных «чувственных сознаний», в котором самостоятельность каждого отдельного сознания тонет в единстве вышестоящего эго.

Поскольку эго-сознание распространяется не на все психические действия и явления, то есть не содержит в себе все возможные образы, и поскольку даже сильная воля не позволяет ему охватить иные, закрытые для него области, то, естественно, встает вопрос о том, существует ли какое-то другое сочетание психических явлений, подобное эго-сознанию. Такое сознание можно было бы вообразить как более высокое или более широкое, а эго в нем предстало бы объективным содержанием (тот же зрительный акт, к примеру, является предметом моего осознания) и, подобно зрению, сливалось бы с прочими событиями и действиями, которые я не осознаю. Наше эго-сознание могло бы в результате угодить в некое полное сознание, замкнуться в нем, как меньший круг в большем.

Акты зрения, слушания и т.д. сами по себе порождают собственные образы, которые, будучи соотнесены с эго, придают этим актам осознанность, и точно так же эго, повторю, может пониматься как образ или отражение совокупности всех деятельностей, им постигаемых. Можно было бы предположить, что всякая психическая активность ведет к формированию ее образа и что в этом состоит ее сущностная природа, вследствие чего такая активность и называется «психической». Трудно понять, почему бессознательная психическая активность не должна также обладать свойством порождать образы наподобие тех, которые представляются сознанию. А поскольку человек кажется замкнутым живым единством, то напрашивается вывод, что образы всех его психических активностей сливаются в целостный образ, и та его часть, которая человеку ста-

новится известной (если становится), может рассматриваться как эго.

У меня нет убедительных доводов против такого предположения, но ему суждено оставаться пустой фантазией до тех пор, пока оно не понадобится нам в качестве объяснительного принципа. При этом, пускай возникла бы потребность в некоем высшем сознании для объяснения определенных психических фактов, упомянутая выше гипотеза сохранит свою условность, ведь доказать наличие сознания, отличного от известного нам, — задача, превосходящая возможности нашего разума. Ни в коем случае нельзя исключать того, что нечто, пребывающее во мраке за пределами нашего сознания, будет принципиально отличаться от всего, что мы можем себе вообразить в самых дерзновенных мечтах.

В ходе дальнейшего изложения я еще вернусь к этой теме. Пока же мы оставим ее в стороне и вернемся к первоначальному вопросу о душе и теле[1]. Из того, что было сказано выше, должно быть ясно, что душа состоит преимущественно из образов. Это последовательность образов в самом широком смысле слова, не случайное наложение или череда, а структура, наделенная смыслом и целью, наглядным «изображением» жизнедеятельности. Материал тела, готового к жизни, нуждается в душе, чтобы стать жизнеспособным, и точно так же душа предполагает наличие живого тела для оживления своих образов.

Быть может, душа и тело составляют пару противоположностей и как таковые выражают некую цельную сущность, природу которой нельзя познать ни извне, то есть по материальным проявлениям, ни изнутри, то есть по внутреннему, непосредственному восприятию.

---

[1] Или «о психическом и телесном» (*seele und körper*): в терминологии Юнга слово «seele» нередко используется в обоих значениях. — *Примеч. пер.*

Согласно древним верованиям, человек обретает бытие через слияние души и тела. Но правильнее, пожалуй, рассуждать о непознаваемой живой сущности (исходная природа которой остается тайной; добавим только, что она смутно выражает квинтэссенцию «жизни»). Эта живая сущность внешне предстает материальным телом, однако внутренне есть последовательность образов, отпечатков происходящих в теле жизненных процессов. Это две стороны одной монеты, и не удается избавиться от ощущения, что разделение на душу и тело окажется в конечном счете всего лишь выдумкой разума, который сознательно предпринял уничижение, по интеллектуальной необходимости разделил целое надвое, а мы сами стали необоснованно приписывать этим двум составляющим самостоятельное бытие.

Наука до сих пор не преуспела в попытках разгадать жизнь — будь то в органической материи или в таинственных последовательностях мыслительных образов; в результате мы по-прежнему норовим отыскать «живую сущность», бытие которой приходится выводить вне рамок непосредственного опыта. Всякий, знакомый с пропастями физиологии, приходит в смятение при мысли о них, а у всякого, причастного к изучению души, становится тяжело на сердце при мысли о том, удастся ли хоть когда-нибудь «познать» что-либо в этом «отражении».

С этой точки зрения стоило бы отказаться от всякой надежды на выяснение чего-либо существенного о том, что скрывается за изменчивым понятием «дух». Ясно, как кажется, только одно: «живая сущность» есть квинтэссенция жизни в теле, а «дух» есть квинтэссенция жизни в душе; недаром ведь понятие духа смешивается с понятием души. При таком рассмотрении «дух» обитает в той же запредельной (*nebelhaften*) реальности, что и «живая сущность». А сомнения по поводу того, разделимы ли на самом деле душа и тело, можно рас-

пространить и на мнимый контраст между «духом» и «живой сущностью». Не исключено, что и они — одно и то же.

Насколько необходимы все эти возвышенные понятия? Неужели мы не готовы довольствоваться и без того уже достаточно таинственным противоречием между душой и телом? С естественно-научной точки зрения нам следовало бы остановиться. Но существует другая точка зрения, удовлетворяющая научной этике, и она не просто позволяет, но буквально требует, чтобы мы шли дальше и пересекли границу, которая кажется непреодолимой. Эта точка зрения — *психологическая*.

До сих пор я опирался в своих рассуждениях на реалистическую точку зрения естественно-научного мышления, не подвергая сомнению собственный выбор. Но, чтобы вкратце пояснить, что понимается под психологической точкой зрения, мне придется показать обоснованность сомнений относительно бесспорной ценности реалистической точки зрения. Возьмем в качестве примера то, что обыденный разум признает наиболее реальным из всего, то есть материю. Относительно природы материи у нас имеются лишь наисмутнейшие теоретические догадки, которые суть не что иное, как образы, созданные нашим разумом. Движения волн или солнечное излучение, улавливаемые моим зрением, восприятие переводит в ощущение света. Именно психическое, благодаря своему запасу образов, придает миру цвета и звуки; такова предельно реальная и предельно рациональная «действительность» в своей простейшей форме, то есть чрезвычайно сложно организованная структура мысленных образов. Следовательно, нет смысла говорить о том, будто что-либо воспринимается непосредственно, поскольку все равно вмешивается психическое. Все им опосредуется, переводится, фильтруется, получает аллегорическую форму, искажается и даже фальсифицируется. Мы настолько глубоко погружены

в пелену бесконечно изменчивых и непостоянных образов, что хочется воскликнуть вместе со знаменитым скептиком[1]: «Нет ничего абсолютно истинного, даже сказанное не совсем верно». Пелена вокруг нас столь густа и обманчива, что мы вынуждены изобретать точные науки, дабы уловить хотя бы проблеск так называемой «реальной» природы мироздания. Конечно, наивному разуму этот избыточно яркий мир вовсе не кажется туманным, но, если окунуться в душу первобытного человека и сопоставить его образ мира с образом у человека цивилизованного, наивный разум, возможно, осознает, в каких плотных сумерках мы по-прежнему живем.

Все, что мы знаем о мире, как и все, что мы непосредственно ведаем о себе, суть элементы сознания, приходящие к нам из отдаленных и непредставимых источников. Я не оспариваю ни относительную ценность реалистической точки зрения, *esse in re*, ни ценность идеалистической точки зрения, *esse in intellectu solo*, но мне хотелось бы объединить эти крайние противоположности через *esse in anima*[2], то есть посредством психологической точки зрения. Непосредственно мы живем исключительно в мире образов.

Если принимать данную точку зрения всерьез, то это повлечет за собой своеобразные последствия. Мы обнаружим, что ценность психических фактов нельзя будет подвергнуть ни эпистемологической критике, ни научной проверке. Единственным выходом останется вопрос — существует сознательное содержание или нет? Если да, то оно достоверно само по себе. Естественная

---

[1] Имеется в виду Э.Д. Деккер, или Мультатули, нидерландский писатель-сатирик и один из любимых авторов З. Фрейда. Фраза, которую цитирует Юнг, взята из газетного очерка Э. Деккера. — *Примеч. пер.*

[2] Быть в реальности... быть только в разуме... быть в душе (*лат.*). — *Примеч. ред.*

наука может быть привлечена, только когда мы делаем утверждение о чем-то, представленном во внешнем мире; к эпистемологической же критике мы обращаемся, лишь когда нечто непознаваемое выдается за познаваемое. Воспользуемся примером, знакомым каждому из нас. Естественные науки не смогли отыскать никакого «Бога», эпистемологическая критика доказала невозможность познания Бога, но психическое утверждает существование Бога. То есть Бог есть психический факт, непосредственно доступный опыту, иначе никто и никогда не рассуждал бы о Боге. Этот факт достоверен сам по себе, не нуждается в каких-либо внепсихологических доказательствах и не доступен ни для какой внепсихологической критики. Быть может, это самый непосредственный и именно поэтому самый реальный опыт, над которым нельзя насмехаться и который нельзя оспаривать. Только люди с плохо развитым ощущением действительности или упорствующие в своих заблуждениях могут отрицать эту истину. Пока восприятие Божества не требует всеобщего признания истинности или абсолютного бытия Бога, никакая критика невозможна, ведь иррациональный факт, например существование слонов, критике не подлежит. Тем не менее восприятие Божества является относительно общим, поскольку едва ли не каждый в целом знает, что понимается под выражением «опыт познания Бога». Сей факт встречается довольно часто, и его должна признавать научная психология. Также мы не вправе попросту поворачиваться спиной к тому, что принято называть суевериями. Когда человек говорит, будто видел призрака, или считает себя околдованным (причем для него это не пустые слова), то речь снова идет о факте опыта, настолько общем, что всякому известно, каково значение слов «призрак» и «колдовство». Поэтому мы можем быть уверены, что и в данных случаях имеем дело с четко оформленным комплексом психических фактов, который как таковой

«реален» ничуть не менее видимого мною света. Не знаю, каким образом возможно доказать существование призрака умершего человека в эмпирической реальности, и не могу вообразить, какими логическими методами удалось бы неоспоримо доказать продолжение жизни после смерти, но тем не менее приходится считаться с тем обстоятельством, что во все времена и во всех краях психическое притязало на знание о существовании призраков. Я должен это учитывать наряду с тем фактом, что многие люди полностью отрицают этот субъективный опыт.

После такого довольно общего пояснения я хотел бы вернуться к понятию духа, которое мы не смогли описать с прежней, реалистической точки зрения. Слово «дух», подобно слову «Бог», обозначает объект психического опыта, существование которого во внешнем мире не может быть доказано и не может быть познано рационально. Таково значение этого слова в самом возвышенном толковании. Стоит нам избавиться от предрассудка, будто необходимо соотносить понятие либо с объектом внешнего опыта, либо с априорными категориями разума, как мы получаем возможность сосредоточить внимание и интерес на той странной и непознанной сущности, которая зовется «духом». В таком случае всегда полезно рассмотреть вероятную этимологию слова, поскольку нередко случается так, что история слова проливает неожиданный свет на природу психического факта, за ним стоящего.

В древневерхненемецком *Geist* и в англосаксонском *gast* обозначали сверхъестественное существо, противопоставляемое человеку во плоти. Согласно Клюге[1], исходное значение слова вызывает сомнения, но оно как будто связано с древнескандинавским *geisa* («гневать-

---

[1] Ф. Клюге — немецкий лексикограф, автор ряда сочинений по истории немецкого языка. — *Примеч. пер.*

ся»), готтским *us-gaisyan* («выходить из себя»), швейцарско-немецким *uf-gaista* («быть вне себя») и английским *aghast* («объятый страхом, пораженный»). Эта связь подкрепляется иными оборотами речи. «Быть обуянным гневом» означает, что на человека что-то находит, овладевает им, понуждает, подчиняет себе, проникает внутрь, забирается в душу и т.д. На допсихологической стадии развития, да и в поэтическом языке, обязанном своей выразительностью жизненной первобытности, аффекты и эмоции персонифицируются в образе демонов. Быть влюбленным означает, что вас пронзила стрела Амура; что Эрида бросила яблоко раздора и т.п. Когда мы оказываемся «вне себя от гнева», то очевидно, что мы перестали быть собой, что нами овладел демон или дух.

Примитивное окружение, в котором когда-то возникло слово «дух», существует и поныне, на психическом, разумеется, уровне чуть ниже сознания. Но современный спиритизм показывает, что требуется крайне незначительное усилие для того, чтобы этот осколок первобытной ментальности снова оказался на поверхности. Если этимологическая цепочка верна (что само по себе вполне вероятно), то «дух» в этом смысле есть образ персонифицированного аффекта. К примеру, если некто позволяет себе увлечься неосмотрительными высказываниями, мы говорим, что он не следит за своей речью, явно подразумевая, что его речь как бы обрела самостоятельность, вырвалась и сбежала от него. С психологической точки зрения мы бы сказали, что любой аффект склонен становиться автономным комплексом, отрываться от иерархии сознания и, когда это возможно, увлекать за собой эго. Поэтому неудивительно, что первобытный разум усматривает во всем этом происки чуждых незримых существ — духов. Получается, что дух есть образ автономного аф-

фекта, вот почему в Античности уместно называли духов *imagines* — образами.

Обратимся теперь к другим контекстам употребления понятия «дух». Фраза «Он ведет себя в духе своего покойного отца» все еще обладает двойным значением, поскольку здесь слово «дух» в равной степени отсылает и к призраку умершего, и к образцу поведения. Другие обороты речи — «привнести новый дух», «веет новым духом» и пр. — обозначают обновление ментальной установки. Притом в основе все равно лежит представление об одержимости духом, который, например, может стать *spiritus rector*[1] какой-то группы. Еще можно сказать так, выражая обеспокоенность: «В этой семье царит дух раздора».

Тут мы имеем дело уже не с персонификацией аффектов, а с визуализацией общего образа мыслей или, выражаясь психологически, общей установки. Дурная установка, представляемая злым духом, выполняет для наивного ума практически ту же самую психологическую функцию, что и персонифицированный аффект. Многих это утверждение может удивить, поскольку под «установкой» обычно понимается отношение к чему-либо, коротко говоря, деятельность эго, причем целенаправленная. Впрочем, установка или образ мыслей далеко не всегда порождаются волением; куда чаще они обязаны своеобразием ментальному воздействию, то есть образцам и влиянию окружающей их среды. Как известно, находятся люди, дурная установка которых словно отравляет атмосферу, их дурной пример заразителен, своей нетерпимостью они раздражают других. В школе единственный озорник способен испортить настрой целому классу, а веселый и безобидный нрав (дух) ребенка в иной ситуации может рассеять мрак семейной обстановки, что, разумеется, возможно, лишь

[1] Здесь: жизненным стержнем (*лат.*). — *Примеч. ред.*

когда индивидуальные установки улучшаются благодаря положительному примеру. Вдобавок установка может возникать даже вопреки сознательной воле — как говорится, «дурная компания портит добрый нрав». Наиболее отчетливо это заметно в массовых внушениях.

Значит, установка или наклонности могут навязываться сознанию извне или изнутри, подобно аффектам, и потому они могут выражаться посредством тех же самых речевых оборотов. На первый взгляд установка выглядит сложнее аффекта по своему «устройству». Но при более тщательном рассмотрении мы обнаруживаем, что это не так, поскольку большинство установок, осознанно или неосознанно, опирается на некую максиму, зачастую приобретающую форму пословицы. В некоторых случаях стоящие за установками максимы выявляются легко, и не составляет труда понять, откуда они взялись. Нередко установка даже выражается единственным словом, которое, как правило, обозначает некий идеал. Довольно часто квинтэссенцией установки выступает не максима и не идеал, а личность, почитаемая и побуждающая себе подражать.

Воспитатели используют в своей работе эти психологические факты и стараются прививать полезные установки при помощи максим и идеалов; отдельные установки и вправду превращаются в руководящие принципы на всю жизнь человека. Они овладевают людьми, подобно духам. На более примитивной ступени восприятия они видятся хозяевами, пастырями, *poimen* или *poimandres*[1], воплощениями руководящих принципов в облике символических фигур.

Здесь мы приближаемся к понятию «духа», которое выходит далеко за рамки анимистической картины. Мудрые изречения и пословицы суть, как правило, плоды богатого опыта вкупе с индивидуальными усилиями, подведение итога множеству наблюдений и

---

[1] Пастухами (*греч.*). — *Примеч. ред.*

«прозрений» несколькими меткими словечками. Если, например, подвергнуть обстоятельному анализу евангельское суждение: «И последние станут первыми»[1], попытаться реконструировать весь тот опыт, который выразился в этом изречении, то нельзя не подивиться богатству и зрелости впечатлений, положенных в основу этих слов. Это поистине «внушительное» суждение, поражающее ум, который его воспринимает, и, быть может, навсегда им овладевающее. Те изречения или идеалы, что содержат в себе богатейший жизненный опыт и глубочайшие размышления над ним, и составляют «дух» в наивысшем понимании этого слова. Когда руководящий принцип такого рода обретает абсолютную власть, мы говорим о жизни, проживаемой под этой властью, как об «одухотворенной» или «духовной». Чем весомее и чем побудительнее руководящий принцип, тем более ему присуща природа автономного комплекса, который твердо противостоит эго-сознанию.

Впрочем, следует помнить о том, что эти максимы и идеалы, даже наилучшие среди них, не являются магическими заклинаниями беспредельного могущества; они утверждают свое господство лишь при определенных условиях, когда нечто в нас им откликается, когда некий аффект готов «влиться» в предложенную форму. Только через воздействие эмоций идея или любой руководящий принцип могут стать автономным комплексом; без этого воздействия идея останется подчиненным понятием, жертвой произвола сознательного разума, простым интеллектуальным инструментом без побудительной силы. Идея, которая есть всего-навсего инструмент, не оказывает влияния на жизнь, поскольку в таком состоянии она мало чем отличается от обычных

---

[1] Лк. 13:30: «И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними»; см. также Мф. 19:30: «Многие же будут первые последними, и последние первыми». — *Примеч. пер.*

слов. Наоборот, когда идея превращается в автономный комплекс, она воздействует на индивидуума посредством эмоций.

Но не нужно думать, будто эти автономные установки возникают по сознательному волению и по сознательному выбору. Когда я говорю, что им требуется помощь эмоций, то с теми же основаниями мог бы сказать, что для возникновения автономной установки необходима бессознательная готовность наряду с сознательной волей. Желание стать одухотворенным не может возникнуть по нашей воле. Принципы, которые мы можем выбирать и к которым можем стремиться, всегда пребывают в области наших суждений и подчиняются нашему сознательному намерению, а потому они попросту не способны сделаться чем-то таким, что повелевает сознательной волей. То есть выбор принципа, управляющего нашей установкой, — это скорее произвол судьбы.

Конечно же, могут спросить, не будет ли для некоторых людей руководящим принципом их собственная свободная воля, вследствие чего они станут преднамеренно выбирать установки? Не думаю, что кто-то сумел достичь и вообще в состоянии достичь такого богоподобного статуса, но мне известно, что многие люди идут к своему идеалу, будучи одержимыми героической идеей абсолютной свободы. Все мы в чем-то да зависимы, в чем-то ограниченны, поскольку богами не являемся.

Дело в том, что наше сознание вовсе не охватывает человеческую личность в целом; оно есть и остается частью личности. Во вступительном слове я упомянул о возможности того, что наше эго-сознание — далеко не единственное сознание в нашей системе, что, быть может, оно подчинено более широкой сознательности, как простые комплексы подчинены эго-комплексу.

Мне, признаться, неведомо, каким образом мы могли бы доказать существование сознания, более воз-

вышенного или более широкого, нежели эго-сознание; но если оно все-таки существует, то для эго-сознания это обширное сознание должно быть чрезвычайно тревожным фактором. Поясню свою мысль на простом примере. Вообразим, что наша оптическая система обрела собственное сознание и поэтому сделалась своего рода личностью, которую мы назовем «зрительной личностью». Эта зрительная личность, скажем, обнаружила некий чудесный вид и целиком погрузилась в его созерцание. Внезапно акустическая система слышит гудок автомобиля. Это восприятие остается вне осознания оптической системы. От эго — вновь способом, недоступным оптической системе — поступает приказ мышцам переместить тело на другое место в пространстве. Вследствие перемещения объект зрительного восприятия вдруг исчезает. Умей глаза думать, они наверняка пришли бы к выводу, что световой мир подвержен всевозможным разрушительным воздействиям (*störungsfaktoren*).

Нечто подобное просто обязано случиться, существуй более широкое сознание, то есть сознание, которое, как я указывал ранее, есть образ цельного человека. Но насколько реальны те разрушительные воздействия, неподвластные ничьей воле и не подлежащие вмешательству? Таится ли где-то в нас нечто неосязаемое и неощущаемое, в котором можно усмотреть источник таких разрушений? На первый вопрос мы без лишней суеты можем ответить утвердительно. В обычных людях, не говоря уже о невротических личностях, легко обнаруживаются признаки явных вмешательств и нарушений, привнесенных из иной области. Настроение неожиданно меняется, откуда-то обрушивается головная боль, имя друга, которого надо было представить, исчезает из памяти, некая мелодия преследует нас с самого утра, мы хотим что-то сделать, но силы для этого куда-то пропали... Мы забываем то,

чего совершенно не собирались забывать, мы с удовольствием отходим ко сну, однако сон от нас бежит — или приходит, но приносит с собой фантастические и тревожащие сновидения; очки у нас на носу, но мы продолжаем их искать; новый зонтик оставлен неизвестно где... Этот список можно было бы продолжать до бесконечности. Что касается психологии невротиков, мы сталкиваемся в этом случае с самыми парадоксальными нарушениями. Проявляются поразительные патологические симптомы, хотя болезнь не затронула ни один внутренний орган. Без малейшего органического расстройства температура тела подскакивает до 40 градусов, или наблюдается удушье, вызванное тревогой без малейших к тому оснований; возникают навязчивые идеи, бессмысленность которых очевидна самому пациенту, сыпь появляется и исчезает без всякого повода и без лечения. И здесь список тоже бесконечен. Безусловно, для каждого случая находится более или менее удовлетворительное объяснение, но оно не годится для прочих случаев. При этом в самом факте психических нарушений сомневаться не приходится.

Теперь обратимся ко второму вопросу — об источнике нарушений. Нам известно, что медицинская психология выдвинула понятие бессознательного и наглядно показала, что упомянутые нарушения вызываются бессознательными процессами. Как если бы наша «зрительная личность» обнаружила, что наряду со зримыми определяющими факторами должны существовать и незримые. Если факты нас не обманывают, то бессознательные процессы далеки от неразумности. Они напрочь лишены автоматического и механического характера, причем в степени, которая откровенно изумляет. Они ни в коей мере не уступают сознательным процессам в сложности, более того, нередко превосходят остротой наши сознательные «прозрения».

Наша воображаемая «оптическая персона» могла бы усомниться в том, что внезапные нарушения в световом мире происходят по воле другого сознания. Сходным образом мы сами вправе сомневаться в наличии более широкого сознания, имея для того оснований не больше, чем есть у «оптической персоны». Но, поскольку мы не в силах воспринять и постичь более широкое сознание, нам вполне пристало именовать эту темную для нас область бессознательным, не делая поспешного вывода, будто она сама по себе лишена сознания.

Здесь я снова возвращаюсь к своей первоначальной гипотезе о более высоком уровне сознания, потому что проблема, которая нас интересует, а именно управляющая жизнью власть духа, связана с процессами за пределами эго-сознания. Чуть выше я упоминал как бы между делом, что идея, лишенная эмоциональной силы, никогда не сможет стать фактором, управляющим жизнью. Также я отметил, что появление того или иного образа мыслей или установки (то есть «духа») зависит от произвола судьбы, тем самым подчеркивая, что сознательный разум не способен создавать автономные комплексы по собственной воле. Комплекс не является автономным, пока он не будет навязан нам принудительно, пока не докажет наглядно свое превосходство над сознательной волей. Кроме того, перед нами одно из тех нарушений, которые происходят из темной области психического. Когда я ранее говорил, что идея должна вызывать эмоциональный отклик, то под этим подразумевалась бессознательная готовность, которая, благодаря своей аффективной природе, проистекает из глубинных уровней, не доступных сознанию. То есть наш сознательный разум не может вырывать «корни» нервных симптомов; для этого требуются эмоциональные процессы, которые даже сами в состоянии воздействовать на симпатическую нервную систему. Ничто не мешает нам заявить, что, когда более широкое сознание считает момент под-

ходящим, побудительная идея подается эго-сознанию в виде безусловного распоряжения. Всякий, кто осознает свой руководящий принцип, знает, с каким беспрекословным авторитетом тот повелевает его жизнью. Но обычно сознание слишком занято достижением каких-то манящих целей и потому не утруждается осмыслением духа, определяющего его развитие.

С психологической точки зрения феномен духа, как и любой автономный комплекс, предстает в качестве намерения бессознательного, стоящего над намерениями эго-сознания или хотя бы вровень с ними. Для правильного определения сущности того, что называем духом, нам бы следовало говорить о более «высоком» сознании, чем о бессознательном, поскольку понятие духа как будто связано с представлением о его превосходстве над эго-сознанием. Такое превосходство приписывается духу не в результате сознательных размышлений, а считается его сущностной особенностью, что очевидно из записей всех эпох, от Священного Писания и до «Заратустры» Ницше. Психологически дух проявляется как отдельная сущность, причем отчетливо — пророчески — порою наблюдаемая, а в христианской догматике выступает как третья ипостась в Троице. Эти факты показывают, что дух далеко не всегда есть просто максима или идея, подлежащая изложению; в своих сильнейших и самых непосредственных проявлениях он демонстрирует особую самостоятельную жизненность, становится обособленной сущностью. Пока дух возможно выражать и описывать как постижимый принцип или четкую идею, он ничуть не будет восприниматься в качестве самостоятельной сущности. Но когда идея или принцип утрачивают объяснимость, когда их происхождение и намерения перестают познаваться, но продолжают навязывать себя, тогда дух неизбежно начинает восприниматься как самостоятельная сущность, как некое более высокое сознание, а его непо-

стижимая и превосходящая обычную природа уже не может быть выражена человеческим разумом. Наши способности выражения в итоге вынуждены прибегать к иным средствам — они создают символы.

Под символом ни в коем случае не следует понимать аллегорию или знак; скорее это некий образ, который должен, насколько возможно, описывать смутно различимую природу духа. Символ ничего не объясняет и не определяет, но указывает вовне, на значение, которое неясно провидится, но еще не постигается, которое невозможно удовлетворительно выразить никакими привычными словами нашего языка. Дух, подлежащий переводу в понятие, есть психический комплекс, воспринимаемый в пределах нашего эго-сознания. Он ничего не порождает и не достигает ничего сверх того, что мы в него вложили. Но дух, для выражения которого требуется символ, есть психический комплекс, содержащий в себе зачатки необозримых возможностей. Наиболее очевидным и наилучшим примером здесь будет действенность христианской символики, чья сила изменила ход истории. Если без предубеждения оценить влияние раннехристианского духа на умы обыкновенных людей второго столетия[1], то нам останется лишь изумляться. С другой стороны, никакой иной дух не был столь же творческим. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он ощущался как божественный.

Именно отчетливо ощущаемое богоподобное превосходство придает феномену духа характер откровения и абсолютную власть (безусловно, опасные качества); ведь то, что можно было бы назвать «высшим» сознанием, отнюдь не всегда возвышается, если судить с точки зрения наших сознательных ценностей, оно часто и су-

---

[1] Второе столетие нашей эры — время расцвета гностического христианства с его символизмом и мистицизмом. — *Примеч. пер.*

рово конфликтует с нашими признанными идеалами. Строго говоря, это гипотетическое сознание надлежит трактовать просто как «более широкое», дабы не возникало предубеждения, будто оно непременно выше в интеллектуальном или моральном отношении. На свете множество духов, темных и светлых. Поэтому нужно быть готовыми к признанию того взгляда, что дух не абсолютен, что он является чем-то относительным, нуждается в завершении и совершенствовании через жизнь. Известно множество случаев, когда дух настолько овладевал человеком, что жил уже не человек, а сам дух, причем способом, который не сулил богатой и полнокровной жизни, который калечил человека. Вовсе не утверждаю, будто смерть христианских мучеников была напрасным, бесцельным самоуничтожением, — напротив, такая смерть означала более полную, нежели иные, жизнь; скорее я имею в виду дух некоторых сект, полностью отрицавших жизнь. Что станется с духом, когда он истребит человека? Разумеется, строгие монтанистские[1] воззрения вполне соответствовали высшим нравственным требованиям эпохи, но они одновременно разрушали жизнь. Поэтому дух, соответствующий нашим высшим идеалам, встанет, полагаю, перед пределами, установленными самой жизнью. Конечно, он необходим для жизни, поскольку простая эго-жизнь, как мы хорошо знаем, совершенно недостаточна и неудовлетворительна. Лишь жизнь, прожитая «в духе», является по-настоящему ценной. Примечательно, что жизнь, которую проживают под властью эго, скучна не только для самого человека, но и для тех, кто его окружает. Полнота жизни требует большего, нежели одно эго; она нуждается в духе, то есть в независимом и руководящем комп-

---

[1] Монтанизм — направление в христианстве, получившее свое название от имени проповедника Монтана, который призывал к живому общению с Богом вне церковной иерархии и вне обрядов. Церковь отнесла это направление к ересям. — *Примеч. пер.*

лексе, который один способен придать жизненное выражение тем психическим возможностям, что недоступны эго-сознанию.

Но рядом со стремлением к слепой и беспорядочной жизни имеется и стремление принести в жертву духу всю свою жизнь ради обретения его творческого превосходства. Это стремление превращает дух в злокачественную опухоль, бессмысленно разрушающую человеческую жизнь.

Жизнь есть мера истинности духа. Дух, отвлекающий человека от жизни, находящий удовлетворение в самом себе, — это дух ложный; правда, часть вины ложится и на человека, который волен выбирать, предаться этому духу или нет.

Жизнь и дух — те две силы или необходимости, между которыми помещается человек. Дух наделяет смыслом его жизнь и сулит возможность величайшего расцвета. Но без жизни духу не обойтись, ибо его истина — ничто, если она не жизнеспособна.

Проблема души современного человека[1]

Проблема души современного человека принадлежит к тому обширному кругу вопросов, который необозрим именно в силу своей современности. Ныне человек находится на стадии своего становления, а современная проблема души встала недавно, и ответ мы получим только в будущем. Следовательно, проблема души современного человека — это, в лучшем случае, постановка вопроса, который, быть может, звучал бы иначе, имей мы хотя бы отдаленное представление о том, каким будет ответ; к тому же это неслыханно общий — если не сказать, смутный — вопрос, который настолько превосходит возможности отдельного человека, что мы имеем все основания для того, чтобы подходить к нему с величайшей скромностью и осторожностью. Я считаю признание этого ограничения необходимым, ибо ничто не склоняет в такой мере к произнесению громких, но пустых слов, как взаимодействие с подобными проблемами. Ситуация вынуждает изрекать нечто нескромное и дерзкое, способное нечаянно ослепить нас самих. Любой из нас сможет назвать множество

---

[1] Доклад, прочитанный на заседании общества интеллектуального сотрудничества в Праге, октябрь 1928 г. Опубликовано в: «*Europäische Revue*» IV/9 (Берлин, 1928). Переработанное и расширенное издание: «*Seelenprobleme der Gegenwart*» (Psychologische Abhandlungen III), Цюрих, 1931. — *Примеч. ред.*

примеров, когда люди становились жертвами собственной велеречивости.

Начнем именно с нескромности, и тут я должен указать, что человек, которого мы называем современным, то есть человек, который живет в непосредственно данной нам современности, стоит на вершине — или, если угодно, находится на периферии мира: над ним небо, под ним все человечество, история которого окутана непроницаемым первобытным туманом, а впереди пропасть будущего. Современных, или, лучше сказать, «непосредственно сегодня» живущих, людей немного, ибо само их существование требует наивысшей осознанности, интенсивной и расширенной, при минимуме бессознательного, ибо человек только тогда современен, когда он полностью осознает свое существование как существование человека. Отсюда вполне понятно, что современным является не всякий ныне живущий человек — ибо в этом случае всех ныне живущих следовало бы называть современными, — но только тот, кто отчетливо осознает современность.

Тот, кто обретает современное сознание, по необходимости, *одинок*. «Современный» человек одинок во все времена, ибо каждый шаг к более высокому и широкому сознанию отдаляет от чисто животной «мистической сопричастности» в стаде, от погруженности в общее бессознательное. Каждый шаг вперед означает разрыв с этим всеохватывающим материнским лоном изначальной неосознанности, в каковой продолжает пребывать подавляющее большинство любого народа. Даже в культурной среде низшие слои по степени неосознанности жизни мало отличаются от народов первобытных. Средние слои живут на значительно более высокой ступени осознанности, каковая соответствует начальному культурному уровню человечества, а высшие слои обладают сознанием, которое подобно осознанности, складывавшейся в последние несколько

столетий. Только такой человек, современный в нашем понимании этого слова, живет непосредственно в современности, обладая современным сознанием. Для него одного блекнут миры прошлых ступеней сознания, их ценности и устремления интересуют его лишь с исторической точки зрения. Он постепенно становится в глубочайшем смысле слова «внеисторическим» и потому отчуждается от массы, живущей исключительно традиционными идеями. Он именно потому полностью современен, что ему удалось подойти к внешнему краю мира, — за его спиной померкшие идеалы и преодоленные представления, впереди признаваемое ничто, из которого может возникнуть все.

Это звучит так величественно, что может показаться банальностью: нет ничего проще, чем опорочить эту осознанность, и фактически существует легион никуда не годных людей, которые напускают на себя флер современности за счет того, что жульнически перепрыгивают все ступени, насыщенные тяжелейшим жизненным опытом, и внезапно, подобно лишенным всяких корней призракам или вампирам, появляются рядом с истинно современным человеком и дискредитируют того в его незавидном одиночестве. В итоге получается, что на этих немногих современных людей близорукий взгляд массы взирает сквозь мутную пелену призраков, «тоже современных», которых путает с истинно современными людьми. Тут ничто не помогает: современное подозрительно и пользуется дурной репутацией, причем так было во все времена, начиная с Сократа и Иисуса.

Признавать себя сторонником современности значит добровольно объявлять себя банкротом, приносить обет нищеты и воздержания, допускать болезненный отказ от сияющих святынь, на что всегда требуется санкция со стороны истории. Быть вне истории — таков грех Прометея, и современный человек в этом

смысле поистине греховен. То есть *высшее осознание — это вина.* Но на высшую осознанность современности, как уже говорилось, может притязать лишь тот, кто преодолел ступени сознания прошлого, тот, кто, иными словами, смог решить задачи, поставленные миром. Этот человек должен быть лучше, добродетельнее и прилежнее, должен уметь все то, что умеют другие, и даже больше, должен открывать другим возможности и внушать им стремление взойти на более высокую ступень сознания.

Мне известно, что слово «прилежание» очень не любят «тоже современные» люди, ведь оно напоминает им об их мошенничестве. Для нас это вовсе не повод считать прилежание существенным признаком современного человека. Это необходимый признак, ибо без него современный человек превращается в бессовестного спекулянта. Современный человек должен быть предельно прилежен, поскольку пребывание вне истории — просто неверность в отношении прошлого, если она не отягощается способностью творить историю. Мы тщетно будем пытаться осознать настоящее лишь за счет отрицания прошлого. Сегодня осмысленно только тогда, когда оно находит свое место между вчера и завтра. Сегодня — это процесс, переход, обособленный от вчера и устремленный в завтра. Того, кто понимает сегодня именно так, и можно назвать современным человеком.

«Современными» именуют себя многие, в особенности «тоже современные» люди. Вследствие этого поистине современных людей часто находят среди тех, кто называет себя старомодным. Они поступают так, с одной стороны, чтобы возместить греховное преодоление исторического подчеркиванием важности прошлого, а с другой стороны, чтобы избежать досадного смешения с «тоже современными». Рядом с каждым добром стоит соответствующее ему зло, следовательно,

добро не может явиться в мир без того, чтобы не породить сопутствующее зло. Этот болезненный факт доказывает полную иллюзорность присущего современному сознанию возвышенного ощущения, будто оно является вершиной всей человеческой истории, исполнением и результатом бесчисленных прошлых тысячелетий. В лучшем случае перед нами признание гордой нищеты, подведение итогов и разочарование в тысячелетних надеждах и иллюзиях. За нами почти две тысячи лет христианской истории, но вместо пришествия Христа и тысячелетнего царства у нас — мировая война христианских народов, колючая проволока и отравляющие газы... Крах небесных и земных упований!

Имея в виду эту картину, мы поступим правильно, если вспомним о скромности. Да, современный человек стоит на вершине, но завтра эта вершина будет покорена всеми остальными, ведь она представляет собой результат многовекового развития — и одновременно является величайшим разочарованием во всех надеждах. Современный человек это хорошо осознает. Он видел благое действие наук, техники и учреждений, а также видел, каким катастрофическим может быть это действие. Он видел, как все благонамеренные правительства столь основательно защищали мир на основании принципа *Si vis pacem para bellum*[1], что Европа едва не погибла. Что касается идеалов, то ни христианская церковь, ни человеческое братство, ни международная социал-демократия, ни солидарность экономических интересов не выдержали испытания огнем действительности. Уже сейчас, через десять лет после окончания войны[2], мы снова видим тот же оптимизм, те же учреждения, то же политическое воодушевление, слышим те же фразы и лозунги, которые в дальней пер-

[1] Хочешь мира — готовься к войне (*лат.*). — *Примеч. ред.*

[2] Имеется в виду Первая мировая война. — *Примеч. ред.*

спективе вновь готовят неизбежную катастрофу. К пактам, объявляющим войну вне закона, отношение ныне сугубо скептическое, хотя все желают этим пактам долголетия и процветания. В основном же все попытки умиротворения вызывают острое сожаление и сомнения. Полагаю, что в целом не впаду в преувеличение, если сравню современное сознание с душой человека, который, испытав смертельное потрясение, потерял уверенность в себе.

По этому высказыванию можно заключить, что моя ограниченность обусловлена тем, что я врач. Я не могу перестать быть врачом. Врач всегда видит болезни, но его ремесло в существенной мере заключается в том, чтобы не находить болезнь там, где ее нет. Я также остерегусь утверждать, что западное человечество, белые люди, если угодно, все больны или что западный мир близок к своему закату. Такое суждение выходит далеко за рамки моих познаний.

Когда слышишь, как кто-то рассуждает о проблемах культуры или проблемах человечества как такового, надо прежде всего выяснить, кто это говорит, ибо чем более общей и отвлеченной является проблема, тем в большей степени человек склонен исподволь внедрять в ее изложение собственную психологию. Вне всяких сомнений такое поведение может, с одной стороны, приводить к невыносимым искажениям и чреватым тяжелыми последствиями неверным выводам, а с другой стороны, именно то обстоятельство, что общая проблема захватывает личность целиком и ее поглощает, служит безусловной гарантией того, что человек, рассуждающий о проблеме, сам ее пережил или даже выстрадал. В последнем случае проблема отражается для нас в личности говорящего, то есть обнажает истину; в первом же случае проблема искажается личностными моментами под предлогом объективного представления, что порождает фантом истины.

Разумеется, я постигаю проблему души современного человека только на основании моего опыта наблюдений за другими людьми и за самим собой. Мне знакома глубинная душевная жизнь сотен образованных людей, больных и здоровых, во всем культурном разнообразии белого человечества, и я сужу на основании этого опыта. Без сомнения, я могу предъявить лишь одностороннюю картину, ибо все описанное помещается в душе и видится, так сказать, изнутри. Следует, впрочем, добавить, что последнее замечание может показаться странным, поскольку душа не всегда и не везде находится на внутренней стороне. У ряда народов и в нескольких эпохах душа помещалась вовне; эти народы и времена характеризуются отсутствием психологичности, и примерами тут будут античные культуры, среди которых выделяется египетская с ее грандиозной предметностью и с не менее грандиозным, пусть наивным, признанием грехов. Невозможно вообразить духовную проблематику за духом гробницы Аписа в Саккаре[1] или за пирамидами — как невозможно представить ее и за музыкой Баха.

Там, где наличествует внешняя идеальная или ритуальная форма, в которой воплощаются все устремления и надежды души (как, например, в живой религиозной форме), там душа располагается снаружи, и тогда не возникает духовных проблем, а еще — нет бессознательного в том смысле, в каком его понимаем мы. Совершенно логично, что открытие психологии приходится на несколько предшествующих десятилетий, хотя и более ранние столетия располагали достаточной интроспекцией и рассудительностью для познания и изучения психологических фактов. В этом случае все

[1] В этом селении к югу от Каира находится древнейший некрополь столицы египетского Древнего царства — Мемфиса; А п и с — священный бык и ка (душа) бога Птаха, имел собственный храм. — *Примеч. ред.*

происходило в точности так же, как с техникой. Римляне, скажем, уже обладали знанием всех тех механических принципов и физических законов, которые могли бы привести к созданию паровой машины, но дело ограничилось лишь игрушкой Герона[1]. Причина проста — отсутствие потребности в такой машине. Эта потребность возникла только благодаря великому разделению труда и его специализации в последние столетия. Понадобилась особая духовная потребность, чтобы побудить общество к открытию психологии. В прошлом душевные факты, естественно, тоже имели место, но не выступали на передний план и не привлекали к себе внимания. Все шло хорошо и без них. Ныне же попросту невозможно обойтись без души.

Врачи, конечно же, первыми ощутили на себе влияние этой истины, ибо для священника душа всегда запечатлена в известной форме для исправного выполнения предназначенной функции. Пока такая форма сохраняет жизнеспособность, психология выступает всего-навсего вспомогательной техникой, а душа не признается *sui generis* (здесь: самостоятельной. — *Ред.*). Пока человек живет в стаде, у него нет души, более того, он в ней не нуждается, за исключением веры в бессмертие. Но едва человек перерастает ограниченность локальной западной религии, едва религиозная форма перестает вмещать его жизнь во всей полноте, душа начинает становиться фактором, с которым уже невозможно обходиться с помощью обычных, привычных средств. Именно поэтому мы сегодня практикуем психологию, которая опирается на эмпирические факты, а не на догматы веры или философские постулаты; кроме того, в наличии психологии я вижу симптом, указывающий на глубочайшее потрясение, испытанное

[1] Герон Александрийский (предположительно I в. н.э.), греческий математик и физик, придумал, среди прочих изобретений, паровую турбину. — *Примеч. ред.*

всеобщей душой. Дело в том, что с народной душой дела обстоят так же, как с душой индивидуальной: пока все идет хорошо и вся душевная энергия находит уравновешенное и удовлетворяющее выражение, она не причиняет нам никакого вреда. Нам неведомы неуверенность и сомнения, мы не можем быть в разладе с самими собой. Однако стоит каким-то каналам душевной деятельности засориться, как возникает застой, в результате которого происходит затопление источника, то есть внутреннее начинает отличаться от внешнего, вследствие чего мы перестаем ощущать себя в единстве с самими собой. Только в этой ситуации, в этом *бедственном положении*, душа открывается как нечто, имеющее собственную волю, как нечто чуждое, даже враждебное и несовместимое. Наиболее отчетливым доказательством этого служит фрейдовский психоанализ, благодаря которому были обнаружены извращенные сексуальные и преступные фантазии, при буквальном своем понимании совершенно несовместимые с превозносимым сознанием. Всякого, кто в реальности стал бы придерживаться таких норм, можно с полным основанием назвать сумасшедшим, мятежником или преступником.

Нельзя согласиться с тем, что эти проявления души были созданы и развились только в наше время, на задворках души или в бессознательном. Скорее всего, они присутствовали всегда и во всех культурах. Каждая культура имела своих Геростратов. Но ни одна из прежних культур не испытывала настоятельной потребности всерьез принимать и обсуждать эти душевные порывы. Душа неизменно представлялась элементом метафизической системы. Современное же сознание не может препятствовать познанию души, несмотря на жесточайшее судорожное сопротивление. Этим наше время отличается от прошлых эпох. Мы уже не в состоянии отрицать, что темные содержания бессознательного могут

оказывать мощное воздействие, что существуют душевные силы, которые невозможно втиснуть в наш рациональный миропорядок, во всяком случае, ныне; да, мы воздвигли вокруг этих затруднений целую науку, но она, по сути, лишь доказывает, насколько серьезно мы воспринимаем происходящее. В прошлые столетия на это не обращали внимания, отрицали как несущественное, однако сегодня мы больше не вправе отбрасывать Нессову одежду[1].

Потрясение современного сознания, обусловленное величайшими катастрофическими последствиями мировой войны, изнутри души сопровождалось моральным потрясением основ веры в себя и наши ценности. Ранее мы имели возможность считать политически и морально чуждых людей воплощением злодейства, но современный человек должен понимать, что в политическом и моральном плане чужие — точно такие же люди, как и все остальные. Если раньше я верил, что мой внушенный Богом долг — призывать к порядку других, то теперь я знаю, что точно так же нуждаюсь в призыве к порядку и что поступил бы наилучшим образом, занявшись сначала наведением порядка в собственном доме. Это убеждение становится еще сильнее оттого, что я слишком отчетливо вижу, как пошатнулась моя вера в возможность рациональной организации мира, в ту древнюю мечту о тысячелетнем царстве, где господствуют общий мир и единодушное согласие. Скепсис современного сознания в этом отношении не допускает никакого энтузиазма в отношении переустройства мира и политических реформ; этот скепсис явно создает неблагоприятное основание для оттока душевной энергии в мир, а сомнение в моральных каче-

[1] По древнегреческому мифу, кентавр Несс перед смертью передал жене героя Геракла свою одежду, пропитанную кровью, — якобы приворотное зелье; Геракл, надев эту накидку, долго страдал от страшных мук. — *Примеч. ред.*

ствах личности друга отрицательно влияет на дружеские отношения, поэтому дальнейшее его развитие будет неизбежно подавляться. Этим скепсисом современное сознание как бы обращается против себя, и в ходе этого противотока нам предстоит через преодоление препятствий осознать субъективные душевные явления, которые, пусть они существуют от века, долго находились в тени, так как все беспрепятственно выливалось из души наружу. Совсем иначе выглядел мир средневекового человека: Земля в центре мироздания, вечная твердыня и воплощение покоя; вокруг Земли вращается заботливое, дарующее тепло и свет солнце; белые люди, дети Божьи, наслаждались попечением свыше и воспитывались для вечного блаженства; все точно знали, *что* делать и *как* себя вести, чтобы из бренного земного мира перейти к вечно радостному бытию. О такой действительности мы не можем и мечтать. Естественные науки давно разорвали в клочья эту очаровательную грезу. Те времена остались позади, как детство, в котором отец был самым красивым и сильным человеком на свете.

Все метафизические опоры средневекового человека исчезли, мы заменили их на идеал материальной надежности, всеобщего благосостояния и гуманности. Тому, для кого этот идеал остается непоколебимым, присущ чрезмерный оптимизм. Увы, такая надежность обращается в ничто, ибо современный человек начинает видеть, что каждый шаг по пути прогресса сулит нарастание катастрофических возможностей. При подобных перспективах меркнут и отступают все былые ожидания и фантазии. Как иначе расценить, скажем, тот факт, что сегодня в крупных городах проводятся учения на случай газовых атак, и даже устраиваются их инсценировки? Это означает только одно — согласно принципу «Хочешь мира, готовься к войне», такие атаки действительно планируются. Надо лишь накопить соответствующий материал, который бестрепетно разбу-

дит в человеке дьявольское начало, а дальше все пойдет само собой. Оружие начинает стрелять само, когда его становится достаточно много.

Смутная догадка об этом страшном законе, который управляет всеми слепыми случайностями в мире и который Гераклит некогда обозначил как *энантиодромию* (противоток), наполняет основания современного сознания леденящим страхом и ослабляет веру в возможность противостоять этому монстру посредством социальных и политических мер. После устрашающей картины слепого мира, в котором созидание и уничтожение вечно уравновешивают друг друга, сознание снова обращается к субъективному человеку и, заглядывая на дно его души, открывает там зияющую тьму. Сего зрелища всякий хотел бы избежать, но наука снесла и это последнее прибежище фантазий, так что на месте спасительной пещеры оказалась зловонная выгребная яма.

Все же мы испытываем известное облегчение, открыв столько зла на дне нашей души. Здесь, по крайней мере, мы надеемся обнаружить причины всего зла, господствующего в человечестве как таковом. Хотя лицезрение этого зла в первую очередь потрясает и разочаровывает, однако оно порождает ощущение, что эти душевные факты, часть нашей психики, можно более или менее надежно подчинить, исправить или, по меньшей мере, успешно вытеснить. Если это удастся сделать — а мы вполне на это рассчитываем, — то хотя бы во внешнем мире будет искоренена толика зла. При всеобщем распространении знания о бессознательном все люди смогут увидеть, что, например, некий государственный муж руководствуется в своих действиях болезненными бессознательными мотивами, и газеты смогут обратиться к нему с призывом: «Будьте любезны посетить психоаналитика, ибо вы страдаете вытесненным комплексом отца».

Я намеренно привел этот гротескный пример, чтобы показать, к каким абсурдным следствиям ведет иллюзия того, что явлением, принадлежащим психике, возможно управлять. Не вызывает сомнения, что большая часть зла проистекает из безбрежного человеческого бессознательного; не подлежит сомнению, что мы способны, опираясь на растущее познание, как-то справляться с глубинными истоками зла, в точности так, как благодаря науке умеем ныне справляться с внешними поражениями тела.

Поистине сверхъестественный рост интереса к психологии в последние два десятилетия неоспоримо указывает на то, что современное сознание несколько отступило от материальной очевидности и обратилось взамен к внутренней сущности человека. Экспрессионизм в искусстве пророчески предвосхитил этот поворот, так как искусство всегда интуитивно предугадывает грядущие изменения.

Психологический интерес нашего времени ждет от души чего-то такого, чего не может дать внешний мир; ждет того, что должно бы содержаться в наших религиях, но уже не содержится — или отсутствует для современного человека. Этому человеку религии представляются не тем, что идет изнутри, что исходит из души; скорее, они стали для него плодами или изобретениями внешнего мира. Никакой сверхъестественный дух больше не дарует внутренних откровений, и современный человек пытается воображать религии и убеждения в роли праздничных нарядов, которые примеряют лишь для того, чтобы в конечном счете выбросить, когда они износятся.

Темные, почти болезненные проявления глубинных свойств души каким-то образом возбуждают интерес, хотя плохо поддается объяснению тот факт, что нечто, чем пренебрегали до сих пор, вдруг стало притягательным. Всеобщность этого интереса неоспорима,

даже при том, что он видится плохо совместимым с хорошим вкусом. Под интересом к психологии я подразумеваю не только сугубый интерес к психологии как к науке или не только, рассуждая в узком смысле, интерес к психоанализу Фрейда, но почти всеобщее увлечение такими новомодными поветриями, как спиритизм, астрология, теософия, парапсихология и т.д. С конца шестнадцатого — с начала семнадцатого столетий мир не видел ничего подобного. Сопоставить нынешнюю моду, пожалуй, возможно с расцветом гностики в первом и втором веках новой эры. По своей внутренней направленности сегодняшние духовные искания имеют наибольшее сходство именно с тем периодом. К слову, во Франции поныне существует гностическая церковь[1], а в Германии мне известны две гностические школы, которые объявляют себя наследниками древней традиции. По численности последователей самыми популярными движениями являются теософия и ее континентальная сестра — антропософия, индийская разновидность гностики. На этом фоне интерес к научной психологии представляется исчезающе малым. Гностика, впрочем, опирается на изучение глубинных душевных свойств и проникает морально в темные бездны, что доказывает, например, индийская кундалини-йога в ее европейской «обертке»[2]. То же касается и явлений парапсихологии, что может подтвердить любой знаток этого предмета.

Вкладываемая в указанный интерес страсть представляет собой, несомненно, душевную энергию, истекающую из отживших религиозных форм. Поэтому по-

[1] Создана в конце XIX столетия и считается официальной церковью современного французского оккультизма. — *Примеч. ред.*

[2] Эта «ультрадуховная», по выражению современного журналиста, форма йоги предусматривает достижение просветления за счет подъема энергии кундалини из основания позвоночника в высшую чакру. — *Примеч. ред.*

добным устремлениям присущ истинно религиозный характер, пусть они всячески подчеркивают свою научность, как делает, например, Рудольф Штайнер, объявляя антропософию «духовной наукой». Такие попытки маскировки лишний раз показывают, сколь дурной славой пользуется ныне религия — наряду с политикой и теориями переустройства мира.

Я не сильно погрешу против истины, если скажу, что современное сознание, в противоположность таковому девятнадцатого века, обращается со всеми своими сокровенными ожиданиями по поводу души не в духе какой-либо традиционной конфессии, но именно в духе гностицизма. Желание всех «духовных» движений придать себе налет научности граничит с гротеском и служит маскировкой, о чем я говорил выше, но одновременно это позитивное свидетельство того, что они нацелены на науку, то есть на *познание*, причем в строгом противопоставлении сути западных религиозных форм, *вере* как таковой. Современное сознание испытывает отвращение к вере и к основанным на ней религиях. Оно приобретает авторитет в той мере, в какой его познавательное содержание согласуется с глубинными явлениями. Оно хочет *знать*, то есть обладать первоначальным опытом.

Эпоха Великих географических открытий, с завершением которой мы, вероятно, достигли полноты изучения Земли, отказалась верить в одноногих гипербореев[1] и в прочие вымыслы; люди той поры возжелали своими глазами увидеть, что находится по ту сторону границы известного мира. Наша эпоха, очевидно, нацелилась на то, чтобы выяснить, как выглядит психика по ту сторону сознания. Вот вопрос, который задают себе

[1] Согласно античной географии, гипербореи обитали в легендарной стране где-то на севере; Плиний помещал их землю в мифической Скифии за не менее мифическими Рифейскими горами. — *Примеч. пер.*

в спиритических обществах: что происходит, когда медиум утрачивает сознание? Вот вопрос каждого теософа: что испытаю я на высших ступенях сознания, то есть по ту сторону моего нынешнего бытия? Каждый астролог задается вопросом: каковы действующие и определяющие силы, управляющие моей судьбой по ту сторону от осознаваемых намерений? А каждый психоаналитик спрашивает: каковы глубинные движущие силы невроза?

Эпоха жаждет на собственном опыте познать душу. Она жаждет исконного, первоначального опыта и поэтому отвергает все предпосылки и допущения, но в то же время пользуется всеми имеющимися предпосылками для достижения цели, не пренебрегая ни религиями, ни наукой. У прежнего европейца по спине пробегал холодок, когда он осмеливался углубиться в эти вопросы; не только предмет так называемого исследования представлялся ему темным и пугающим, но и методика казалась безнравственным злоупотреблением чудесными духовными достижениями. Как, например, оценит профессиональный астроном тот факт, что сегодня составляют в тысячу раз больше гороскопов, чем триста лет назад? Что скажет философ-просветитель и воспитатель о том, что в мире отнюдь не стало меньше суеверия по сравнению с Античностью? Сам Фрейд, создатель психоанализа, предпринимал добросовестные усилия к тому, чтобы извлечь на свет грязь, темноту и зло со дна человеческой души и истолковать их так, чтобы в мире исчезло всякое стремление искать за ними что-либо, кроме нечистот и шлака. Эта попытка не удалась, и сейчас на наших глазах устрашение превращается в свою противоположность, в восхищение грязью; данное явление сродни извращению и не поддается нормальному объяснению, если только теми, кто причастен к таким поискам, не движет тайное очарование человеческой душой.

Нет и не может быть никакого сомнения в том, что с начала девятнадцатого века, с достопамятной Великой французской революции, проблемы души постепенно и неуклонно начали выдвигаться на передний план коллективного восприятия. Символическая коронация богини разума в Соборе Парижской Богоматери[1] имела для западного мира такое же значение, что и срубленный христианскими миссионерами дуб Вотана[2]: оба раза молния с небес не поразила вольнодумцев.

Можно считать причудой мировой истории то обстоятельство, что именно тогда француз по фамилии Анкетиль-Дюперрон[3], будучи в Индии в начале девятнадцатого века, предпринял перевод сборника пятидесяти упанишад, которому дал название «*Oupnek'hat*» (это персидский аналог индийского слова); данное сочинение позволило Западу глубже заглянуть в сущность загадочного духа Востока. Историк усмотрит здесь случайность, порожденную исторической причинностью. Но мне врачебное предубеждение, безусловно, не позволяет видеть тут произвол случая, ибо все происходило по правилам психологии, которые безошибочно действуют в личной жизни: для каждого значимого явления, обесцененного и уничтоженного сознанием, в бессознательном имеется компенсация, в полном соответствии с законом сохранения энергии, ибо наша психическая деятельность тоже представляет собой *энергетический процесс*. Ни одна душевная ценность не может исчезнуть без замены каким-то аналогом. Это

[1] В 1793 г. в ходе «Праздника свободы» в Париже артистку Парижской оперы Т. Обри короновали как «Богиню Разума». — *Примеч. ред.*

[2] Подробнее см. статью Юнга, посвященную Вотану. — *Примеч. ред.*

[3] Французский востоковед, исследователь «Авесты», из экспедиции по Ближнему Востоку, Персии и Индии привез в Париж более 100 восточных рукописей. — *Примеч. ред.*

основное правило эвристики никогда не было опровергнуто, оно всегда подтверждалось повседневной психотерапевтической практикой. Врач во мне отказывается рассматривать душевную жизнь народа вне рамок основного закона психологии. Для врача душа народа — просто более комплексное образование, нежели душа отдельного человека. Между прочим, не говорит ли поэт об обратном, когда рассуждает о «народах» своей души? Мне кажется, что он прав. Ибо есть в нашей душе нечто общее, выражающее народ, сообщество, если угодно, все человечество. Каким-то неведомым образом мы являемся частью единой великой души, одного великого человека, если воспользоваться словами Сведенборга[1].

Тьма во мне, единичном человеке, провоцирует вспышку яркого света, и то же происходит в душевной жизни народа. Темная безымянная масса, охваченная страстью к разрушению, поразила индивидуума, и Анкетиль-Дюперрон в ответ совершил шаг, имевший всемирно-историческое значение. Из этого ответа родились Шопенгауэр и Ницше, из него возникло необозримое влияние Востока на Запад. Горе нам, если мы недооценим это влияние! Пока мы наблюдаем лишь проблески на интеллектуальной поверхности Европы — пару профессоров философии, пару буддийских фанатиков, несколько общественных фигур, вроде госпожи Блаватской и Анни Безант с их Кришнамурти[2]. Пока это отдельные островки в море человеческой массы, но на самом деле перед нами вершины мощных

---

[1] Э. Сведенборг — шведский естествоиспытатель, натурфилософ и христианский мистик, утверждал, что вступал в мысленные контакты с жителями других планет. — *Примеч. ред.*

[2] Индийский духовный учитель, которого долгое время опекали лидеры Теософского общества А. Безант и Ч. Ледбитер, видевшие в нем «проводника» для грядущего Мирового Учителя. — *Примеч. ред.*

подводных хребтов. Филистеры от образования до недавнего времени воображали, что астрология высмеяна окончательно, однако сегодня она поднялась из глубин и подбирается к воротам университетов, из которых была изгнана триста лет назад. То же самое можно сказать и об идеях Востока, что овладевают умами и постепенно прорастают в массах. Откуда взялись пять или шесть миллионов швейцарских франков на счетах антропософского храма в Дорнахе[1]? Понятно, что жертвовал далеко не один человек. К сожалению, до сих пор отсутствует статистика о том, сколько имеется явных и скрытых теософов. Можно с уверенностью утверждать, что счет идет на миллионы. Сюда же надо добавить миллионы спиритуалистов из христианских и теософских деноминаций.

Великие обновления не снисходят с небес, они всегда восходят снизу, а деревья растут не с неба, но от земли (хотя семена падают на землю сверху). Потрясения нашего мира и потрясения нашего сознания суть одно и то же. Все становится относительным, спорным и сомнительным. Пока сознание, медленно и с сомнением, оценивает этот спорный мир, в котором гремят препирательства насчет договоров о мире и дружбе, насчет демократии и диктатуры, капитализма и большевизма, в нас нарастает стремление к духовному ответу на сумятицу сомнений и неопределенностей. Именно самые темные слои народа, высмеиваемые за свое безмолвие и воспитанные, согласно академическим предрассудкам, куда хуже «сияющих вершин», доверяются неосознаваемому натиску души. Сверху этот печальный (или смехотворный) спектакль, что знаменательно, часто рассматривают как наивные деяния юродивых, с которых нечего взять. Разве не умилительно, например, видеть, как вся несомненная нечистота души заби-

[1] Имеется в виду Гетеанум — всемирный центр Антропософского движения. — *Примеч. ред.*

рается в научные архивы? Собственно, нечленораздельное бормотание, абсурдные поступки, самые пустые и фрагментарные фантазии со скрупулезной научной добросовестностью в виде Antropophytheia[1] собираются последователями Хэвлока Эллиса и Фрейда, описываются в серьезных статьях, им воздаются все мыслимые почести, а сообщество читателей распространилось по всему культурному кругу белых людей. Откуда такое рвение, откуда такое фанатичное чествование безвкусицы? Это психология, это душевная субстанция, столь же ценная, как спасенные из античной кучи навоза фрагменты древней рукописи. Даже потаенная и дурно пахнущая часть души дорога современному человеку, ибо служит его цели. Но что это за цель?

Фрейд предпослал своему «Толкованию сновидений» следующий девиз: «Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo» — «Если небесных богов не склоню, Ахеронт всколыхну я»[2]. Спрашивается, для чего?

Ныне нашими богами, которых должно свергнуть с трона, являются идолы и ценности сознания. Известно, что старых богов дискредитировала в первую очередь их скандальная история. Сегодня все повторяется. Раскапываются подозрительные погреба наших блистательных добродетелей и наших несравненных идеалов, раздаются радостные крики: вот ваши боги, вот иллюзия, созданная человеческой рукой, испачканная человеческой низостью, гроб повапленный, набитый грязью и нечистотами. В этом звучит до боли знакомая нота, а слова не забыты с уроков подготовки к конфирмации.

Я искренне убежден в том, что это не случайные аналогии. Многим людям психология Фрейда ближе, чем Евангелие, и для них большевизм значит больше,

---

[1] См. примечание к первой работе настоящего сборника. — *Примеч. ред.*

[2] Вергилий. Энеида, VI / Перевод С. Ошерова. — *Примеч. ред.*

чем буржуазные добродетели. Но все это наши братья, и в каждом из нас звучит хотя бы один голос, оправдывающий таких людей, ибо все мы — части единой души.

Неожиданным следствием такой духовной сумятицы стало то обстоятельство, что мир повернулся к нам своим отвратительным лицом: уже никто больше не может его любить, мы не можем больше любить самих себя, а ничто внешнее не может отвлечь нас от нашей собственной души. Причем глубокий смысл этого следствия, как правило, не учитывают. Что есть теософия, с ее кармой и реинкарнацией, как не утверждение о том, что наш иллюзорный мир — временное место морального исцеления несовершенных? Тем самым теософия делает относительным имманентный смысл современного мира, по сути, обещая в иной оболочке доступ в высшие миры без возбуждения ненависти к современному миру. Но результат остается тем же самым.

Все эти идеи признаны ненаучными, однако они захватывают современное сознание снизу. Случайно ли теория относительности Эйнштейна и новейшая, превосходящая всякую причинность и наглядность атомная теория занимают ныне наше воображение? Даже физика рассеивает материальный мир. По моему мнению, нет ничего удивительного в том, что современный человек упрямо обращается к своей душевной реальности и ожидает обрести в ней надежную опору, в которой ему отказывает мир окружающий.

С душой Запада дела обстоят печально, и ситуация усугубляется тем, что мы предпочитаем иллюзии нашей внутренней красоты беспощадной правде. Западный человек живет в туманном облаке самообмана, который призван скрывать его истинное лицо. Но как нас воспринимают люди с другим цветом кожи? Что думают о нас китайцы или индусы? Что думает о нас черный человек? Что думают все те, кого мы истребляем алкоголем, венерическими болезнями и банальным грабежом?

У меня есть друг-индеец, вождь одного из племени пуэбло. Однажды мы доверительно разговаривали о белых, и он сказал так: «Мы не понимаем белых. Они всегда чего-то хотят, всегда суетятся, всегда что-то ищут. Что ищут? Мы этого не знаем. Мы не можем их понять. У них всех острые носы, тонкие злые губы, морщины на лицах. Мы думаем, что они все сумасшедшие».

Мой друг сполна познал арийскую хищную птицу и ее ненасытную жажду наживы, которая побуждает вторгаться в чужие страны, но не смог подобрать ей имени; к тому же он опознал тот бред величия, который заставляет нас воображать, будто христианство — единственная на свете истина, а белый Христос — единственный спаситель человечества. Мы посылаем миссионеров даже в Китай, наводнив весь Восток плодами нашей науки и техники, сделав себя вечными должниками. Христианская комедия в Африке не вызывает ничего, кроме жалости. Угодное Богу искоренение полигамии породило проституцию, из-за которой только в Уганде ежегодно расходуют двадцать тысяч фунтов стерлингов на лечение венерических болезней. Добропорядочный европеец платит миссионерам за этот чудесный результат. Надо ли упоминать об ужасных страданиях полинезийцев или о плодах торговли опиумом?

Так выглядит европеец за пределами своего туманного морального облака. Неудивительно, что раскопки нашей души сродни работе в канализации. Только такой великий идеалист, как Фрейд мог посвятить этому нечестивому занятию труд всей жизни. Не он стал причиной этого дурного запаха, повинны все мы, все те, кто мнит себя чистым и приличным — в силу невежества и самообмана. Так наша психология начинает свое знакомство с душой — с самой омерзительной во всех отношениях стороны, с того, чего мы отчаянно не хотим видеть.

Если наша душа состоит только из дурного и никуда не годного, то нормальному человеку никто и никогда не поможет отыскать в ней что-либо привлекательное. Поэтому все те, кто видит в теософии прискорбную интеллектуальную поверхностность, а во фрейдизме не усматривает ничего кроме предосудительного сладострастия, пророчат этим движениям скорый и бесславный конец. Однако они упускают из вида тот факт, что в основании этих движений лежит страсть, а именно очарование душой, так что эти формы, будучи ступенями выражения души, продержатся до тех пор, пока не будут вытеснены чем-то лучшим. Суеверие и извращение — на самом деле, одно и то же. Это переходные формы эмбриональной природы, из которых возникают новые, более зрелые явления.

С интеллектуальной, моральной и эстетической точек зрения вид «задворок» западной души выглядит малопривлекательным. Мы с неподражаемым пылом возвели вокруг себя монументальный мир, но именно по причине его великолепия все чудеса оказались вовне, а все, обнаруживаемое на дне души, по необходимости и на самом деле представляется скудным и ущербным.

Я отдаю себе отчет в том, что немного тороплюсь с оценкой всеобщего сознания. Понимание психологических фактов еще не стало общим достоянием. Западная публика находится на пути к такому пониманию, которому она, по понятным причинам, изо всех сил противится. Пессимизм Шпенглера произвел должное впечатление, но все, увы, ограничивается благонамеренно очерченными границами академической науки. Вдобавок психологическое понимание болезненно задевает личное и потому наталкивается на личное сопротивление и отрицание. Впрочем, я вовсе не считаю это сопротивление бессмысленным. Скорее, оно представляется мне здоровой реакцией на нечто разрушительное. Любой релятивизм, становясь главенствую-

щим и окончательным принципом, действует разрушительно. Значит, указывая на неприглядность «задворок» души, я поступаю так не для того, чтобы изречь пессимистическое предостережение; я лишь предъявляю факты, сообщающие, что бессознательное, если не обращать внимания на его отталкивающий вид, обладает мощной притягательной силой — не только для болезненных натур, но и для здоровых, позитивно мыслящих умов. Основой души является природа, каковая есть сила, творящая жизнь. Да, природа сама уничтожает ею созданное, но она же отстраивает разрушенное заново. Современный релятивизм разрушает ценности зримого мира, а душа вновь их возвращает. Пока мы, разумеется, наблюдаем лишь падение во тьму и мерзость вокруг, но тот, кто не способен вынести это зрелище, никогда не создаст ничего прекрасного и светлого. Свет всегда рождается во тьме, никакое солнце не застревает на небе только потому, что человек в страхе велит ему остановиться. Разве пример Анкетиля-Дюперрона не доказывает, что душа норовит сама избавиться от помрачения? Китайцы не считают причиной своего упадка европейскую науку и технику. Почему же мы должны верить, будто тайное духовное влияние Востока станет для нас разрушительным?

Но я забываю, что мы, по всей видимости, еще не осознали следующего: своими превосходящими техническими возможностями мы основательно встряхнули *материальный* мир Востока, но Восток своими превосходящими *душевными* возможностями привел в смятение наш *духовный* мир. Мы пока еще не додумались до той мысли, что Восток может захватить нас изнутри. Такая мысль, конечно, кажется нам бредовой, потому что мы мыслим исключительно в категориях причин и следствий, не в силах понять, почему возлагаем ответственность за смятение в духовности среднего класса на неких Макса Мюллера, Ольденбурга, Дойссена или

Вильгельма[1]. Чему, однако, учит нас пример императорского Рима? С завоеванием Передней Азии Рим стал азиатским, даже Европа стала азиатской, каковой она является до сих пор. Из Киликии пришла римская воинская религия[2], распространившаяся от Египта до туманной Британии (это уже не говоря о христианстве).

Мы пока не полностью осознали, что западная теософия является дилетантским, поистине варварским подражанием Востоку. Мы снова увлеклись астрологией, этим насущным хлебом Востока. Исследования сексуальности, которыми начали заниматься в Вене и Англии, следуют в первую очередь индийским образцам[3]. Тексты тысячелетней древности преподают нам в этой области чистый философский релятивизм, а сущность китайской науки опирается на принцип сверхпричинности, о котором мы только-только начали догадываться. Что касается недавних открытий в психологии, то их вполне внятные описания мы находим в древнекитайских текстах, как убедительно продемонстрировал мне профессор Вильгельм. Сугубо западное, как нам кажется изобретение, то бишь психоанализ и проистекающие из него порывы, есть лишь первая, начальная попытка сравняться с достижениями восточных духовных практик. Думаю, многим известна книга, в кото-

---

[1] М. Мюллер — немецкий филолог, религиовед, профессор сравнительного языкознания, публикатор многотомного издания «Священные тексты Востока». С.Ф. Ольденбург — русский / советский востоковед, специалист по санскриту. П. Дойссен — немецкий востоковед, крупнейший исследователь упанишад. Р. Вильгельм — немецкий синолог, с которым Юнг активно сотрудничал и работы которого высоко ценил. — *Примеч. ред.*

[2] Имеется в виду митраизм, чрезвычайно популярный в поздней Римской империи. — *Примеч. ред.*

[3] Очевидно, подразумеваются индийские философские трактаты эротического содержания наподобие «Камасутры». — *Примеч. ред.*

рой проводится параллельное сопоставление психоанализа и йоги, за авторством Оскара Шмица[1].

Теософы имеют весьма занятные представления о махатмах, которые прячутся где-то в Гималаях или на Тибете и оттуда управляют миром, который не перестают воодушевлять. Влияние магического восточного духовного содержания настолько велико, что умственно полноценные европейцы уверяли меня, будто добро, о котором я рассуждаю, внушено мне махатмами без моего предшествующего знания, а мои собственные мысли ни на что не годятся. Эта широко распространенная и внутренне усвоенная мифология, подобно всякой мифологии вообще, отнюдь не бессмысленна с психологической точки зрения. Нам представляется, что Восток и вправду имеет некоторое отношение к причинам сегодняшнего духовного сдвига, но этот Восток находится не в тибетских монастырях махатм, а скрывается прежде всего внутри нас. Этот якобы восточный дух — наша собственная душа, которая творит новые формы, содержащие духовные начала, призванные служить целительным тормозом для безграничной алчности арийского человека; эти формы предусматривают то ограничение жизни, которое на Востоке развивается в сомнительный квиетизм, ту стабильность бытия, что по необходимости торжествует, когда требования души становятся столь же настоятельными, как и материальные потребности социальной, внешней жизни. Мы пока, в эпоху американизма, далеки от этого, но уже, как мне кажется, приближаемся к рубежу новой духовной культуры. Мне не хотелось бы выступать в роли пророка, но невозможно обозначить проблемы души современного человека без упоминания стремления к покою в состоянии беспокойства, без потребности обрести уверенность в состоянии неуверен-

[1] См.: *Psychoanalyse und Yoga*. — *Примеч. авт.*

ности. Новые формы бытия возникают из потребностей и необходимостей, а не из идеальных состояний неуверенности, не из идеальных притязаний и желаний. Нельзя задаваться такими вопросами в отрыве от всего остального, не обозначив, по меньшей мере, способы решения задач, если даже по этому поводу невозможно сказать что-либо окончательное и определенное. Увы, на сегодня для поисков решения — в том виде, в каком они мне видятся — не сделано ровным счетом ничего. Как и всегда, одни люди разочаровываются в возможности возвращения к прежней оптимистической природе, а другие стремятся к изменению мировоззрения и форм бытия.

Суть сегодняшней проблемы для меня заключается в исходящем из души очаровании современного сознания. Если смотреть с точки зрения пессимиста, это проявление разрушения; если же встать в позицию оптимиста, можно счесть, с другой стороны, что мы прозреваем начатки возможного, более глубокого изменения содержания западного сознания. В любом случае это явление громадного значения, тем более достойное внимания, что оно уже укоренилось в широких народных слоях, и тем более важное, что оно затрагивает те иррациональные и, как доказывает история, необозримые движущие силы души, которые таинственным и непредсказуемым образом определяют жизнь народов и культур. Именно эти силы, скрытые сегодня от многих, стоят за психологическим интересом нашего времени. Очарование души вовсе не извращенное по своей природе, это тяга, настолько сильная, что она не испытывает отвращения к безвкусице. Местность вдоль главной мировой дороги кажется пустынной и выработанной. Поэтому взыскующий инстинкт оставляет проторенные пути и ищет окольных, неизведанных троп; в свое время античный человек, освободившись от олимпийских богов, точно так же предался передне-

азиатским мистериям. Тайный инстинкт обращается вовне и потому усваивает восточные теософии и восточную магию; устремляясь внутрь, он вдумчиво изучает «задворки» души и делает это с тем же скепсисом и с тем же радикализмом, с какими Будда отверг два миллиона прежних богов ради обретения единственно истинного, изначального опыта.

Теперь мы подходим к последнему вопросу. Правда ли все то, что я говорю о современном человеке? Или это лишь оптический обман? Не подлежит сомнению, что для многих миллионов европейцев приводимые мною факты будут всего-навсего малозначимыми случайностями, а для многих высокообразованных людей это только достойные сожаления заблуждения. Что, например, думал образованный римлянин о христианстве, которое поначалу распространялось среди низших слоев населения? Для многих нынешний западный Бог до сих пор жив, как и Аллах для многих, кто проживает по ту сторону Средиземного моря; сторонники каждой религии считают сторонников другой отъявленными еретиками, которых, за отсутствием иных возможностей, сострадательно терпят. Умный европеец, помимо этого, придерживается того мнения, что религия и тому подобное хороши для народа и женской души, но должны быть устранены из насущных экономических и политических вопросов.

В целом меня опровергают со всех сторон и считают человеком, который при ясном небе предсказывает ненастье. Может быть, непогода где-то далеко, за горизонтом, и никогда не дойдет до нас. Но вопросы относительно души всегда находятся ниже горизонта сознания, так что, рассуждая о душе, мы ведем речь, собственно, о том, что пребывает на границе видимого, о чем-то сокровенном и деликатном, о цветах, которые раскрываются только во мраке ночи. Днем все представляется ясным и отчетливым, однако ночь длится

ровно столько же, сколько и день, а мы живем и ночью. Некоторым людям снятся страшные сны, портящие настроение на целый день. Для великого множества людей дневная жизнь выглядит таким страшным сном, что они с нетерпением ждут ночи, когда просыпается душа. Да, мне кажется, что сегодня должно быть особенно много подобных людей, отчего я также придерживаюсь того мнения, что современная проблема души возникает именно так, как было описано выше.

При этом я должен упрекнуть себя в односторонности, ибо обошел молчанием *душу нашей светскости*, о которой говорит большинство, ибо она лежит на поверхности. Она открывается в международном и наднациональном идеале, воплощается в Лиге Наций и тому подобных организациях, еще в спорте, а также в кино и джазе. Это знаменательные симптомы нашего времени, которое насаждает идеал гуманности в телесном. Спорт подразумевает необыкновенно высокую ценность тела, каковая еще более подчеркивается современным танцем. Напротив, кино и детективные романы позволяют безопасно переживать все те волнения, страсти и фантазии, которые в наш гуманный век подлежат вытеснению. Нетрудно заметить, что эти симптомы связаны с психическими состояниями. Очарование души есть не что иное, как новое самоосмысление, обращение к прошлому, к основам человеческой натуры. Не вызывает удивления факт, что состоялось новое открытие тела, которое до сих пор ценилось ниже духа. Временами появляется искушение заявить, что это месть плоти духу. Когда Кайзерлинг громогласно объявил шофера героем культуры[1], этими словами, выра-

---

[1] Немецкий философ и путешественник Г. фон Кайзерлинг писал, что шофер, «обладающий техническими навыками... возрождает первобытного человека» своими умениями, характерными для мифических культурных героев, но «понятия не имеет, кто такой Гёте и зачем он нужен». — *Примеч. ред.*

жая мнение большинства, он почти попал в цель. Тело предъявляет притязания на равноправие, источая такое же очарование, как и душа. Если мы до сих пор захвачены старой идеей о противопоставлении духа и материи, то сами продлеваем состояние расщепления или невыносимого противоречия. Если удастся примириться с осознанием того, что душа — взгляд изнутри на жизнь тела, а тело — открытая вовне жизнь души, что душа и тело — не две отдельные сущности, а неразрывное единство, то удастся и понять, как стремление к преодолению нынешней ступени сознания ведет через бессознательное к телу, и наоборот, как вера в тело допускает всего одну философию, которая не отрицает тело в угоду чистому духу. Это неравномерное, если сравнивать с прежними временами, выпячивание душевного и телесного, несмотря на видимость разложения, может означать *омоложение*, ибо — как говорит Гельдерлин[1]:

Но там, где угроза, растет и
Спаситель[2].

Мы действительно видим, как западный мир начинает наращивать темп жизни, перенимать американский темп, в противоположность квиетизму и отвращенному от повседневности смирению. Начинает усугубляться невозможный ранее разрыв между внешним и внутренним — точнее, между объективным и субъективным. Возможно, это последнее состязание дряхлеющей Европы с юной Америкой; возможно, перед нами здоровая (или сомнительная) попытка ускользнуть от темных законов природы и одержать еще более величественную, еще более героическую победу яви над сном народов. Это вопрос, ответ на который даст история.

---

[1] Немецкий поэт, философ и переводчик. — *Примеч. ред.*

[2] Патмос / Перевод В. Куприянова. — *Примеч. ред.*

Содержание

Научно-популярное издание

Юнг Карл Густав

Проблема души нашего времени

Сборник

Компьютерная верстка: *Р. Рыдалин*
Корректоры: *Н. Козлова, О. Ашмарина*
Технический редактор *Т. Полонская*

Подписано в печать 16.05.2022. Формат 76x100 1/32.
Печать офсетная. Гарнитура Newton.
Усл. печ. л. 15,48. Тираж экз. Заказ № .

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008);
58.11.1 – книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2022 г.
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705,
пом. I, 7 этаж.
Наш электронный адрес: **www.ast.ru.** Интернет-магазин: **www.book24.ru.**
E-mail: **ask@ast.ru.** ВКонтакте: **vk.com/ast_neoclassic.**

«Баспа Аста» деген ООО
129085, г. Мәскеу, Жулдызды гүлзар, д. 21, 1 құрылым, 705 бөлме, пом. 1, 7-қабат
Біздін злектрондык мекенжаймыз: **www.ast.ru**
Интернет-магазин: **www.book24.kz** Интернет-дүкен: **www.book24.kz**
Импортер в Республику Казахстан и Представитель по приему претензий
в Республике Казахстан — ТОО РДЦ Алматы, г. Алматы.
Қазақстан Республикасына импорттаушы және Қазақстан Республикасында
наразылықтарды қабылдау бойынша өкіл — «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы
қ., Домбровский көш., 3«а», Б литері офис 1. Тел.: 8(727) 2 51 59 90,91,
факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107; E-mail: **RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz**
Тауар белгісі: «АСТ» Өндірілген жылы: 2022
Өнімнің жарамдылық; мерзімі шектелмеген.

16+